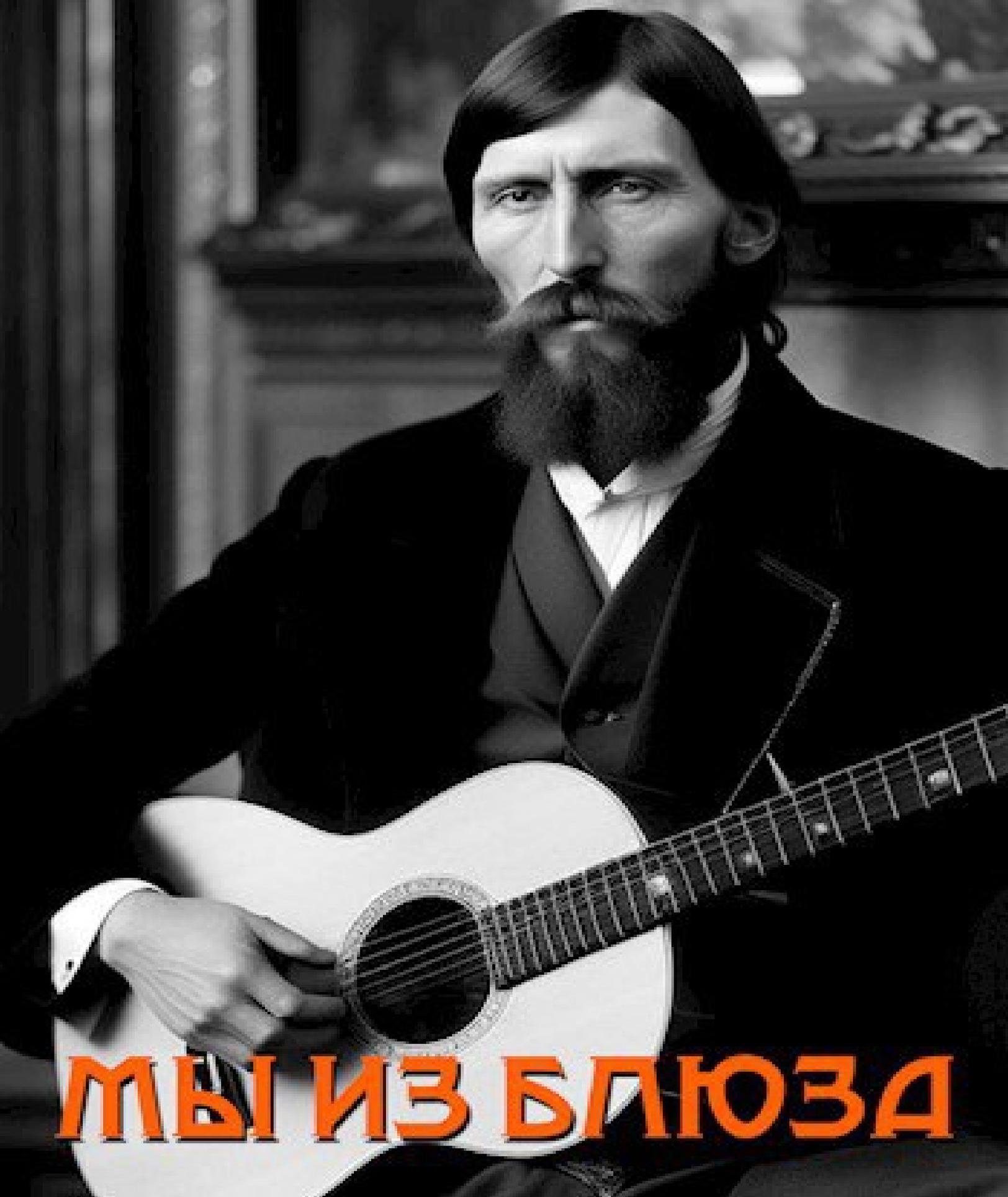


ДМИТРИЙ СОРОКИН



МЫ ИЗ БЛЮЗА

Annotation

Мёртвый блюзмен попросил у Бога бесконечного блюза? Да не вопрос. Будет тебе и блюз, и твист, и даже рок-н-ролл, ага. Только империю при этом спасти не забудь. Ну, хотя бы попробуй...

Что-то типа пролога

Вы станете смеяться, но мне на голову упал кирпич! Вы возразите, ссылаясь на незабвенного классика, что кирпич ни в коем случае ни с того, ни с сего на голову упасть не может. И я соглашусь с вами, хотя, убейте — не пойму, кому понадобилось меня поприветствовать снайперским броском кирпичом. Впрочем, убивать меня поздно — я ведь уже... Пятнадцать секунд назад шёл по Малой Ордынке под проливным дождём, возвращаясь с репетиции: за спиной — гитара в чехле, в левой руке — полупустая уже бутылка «Жигулей», в правой — едва прикуренная сигарета. И вот уже труп с проломленной башкой валяется в луже, а сам я, глянув на него напоследок ещё разок, улетаю куда-то нафиг, где, похоже, не будет уже ни гитар, ни пива, ни сигарет. Нормально, да? И я лечу сквозь пресловутый тоннель, и лечу быстро. Но виден свет, и вот уже нет тоннеля, и ничего вообще нет, кроме белого света и двух чёрных полукресел. В одном из них сидит Джимми Хендрикс, во второе, после его приглашающего жеста, сажусь я.

— Здорово, чувак! — говорит он.

— И тебе не хворать, — отвечаю. — Я рехнулся или гикнулся?

— Гикнулся, — кивает Хендрикс. — Не совсем сам, но какая теперь разница, а?

— Круто. — Не знаю, что ещё сказать. Прошло секунд пятнадцать, и я не успел осознать, что уже умер, погиб, так сказать, во цвете лет, на сорок восьмом году жизни...

— Ещё б не круто! И что теперь?

— Это я тебя должен спросить: что теперь? — вяло огрызаюсь. — И, если уж на то пошло, ты кто такой? Апостол Пётр?

— Ну, в данный момент, как ты можешь видеть, я — Джимми Хендрикс. — Он извлекает из воздуха свой перевернутый «Стратокастер» (шнур подключен, но теряется в свете), играет первые такты Foxy Lady. — Убедительно?

— Вполне, но всё равно это как-то не похоже на правду.

— Чувак, расслабься: на правду не похоже вообще ничто. Я могу выглядеть как кто угодно — как совершенно незнакомый тебе седой старпёр с длинной бородищей, как ботан из седьмого класса, да как Мерилин Монро, наконец, хотя в последнем случае ты первым делом вознамерился бы меня трахнуть, напрочь забыв при этом, что осуществить намерение толком нечем: тела-то у тебя нет... Короче, не заморачивайся, мой тебе совет, чувак.

— И когда мне в ад? — спрашиваю.

— Как вы все меня задолбали, долбаные кретины! — закатывает глаза Джимми. — Идиотская древняя страшилка в устах отороженного блюзмена из XXI века — это, конечно, очень стильно, понимаю. Нет ни геенны огненной, ни вялого треньканья на арфе в облаках. Вы что, Создателя держите за олигофрена, начисто лишённого фантазии?!

— Ладно, ничего этого нет, — примирительно говорю я. — Но что тогда есть?

— Всё остальное, — совершенно серьёзно отвечает он, — так что я повторю вопрос: И что теперь?

— Не знаю...

— Не знает он... Ладно, подсказка: твоя бывшая тушка лежит в луже с проломленным черепунделем, и противный ноябрьский дождик смывает остатки твоего последнего пива в канализацию — вместе с кровушкой. Сам ты тупо хлопаешь глазами здесь — нигде и никогда, и осталось выяснить, чего ты, чувак, хочешь?

Я совершенно не понимал ни что происходит, ни с кем я говорю, ни как ответить на его дурацкий вопрос. Чего я хочу? А чего? Я, который только что умер? Чья тушка... — и так далее по тексту? Вот чего я могу хотеть? И вот свет сереет, и дождь появляется и здесь. Я вижу, но не чувствую его — дождь вокруг меня. И в этом дожде тают легендарные черты моего собеседника. Вместо него из струй серого ливня проявляется старый негр в чёрном костюме и шляпе. Отбивает ногой в лакированном ботинке ритм, насвистывает... И я думаю, что улыбаюсь.

— Я хочу блюза, — говорю.

— Блюза? — хриплым голосом удивлённо говорит Джон Ли Хукер и каркающе хохочет. — Блюза?! Это можно! Будет тебе блюз! — И щёлкает пальцами.

Часть первая. «Я проснулся рано утром...»

На улице всегда пахло либо цветами, либо трупами

Вертинский

Глава 1. Балалай-блюз на Гороховой

Мой блюз начался совершенно классически: я проснулся утром. И, едва понял, что таки проснулся, и именно что утром, и, вроде как, живой, принялся за инвентаризацию окружающей действительности. И моментально осознал: да, это, вне всяких сомнений, блюз. И ещё какой! Вот такой, приблизительно:

Я проснулся рано утром — опять, похоже, с бодуна.

О, я таки проснулся утром — но, мать, с такого бодуна!

А в койке у меня подруга —

И, вероятно, не одна...

Откинув одеяло, убедился, что с последним утверждением несколько погорячился: подруга была одна. Но большая. По счастью, одетая в непрозрачную ночнушку, а то, боюсь, мой похмельный организм не вынес бы созерцания столь монументальных телес в естественном виде. Так... Сам я, впрочем, тоже одет в какую-то пижаму, чего не терпел категорически примерно с пятилетнего возраста. Мать моя женщина, это что — кальсоны?! На пуговках и с завязками?! Как это меня угораздило?!

Я вскочил (о, моя голова!) и сел на кровати. Интерьер оказался насквозь незнаком и напрочь архаичен. Так, и где это я? Как я умудрился нарезать с одной бутылки пива до состояния полной амнезии и потери инстинкта самосохранения?

И вспомнил — и дождь, и свет, и Хендрикса с Джоном Ли Хукером. Значит?..

Ооо, моя голова!

Ладно, примем как данность: я умер, теперь воскрес и маюсь похмельюгой. С последней надо разобраться поскорее, и тогда уж понять, что делать дальше. Встал. Комната пошатнулась и закружилась, закрыл глаза. Вытянул вперёд руки и, зажмуренный, медленно пошёл вперёд. Упёрся в окно. Что у нас там?

А там у нас город. Большой и старинный, и дома старинные, и люди старинные, извозчик вон проехал, и даже целый автомобиль — что-то вроде незабвенной «Антилопы-Гну», на которой Остап Бендер в исполнении актёра Юрского ударял по бездорожью и разгильдяйству. Мда-с. Однако. Сдаётся мне, господа, что я в Питере. В самом что ни на есть его центре. И давненько, как бы не при царе ещё.

Уже взрячую пошёл исследовать место пробуждения. В комнате, кроме кровати с неизвестной крупной подругой (под кроватью — ночной горшок), ничего интересного. Дверь. Что за ней? Какой-то плюгавый хрен...

— Добрейшего утречка, Григорий свет Ефимыч! Чего желаете-с? Мадерцы-с?

При мысли об опохмелке мадерой я едва не умер ещё раз.

— Пива. Много. — Это мой голос, да? Ни фига себе... Плюгавый изобразил крайнюк степень удивления.

— Пива-с? Так это... Не держим-с... Вы ж всё мадерцу-с кушать изволите...

— Водка в доме есть?

— Есть, как не быть, грешен-с, батюшка Григорий...

— Давай. — Пропотевшего, с глазами на полвосьмого, плюгавого сдуло куда-то вправо, затопотали заполошные шаги по лестнице. А я продолжил осмотр. Кухню нашёл с третьей попытки. Там наличествовала жуткого вида мымра, которая ни с того ни с сего принялась строить мне глазки.

— Воды. стакан, — прохрипел я.

— Кипяточку-с? — участливо спросила мымра.

— Холодной.

— Сей секунд.

Сзади уже знакомые торопливые шажки.

— Вот-с, водочка-с, Григорий свет Ефимыч! Откушайте, не побрезгуйте!

Оборачиваюсь. На серебряном подносе стоит стакан, полный почти до краёв. Рядом на тарелочке — здоровенный солёный огурец и порезанный дольками апельсин. Н-да. Ничего так у меня здесь репутация... Но — немедленно выпил, в полном соответствии с очередным классиком. Слегка получшело. Пора, пожалуй, определиться во времени и пространстве. И с семейным статусом разобраться, и со всем остальным.

— Друг мой, — спрашиваю как могу проникновенно своего плюгавого спасителя, — шпой-то мне с перепоею память отшибло малость. Та фемина, что украшает своей небесной статью моё скромное ложе, — она кто?

Слуга уставился на меня оторопело.

— Н-н-е понял...

— Твою мать! Бабища в моей постели — кто такова?!

— Ах, это... — на губах слуги заиграла сальная улыбочка. — Так это графиня Клейнмихель, батюшка. Как вечер приехала приобщиться вашей благодати-с, почтенный наш старец, так и...

— Благодати, значит. Вот что, друг мой. Как проснётся — в шею гони.

— Всенепременнейше-с! Чего ж теперь изволите? Может, дохтура кликнуть?

— Нафи... Эээ... Зачем доктора?

— Вы сам не свой сегодня, батюшка, — доверительно шепнул плюгавый, — и говорите совершенно по-господски-с!

— Благодать снизошла, — бухнул я, не подумав. Но, вроде, проканалло.

— Тогда конечно...

— Отведи-ка меня к зеркалу, голубчик. Благодать благодатью, а водочка ещё не дошла по назначению, и худо мне. — Сочетание имени-отчества, упоминание благодати, старца, мадеры и великосветская шляха в постели навели меня на очень печальные мысли. Очень.

Да. Уж попал, так попал. Вот это то, что я называю, мать твою, настоящим блюзом! Из зеркала на меня смотрел крайне мрачный мужик с длинными руками, обладатель косматой шевелюры и не менее косматой бороды. Но это всё семечки. Между шевелюрой и бородою помещалась премерзкая харя — по-другому не назовёшь, — и, что всего хуже, я прекрасно знал, как зовут носителя всего вышперечисленного. То есть теперь меня. Григорий. Ефимович. Распутин. Прониклись? Вот и я тоже.

Постояв немного с закрытыми глазами, я попытался вспомнить всё, что знаю о Распутине. Немного. Затворял кровь гемофиличному цесаревичу (как?), ежедневно надирался мадерой (бррр!), трахал всё, что шевелится (и царицу?), был убит в декабре 1916 года князем Юсуповым, Пуришкевичем и ещё кем-то из Романовых. Добротню же учили в советской школе! Тридцать лет прошло — а вон, сколько всего помню, хоть провёл эти

тридцать лет тоже не в посте и молитве, а как бы не покруче, чем тот же Гришка Распутин... Стоп. Меня чего, убьют скоро? Хорошенькие же новости...

— Вот что, друг мой, — начал я, открыв глаза.

— Ещё водочки-с? — понятно кивнул слуга.

— Нет, это позже. Сильно позже. Принеси-ка ты мне кувшин рассолу огуречного, да газету нынешнюю.

— Газету?! — Похоже, плюгавенький мой домовой, явно поклявшийся себе ничему более не удивляться, только что стал клятвопреступником. — Но какую?

— Любую. Но чтоб за сегодня! — отрезал я. — И рассолу мне!

Через пару минут кухонная мымра притащила кувшин рассолу и тарелку с соленьями. Не успел я перейти к насыщению подкошенного пьянством организма солями, как вернулся мой дворецкий, победно размахивающей газетой.

— Вот-с, Григорий Ефимыч, нашёл-с! Как есть, сегодняшняя! Эвон, написано: Пятое сентября. Правда, аглицкая она, но вам же, поди, и так сойдёт?

Слегка офигев, я взял номер «Нью-Йорк таймс» от 5 сентября 1916 года, и буркнув «хрен с ним, сойдёт, отдыхай», погрузился в чтение. Минут через пять спохватился, что в комнате стоит мёртвая тишина. Дворецкий, кухарка, ещё пара не встреченных мной прежде слуг и даже пробудившаяся ото сна графиня Клейнмихель — как была, в одной ночнушке, — распахнув рты, в полном обалдении наблюдали, как Гришка Распутин, похмеляясь рассолом и солёными огурцами, вдумчиво изучает «Нью-Йорк таймс». Я могу их понять: зрелище, наверное, эпическое. Откуда им знать, что я, в отличие от Гришки, десять лет отучился в английской спецшколе, да и потом язык не запускал особенно... Наконец, плюгавый дворецкий не выдержал:

— Григорий Ефимыч, чего пишут-то?

— Да про войну всё пишут, — вздохнул я. — Про Грецию, в основном: и немцев оттуда гонят, кого не похватили ещё, и вообще, вступает она в войну на стороне Антанты...

— Свят-свят-свят! — закрестились присутствующие. Причём, скорее всего, не от содержания новостей, а от самого факта, что «старец Григорий» вдруг стал разумеать английский язык.

— Ещё про кайзера германского всякие гадости пишут, — сообщил я, — и про нашего царя-батюшку тоже, но я вам говорить не стану, дабы умы ваши не смущать... — тут я вперил распутинский тяжёлый взгляд в недавнюю соседку по кровати, и, решив схулиганить, произнёс нараспев, отбивая ритм босой ногой:

— *А ты, распутная красотка, учись гимнастике скорей.*

Как быть желаешь вечно юной, учись гимнастике скорей.

И, упаси Господь, не шляйся

Ты по постелям кобелей!

Короче, иди и не грехи более, — строго добавил уже прозой, не снижая тяжести взгляда. Бабища мелко закивала, и, всхлипнув, кинулась одеваться. Я продолжал читать газету двухнедельной давности (вспомнил про зазор календарей!), когда она покинула моё жилище. Прикончил рассол и проверил организм: ничего, жить, кажется, можно. Осталось понять, как именно и что вообще дальше делать. Подумать, короче, надо. А лучше всего я соображаю, перебирая струны, как ни странно.

Прислуга всё ещё молча таращилась на меня.

— Значит, так, друзья мои, — я окончательно плюнул на поддержание образа «старца

Григория», всё равно не моё оно, проколов уже наделал, и сколько ещё наделаю. Гори оно огнём, и далее по тексту! Просто буду самим собой! — Значит, так. Мне нужна гитара, скамейка и пустой деревянный ящик.

— Григорий Ефимыч, отец родной, так где ж яё взять-то, гитару-с? Разве, у дворника балалайка была... — похоже, дворецкий, во избежание нервного срыва, такими вопросами как «зачем» и «почему» решил более принципиально не задаваться. Похвально-с!

— Хрен с ней, тащи балалайку. Но гитару добыть, и чем скорее, тем лучше. И не на поиграть, а насовсем.

— Батюшка, да зачем она тебе нужна-то, гитара эта? — не выдержала кухарка. Я вперил в неё фирменный взгляд:

— Чтобы играть. Ещё вопросы?

Вопросов более не последовало. Зато в скором времени принесли скамейку, ящик и балалайку. Взяв это всё, я вышел на лестницу и начал спускаться.

— Григорий Ефимыч! Отец родной! Куда?! — заголосили слуги.

— На улицу, — пожал плечами.

— В исподнем?! — ахнули слуги хором, и пришлось согласиться, что вид не самый подходящий для блюзмена. Впрочем, весь вид Распутина слабо сочетался с моими представлениями о хорошем стиле, но над этим мы ещё поработаем.

Оделся, возобновил выход в люди. На пороге остановился, обернулся.

— Улица наша как называется, напомни-ка? — дворецкому.

— Так Гороховая же! — прошептал он, глядя на меня круглыми от ужаса глазами.

— Иди водку пей. И кухарке налей. — И вышел, придержав дверь.

Кажется, весь мир, включая Гороховую, замер, когда я вышел на улицу.

— Святой старче Григорий! — возопил сидящий у моих дверей нищий. — Благослови мя, многогрешного, и подай копеечку убогому!

Ухмыльнувшись, запустил руку в карман штанов: там, помнится, что-то брякало, а одна монета звука не даст. Точно, три: копейка, пятак и золотой червонец. От червонца у него репа нафиг треснет, копейка самому нужна, как медиатор, — так что держи-ка ты, бомжара, пятачок, и отойди подальше, а то пахнешь больно стрёмно. А благословения у попов проси, я-то тут с какого боку? Так-то вот. Поставил скамеечку, ящик — под правую ногу. Эх, давно не брал я в руки балалайку! Настроим родимую: первая струна — ля, все остальные будут ми, а слух у меня абсолютный по жизни. Готово дело. Ну, вот что они столпились? Идите, люди! У вас свои дела ведь есть, у меня свои...

Я слышал мнение, что играть двенадцатитактовую «дельту» на чём-либо, кроме «Нэшнла» — лютое кощунство. Окей, не станем расстраивать ортодоксов. У меня всего три струны, а тактов пусть будет шестнадцать. И косматый, с бодуна, Гришка Распутин заиграл посреде Гороховой блюз на балалайке, отстукивая подкованным каблуком по ящику — хоть здесь всё по канону. Оторопелый народ толпился вокруг. Вот распахнула рот простая баба в платке — не то торговка, не то прислуга; замер заинтересованно расхристаный гимназист, смывшийся с уроков, судя по времени; презрительно глядит на меня юная барышня из притормозившего авто... Похоже, на Гороховой сейчас будет некая пробка, но это пока не мои проблемы. Когда ещё Гришка Распутин им настоящий блюз сыграет!

Я проснулся рано утром — опять, похоже, с бодуна.

О, я таки проснулся утром — но, мать, с такого бодуна!

А в койке у меня подруга —

И счастье, что всего одна...

Народ возмущённо заохал — экое непотребство! Пренебречь, вальсируем.

Я выпил полстакана водки, но мир не сделался светлей.

И я добил бутылку водки, но мир не сделался светлей.

Быть может, дело не в похмелье,

Но ты давай, ещё налей...

— Сударь, извольте прекратить это пошлейшее действие! — забрызгал меня слюной какой-то перезрелый ботан в штатском. — Здесь дамы и дети!

Но у меня как раз настало время третьего куплета:

Один потрепанный красавчик мне говорил, что я не прав.

Да, тот потасканный красавчик мне говорил, что я не прав.

Смотри, дружок: вот средний палец,

И мне плевать, хоть будь ты граф.

«Потрёпанный красавчик» задохнулся от возмущения:

— Да как смеешь ты, мужик, орясина, меня, столбового дворянина... Городовой! Городово-о-ой!

— Тише, сударь, тише! Это же сам Распутин!

— Я никому не позволю!..

— Ахти мне! Святого старца Григория сподобилась увидеть!

— Распутин!

Я вытеснил из головы весь этот гам, и просто продолжил играть, досадуя на собственные позёрские привычки: ну, вот кто мешал мне поблюзить дома? Нет, подать мне сюда свежий воздух и почтеннейшую публику, ага. Но ладно, это всё лирика, а вот делать-то мне что? Дано: через три месяца меня грохнут. Убивать, насколько помню, будут долго и тщательно, потому что я живучий. Но убьют. Князь Юсупов, некто Пуришкевич... Кстати, а кто это? Вот фамилию помню, и всё. Ни имени, ни кто он такой вообще... Ладно, надо будет — узнаю. Кстати, если правильно помню школьный курс истории, книгу Пикуля «Нечистая Сила» и фильм «Агония», мне всё равно деревянный съют выпишут — не эти, так другие, желающих много. До поры спасали только отношения с царской семейкой, склонной ко всякой мистике. Кстати, а где у нас ныне царь-батюшка пребывает? Кажется, в ставке, где-то в Белоруссии — гуляет с сыном, что-то роет, питается исключительно картошкой с шашлыком и смотрит кино. Хорошо устроился, отец родной. Но далеко, не спасёт... Но царица и вся остальная светская шушера — здесь, в Питере. Вернее, наверное, в Царском Селе — папашка-то у них «Царскосельским сусликом» в народе числится. И что это значит? Только то, что донимать меня начнут уже сегодня. И что мне с ними делать, о чем говорить, да чтоб не убили? Распутина-то во мне, хвала Би Би Кингу, нет, одна рожа кошмарная и осталась...

Слышь, ты, блюзмен, слайдом деланный! Чего разнылся-то? Ну, убьют — велико горе... Будешь джемовать на небесах с Хукером, Хендриксом и Стивом Рэй Воном, всего и делов. Всё равно через ещё три месяца Империи кирдык. Который, кстати говоря, я предотвратить уже при всём желании не смогу — ни ноутбука с чертежом автомата Калашникова, ни формулы каталитического крекинга, ни ещё каких рояльных ништяков у меня нет.

Подведём итог. Как быть Распутиным — не знаю. Как выжить — ума не приложу. Как спасти Империю — вообще не в курсе. Вывод? Приводим внешний вид в соответствие с внутренним, разживаемся гитарой — и вперёд... Корявый у меня блюзец получился, но,

думаю, тут всё дело в балалайке:

И пусть приходит Пуришкевич — его я вовсе не боюсь,

И князь Юсупов пусть приходит — его я тоже не боюсь.

Они меня, понятно, грохнут —

Но жить останется мой блюз!

Короткая кода, кивок: всем спасибо, все свободны. Опаньки, а это ещё кто? Толпа подалась назад, а передо мной стоял лысый бородатый дядька в пенсне и мундире типа генеральского. И этот скинхед держал в руке револьвер, направив его зачем-то на меня!

— Не боишься, значит? Думаешь, немка защитит, да? Шалишь, Гришка.

Я никаким местом не герой. Просто в данный конкретный момент, когда я только что решил, что небесный джем-сейшн — не самое худшее времяпровождение, а всё остальное — да любись оно лошадьё, страшно мне не было совсем.

— Вы отменно невежливы, сударь, — процедил я, глядя в его холёное лицо. — Могли бы хоть представиться для начала. И не припомню, чтобы пил с вами брудершафт. — Дядька офигел секунд на десять, и пришлось продолжить: — Если вы имеете намерение застрелить меня — просто сделайте это, хотя не поручусь, чтобы чем-нибудь обидел ваше превосходительство. Предупреждаю: я крайне живуч, поэтому имеет смысл весь барабан разрядить в голову. Если же вы достали револьвер так, поугатать просто — идите своею дорогой, сударь, не в настроении я нынче — и на нормальном американском добавил затейливое ругательство, сделавшее бы честь гарлемскому ниггеру. Дядька отвис.

— Владимир Митрофанович Пуришкевич, депутат Государственной Думы, к вашим услугам. И, милостивый государь Григорий Ефимович — последние четыре слова он произнёс максимально ядовито, — я действительно имею намерение застрелить вас. Поскольку то, что вы изволили сделать с моим Отечеством, поставило его на край гибели.

— Отлично, Владимир Митрофанович, — кивнул я, уже представляя, как беру нормальный «лес пол» и втыкаю его в небесный комбик, — стреляйте же.

— А ну, стоять всем! — из-за угла, на бегу запихивая в рот свисток, выскочил званый давешним красавчиком городской. Увидев Пуришкевича и меня, поперхнулся свистом и застыл, тяжело дыша, переводя взгляд с меня на револьвер и далее на моего убийцу. Досадно крякнув, Владимир Митрофанович опустил револьвер и полез в карман.

— Вам сказочно повезло, Распутин, — сказал он, одновременно протягивая городовому рубль. — Но, обещаю, мы ещё встретимся.

— И скоро, — отвечаю в тон ему. — Приглашаю вас на обед. Нынче же.

— Нынче?

— Именно. А чего затягивать?

— И то верно, Распутин, вы правы. Буду, ждите. Честь имею. — И тут Пуришкевич отмочил штуку, которую я от него совсем не ждал. Наверное, дядьке просто надо было срочно спустить пар. Он вскинул руку с револьвером, высадил в небо весь барабан и надсадно заорал:

— Русские люди! Как вам не стыдно?! В час, когда многострадальное Отечество ведёт тяжелейшую войну с коварным тевтоном, вы изволите прохладиться и отлынивать от боёв и от работы! А ну, по местам! Все по местам, суки! — И ушёл.

Мистическая трапеза Пуришкевича

— Что это на него нашло? — растерянно спросил городского.

— А хрен его знает, — пожал плечами тот, грея в лапище свежесрубленный целковый. — Это ж Пуришкевич... Шёл бы ты домой, Григорий Ефимыч.

— Дело говоришь, — согласился я и ушёл в дом. Наконец-то поверив, что шоу окончено, толпа на Гороховой медленно рассасывалась.

— К обеду у нас ожидается господин Пуришкевич, — провозгласил я, поднимаясь по лестнице. — Он меня всё убить хочет, так что вы расстарайтесь уж.

— Мышьячку-с ему подсыпать, или там цианиду? — ляпнул мой плюгавец.

— Я-те подсыплю! Говорить с ним буду. И петь, коль гитару сыщем. А пока — позовите мне брадобрея.

— 3-зачем?

Ответил матерно.

В ожидании цирюльника потребовал горячую ванну и хорошенько вымылся, чем в очередной раз поудивлял прислугу. Вообще, чуяло моё сердце, что надо быть готовым в одно мгновение вылететь вон из этого милого уголка с трогательными холуями: если вся та великосветская шушера, что крутилась вокруг настоящего Распутина, разберется в сути снизошедшей на него «благодати», пятки салом мазать придётся в темпе спид-метала. Поэтому, едва вымывшись и одевшись в чистое, решил привести дела свои в порядок. Одежды у меня оказалось не слишком много, и вся, по моим меркам, непотребная. Денег — гора. Что-то около пяти тысяч рублей, не считая всякой мелочи. Харчи в доме есть. Пива нет, одна мадера, которую я немедля подарил слугам: сам пить эту дрянь не стану ни за что. И не потому, что не блюзово, а просто не нравится она мне. Сыскались три бутылки Шустовского. Тоже не блюз, но это хоть пить можно. Одну велел поставить на обеденный стол, две сныкал в невесть как оказавшуюся среди домашней рухляди холщовую котомку. Деньги решил держать при себе — мало ли что. Тут и пришёл брадобрей — маскирующийся под обрусевшего итальянца выходец из-за черты оседлости[1]. В этом смысле мне очень повезло, потому как ближний родич брадобрея оказался, конечно же, портным, так что еще через час за чисто символические пятнадцать рублей удалось недурственно поправить ещё и свой гардероб, потому как у него таки нашлось немножко готовой одежды, которая мне даже подошла. Осталось дожидаться Пуришкевича с его револьвером, и вот в таком виде уже и на небеса не слишком стыдно.

Из дневника депутата Государственной думы В.М. Пуришкевича

5 сентября 1916 года.

Третьего дня ненадолго вернулся в Петербург. Привезли целый поезд раненых и увечных. Сегодня хотел пойти в Таврический, и, как обычно, молчаливою тенью своей укорять суетных думских балагуров. Ибо убеждён, что в эти страшные дни, когда весь наш народ во главе с самим Государем ведёт невозможно страшную битву с безжалостным врагом, в это трудное время всякая внутривластная суета безусловно вредна для Империи. Мы должны сплотиться вокруг Государя, и всем миром раздавить тевтона — вовне, и Распутина — здесь, внутри. Слово мерзкий кракен, этот страшный мужик подчинил своей животной воле всех, на кого мог лишь бросить взгляд. И, прежде всего,

императрицу и двор...

Думая эти невесёлые думы, совершал я нынче променады по Гороховой, когда внезапно увидел его. Этот чёртов спрут, проклятый Гришка, сидел на тротуаре и, подыгрывая себе на балалайке, орал что-то явно мерзкое и непотребное, как весь он сам. Буря негодования тотчас вскипела во мне, и я понял, что сам Господь послал меня на Гороховую, чтобы я наконец лишил Россию одной из самых гнусных её бед. Выхватив револьвер, встал я перед Распутиным, направив ствол прямо в его косматую голову. И с удивлением понял, что, пока в моей руке оружие, я не боюсь смотреть в его бездонные глаза! Мне не страшен его гипноз! И, что удивительно, Гришка в этот момент пропел «Я не боюсь Пуришкевича». Вот как! Ну-ка, посмотрим! Но дальше началось странное. Сей «старец Григорий» вдруг заговорил со мною таким языком, какой не то, что в Таврическом — в Царском не во всякий день услышишь! Вместо дремучего и почти безграмотного сибирского мужика со мной говорил человек с преотличным европейским образованием! Правильное построение фраз, безупречная логика... В конце концов, сложное и не до конца понятное английское ругательство, что он отпустил в мой адрес, никак не вязалось с этим бесом! Более того, он на полном серьёзе предложил мне застрелить его, и даже учтиво рекомендовал бить лишь в голову! К несчастью, городской помешал мне тотчас осуществить моё намерение, и, дав служивому рубль на водку, я поспешил ретироваться, получив — и приняв! — перед тем приглашение Распутина на обед.

Выпив для храбрости бокал Шустовского, в назначенный час, не выпуская из руки в кармане револьвера, заявился я вновь на Гороховую. В гостиной, где уже был накрыт стол, меня встретил сам Распутин. Признаться, я едва узнал его — так разительно переменялся он всего за несколько часов! Бороды и усов как не бывало, лицо гладко выбрито. Волосы зачёсаны назад и собраны в тугий хвост, как до сих пор носят потомки японских самураев. Из одежды — зауженные, едва шире кальсон, светло-синие брюки, матросская тельняшка да жидовский лапсердак. Холеные ногти. Признаться, я испытал шок.

«Владимир Митрофанович, вы желаете застрелить меня тотчас же, или сперва отобедаем?» — учтиво спросил Распутин. Я, коротко подумав, решил, что вот так, сходу палить даже в такое исчадие ада, каков есть Распутин, не слишком благородно, и согласился на трапезу. Под всё тот же Шустовский начался наш обед. Непременно выпили за Государя. Затем — за Россию-матушку. Я ожидал, что третий тост Распутин провозгласит за немку, и вот тогда я его точно застрелю, но он предложил выпить — я цитирую — «за блюз во всём мире, и чтоб больше не было войны». Я не знал, что такое этот «блюз», но прекращение беспощадной бойни как нельзя более отвечало моим чаяниям, потому тост я поддержал.

Потом же... Нет. Нет, нет и нет, господа. Всё дальнейшее настолько не уложилось в моей бедной голове, что бумаге доверить смогу это нескоро. Страшные, нечеловеческие впечатления от этого сверхъестественного обеда всё ещё бродят во мне вперемешку с Шустовским, так что потом, всё потом. Одно знаю: если не уберёт меня револьвер, и всё это — дьявольское наваждение гришкиного гипноза, в следующую минуту просветления я пушу себе пулю в лоб... *(Начиная со слов «Потом же» в оригинале дневника весь абзац густо вымаран чернилами. Восстановлен в 21... году после кропотливых исследований с применением высокотехнологичного оборудования. Но, увы, к пониманию того, что же произошло на Гороховой вечером 5 сентября 1916 года он ничего не добавил...)*

А хорошо мы с Пуришкевичем посидели! Ай, хорошо. Убивать меня милейший

Владимир Митрофанович пока передумал — ну, и на том спасибо. Он явно испытывал диссонанс от разницы между тем Распутиным, которого так мечтал убить и тем, кого видел перед собой. После тоста за блюз и мир во всём мире я спросил его:

— Владимир Митрофанович, я, не буду врать, вполне отчётливо представляю, за что вы меня ненавидите. То, что Гришка Распутин натворил в верхах власти, «едино смертью бысть наказуемо», факт. Для меня — лично для меня, того меня, с кем в настоящую секунду вы сидите за столом, — все распутинские проделки — тёмный лес, потому что я помню жизнь этого тела начиная лишь с нынешнего утра. Уверен, что не поверите вы мне ни на ломаный грош, и не собираюсь убеждать вас, сознавая бессмысленность этого занятия. Именно поэтому ещё там, на улице, я просил вас меня пристрелить. И, кстати, до сих пор не отказываюсь от своих слов. Я отчётливо представляю себе, чем займусь в Царствии Небесном после того, как вы нашьпигуете мою голову свинцом. Если же вам будет угодно оставить меня в живых — и тут у меня есть небольшой жизненный план на ближайшие полгода.

— А почему именно на полгода? — растерянно спросил Пуришкевич. Я едва удержался от вполне естественного «да накроется тут всё медным тазом» и вовремя прикусил язык: а вдруг, да и поверит Пуришкевич, что я из будущего, то есть грядущего, и с живого тогда не слезет.

— Да просто на больший срок не привык планировать, — пожал я плечами.

— И всё же...

— Да что там «всё же»? Что там, Владимир Митрофанович? Вот скажите: вы — умеете доить, простите, козу?

— Милостивый государь! Что вы себе позволяете! Я дворянин! — вскипел Пуришкевич.

— Прошу прощения, сударь. Так вот, я тоже не умею доить козу, хоть никаким боком не дворянин, а числюсь как раз в крестьянах. И я вам больше скажу: управление государством и прочая политика — всё это гораздо сложнее, чем доить козу, не правда ли? Так вот: как я могу лезть в управление государством, да ещё столь сложным, как наша Империя, если я не умею даже доить козу?!

Изумлённый Пуришкевич не нашёлся с ответом, зато я нашёлся с бокалом и тостом за всеобщее благоденствие. Выпили. Схватил балалайку, спел ему многое. Особо не блюзил, всё по советской пафосной классике отрывался: «Подмосковные вечера» там, «Широка страна моя родная» и так далее. Хрен его знает, с какого бодуна спел ему и секретовскую «Алису», что слегка захмелевшего Пуришкевича весьма развеселило: он усмотрел в песне сплошные скабрёзные намёки на ЕИВ Александру Фёдоровну. Но я заверил, что имеется в виду вовсе даже не императрица, а героиня книжек Льюиса Кэррола...

После этих моих слов Пуришкевич как-то резко протрезвел, посерьёзnel, встал и принялся откланиваться.

— Теперь я вижу совершенно ясно, что вы кто угодно, только не Распутин, — сказал он на пороге. — Распутин, читающий Кэррола... Немыслимо! Не-мыс-ли-мо, господа!

А едва я, проводив Митрофаныча, вышел на балкон перекурить, прибежал мой плюгавчик (как же его звать-то?) с опять выпученными глазами.

— Григорий Ефимыч! Там к вам курьер. — И многозначительно добавил: — Тот самый.

А вот и тот самый звонок, после которого в зрительный зал уже не пускают. Жаль, рановато, — но ничего не поделаешь. Посмотрим, чего от меня хочет тот самый курьер.

— Зови, — коротко ответил я.

Курьер оказался обладателем неприметной внешности. Причём, похоже, Распутин он знал неплохо, потому как, увидев меня, сильно удивился.

— Добрейшего вечерочка, Григорий свет Ефимыч! Значит, правду молва глаголет, что на вас благодать божественная снизошла?

— Может, и снизошла, — пожал плечами. — Кстати, как здоровье её императорского величества? Бодра ли? Весела?

— Ух ты! — побледнев, сдавленным голосом пробормотал курьер. — Лицо то же, глаза, голос... А так — другой человек совсем! Её величество изволят пребывать в превеликом любопытстве относительно вашей персоны. Впрочем, у меня к вам письмо от неё. — курьер протянул мне незапечатанный конверт, после чего увидел на столе давешний «Нью-Йорк Таймс» и побледнел бы ещё сильнее, если б это было возможно.

— Присаживайтесь, друг мой, — махнул я ему рукой в сторону кресла и налил коньяку на два пальца, — и выпейте за здоровье Ея Величества, — а сам принялся читать письмо императрицы. Учитывая уровень грамотности прежнего владельца моего тела, написано оно было печатными буквами.

«Милый друг!

До Нас дошли сегодня удивительнейшие слухи: будто снизошла на Вас божья благодать, и открылись Вам все тайны этого мира и всех прочих. Поспешите же прибыть с подателем сего в известное место и рассказать Нам об всём».

Я дочитал, вздохнул и посмотрел на «подателя сего» — он одним глотком махнул прекрасный напиток от Шустова как косорыловку какую и продолжал пялиться на меня изумлённым взором. Пришлось набулькать ему ещё и потребовать письменный прибор. Понятно, что представлять пред царицыны очи я вовсе не собирался, так что решил ограничиться ответным посланием.

Вот не люблю писать безграмотно. Понимаю, что натуральный Гришка карябал еле-еле что-нибудь вроде «ондюшка друг памаги челавечку низабуду грегорий». Ещё понимаю, что ни фигя не разбираюсь в ерах, ятях и прочих древних буквах. Поэтому принял решение написать по-английски. Этот язык императрица точно знает — у неё бабушка работала королевой Англии.

«Ваше Императорское Величество!

Сложно сказать, снизошло ли на меня что-нибудь, так как со стороны, несомненно, виднее. Но что-то нынче утром, определённо, приключилось, потому как ничего, что происходило до этого момента, я более не помню. Так что прошу простить то невольное разочарование, которое я могу вызвать у Вас этой странной вестью. Скажу так же, что, по моему скромному мнению, неуместно простому сибирскому мужику вести столь светский образ жизни. Кроме того, с этого утра я ясно вижу свой путь, и, Ваше Императорское Величество, я точно знаю, что пролегает он мимо дворцов и салонов. Умоляю Вас не держать обиды на бедного раба Божия Григория и помнить, что менее всего на свете я желал бы причинить несчастье Вам, Вашему царственному Супругу или нашему богохранимому Отечеству.

Засим, остаюсь Вашим почтительным подданным,

Длиннорукий Грег Распутин».

Письмо императрицы я сжёг в камине, своё же положил в тот же конверт, а его, в свою очередь, отдал курьеру, пристально глядя ему в глаза.

— Письмо, не читая, отдать по назначению. Сам ныне прибыть не смогу, все

объяснения — в письме. Ступай скорее, и да пребудет с тобою Сила! — произнёс я как мог внушительно. Трясаясь, как осиновый лист на ноябрьском ветру, посланец императрицы пулей выскочил вон.

Из дневника Николая II

7 сентября, среда

Потеплело еще, но день простоял серый. За завтраком играла музыка на дворе. Поехали по Бобруйскому шоссе к памятнику-часовне. Алексей остался в лесу, а я погулял по большой дороге. После чая принял Мамантова. Вести от Аликс: незабвенный Григорий сподобился Божественной Благодати и ушёл в юродство. Господи, храни его душу! Долго молился, потом читал до 11 ч.

Мне тоже нельзя было терять ни минуты. И едва за курьером закрылась дверь, я развил бурную деятельность. Выбрал из своих крайне немногочисленных пожитков те, что точно пригодятся, сложил в котомку. Добил последние сто граммов коньяка, собрал прислугу и выдал всем по сто рублей, включая дворника. Плюгавый получил двести.

— Значит, так, друзья мои. Спасибо за теплый приём, но пришла нам пора проститься.

— Григорий Ефимыч, отец родной! Куда ж вы?! На ночь-то глядя?

— А куда глаза глядят и дороги зовут. А вам советую как следует повеселиться этим вечером. Да и завтра тоже. К вам будут приходиться разные важные люди, спрашивать про меня всякое — так вот лучше, чтобы все были пьяны до изумления. И чем дольше, тем прекраснее. А впрочем, что хотите, делайте, сюда я не вернусь уже. Ну, с Богом. Бывайте. И ведите себя прилично! Где у нас тут черный ход?

Вышел с черного хода и быстрым шагом поспешил прочь. Трижды заблуждался в легендарных питерских дворах, но это меня не сильно напрягало: мне главное — уйти как можно дальше от Гороховой, а так я никуда не опаздывал. Два раза подкатывали какие-то гопники, но Гришку мать-природа силушкой не обделила, а куда и как надо бить — это я и сам прекрасно знаю — «лихие девяностые» научили, так что двигался без потерь. Долго ли, коротко, добрался до трактира где-то на задворках Екатерининского канала. Завернул перекусить и остограмниться. Первый, кого я увидел в трактире, был медведь.

К медведю прилагались цыгане с гитарой и тамбурином, и вообще в заведении в полный рост кипело веселье. Я будто попал в фильм «Жестокий романс», действие которого происходило как бы не полувеком ранее. Главными веселящимися были два господинчика, явно средней руки торговцы, справившие выгодное дельце. Ну, да кому варьете, кому декаданс, а кому и цыгане с медведём милее. Заказал жаркого да кружку пива, присел в уголке, согрелся. Поел, шлифанул пивком давешний коньячишко, и наконец понял, почему не могу отвести глаз от бородатого цыгана. Гитара! У него она есть, а у меня — нет. А нужна. Дождавшись, когда вечные бродяги-конокрады присядут передохнуть, подошёл, и без лишних заходов предложил купить у них инструмент за весьма солидные по тем временам сто рублей. Цыган сильно удивился, но отказал и понёс какую-то ахиною про древний инструмент, сработанный маврами в Андалузии, про цыганскую удачу... И запросил пятьсот. Я возразил, что больше ста двадцати не дам. Пошёл было азартный торг, но тут...

— Проваливай, жид пархатый! Не мешай людям веселиться! — вскричал пьяный купец и попытался ударить меня в ухо. От удара ушёл, ему в ответ отвесил душевный такой под дых — просто, чтоб не мешался. Торг сразу прекратился, началась самозабвенная кабацкая драка всех против всех, как в голливудских салунах Дикого Запада... Короче, вывалился из кабака

я почти целым, со всем своим шмотьём и с гитарой. Правда, разбитой в хлам. Но гриф остался целёхонек, как и струны, и бридж. А это уже кое-что, знаете ли. Завтра будет, чем заняться.

Ещё через час я нашёл дешёвые номера на набережной Крюкова канала, против Мариинского театра, где и снял себе комнатёнку, заплатив на месяц вперед. Где-то около полуночи, раздевшись донага (кальсоны, как и мадеру, отныне вычеркнул из своей жизни), забрался под одеяло и мгновенно уснул. Так насыщенно прошло пятое сентября 1916 года, первый день моей новой жизни.

[1] К описываемому времени черта оседлости фактически не существовала, но откуда об этом знать главному герою?

Отец Мойдодыра и пионер-миллионер с сачком

Поутру блюз продолжился:

Я проснулся рано утром, и не скажу, чтоб был здоров.

Поскольку выспался я скверно, и весь в укусах от клопов.

А за окном не слишком хмуро,

Но ждать нет смысла ништяков...

А чего их ждать? Ещё старик Мичурин нас учил, что ништяков от природы ждать можно до морковкина заговенья, лучше их надывать самостоятельно. Так что вперед, Гриня, за керосином!

Помимо керосина — вернейшего средства от клопов, по воспоминаниям моей бабушки, — «список добрых дел» включал посещение табачной лавки (встреча с разносчиком папирос не устраивала, это я быстро понял) и поиск толкового краснодеревщика. По выполнении этих пунктов уже можно начинать строить какие-то планы на жизнь. Ещё надо где-то позавтракать. И постоянно пульсирует мысль, что соскочить-то я, вроде, соскочил, да вот надолго ли? Врагов у Распутина — хоть отбавляй, да и натворил он столько, что одним «дяденьки, я сто пудов больше не буду!» никак не отделаться. Дискредитация государственной власти и монархии, в частности, сама по себе тянет на вечный расстрел через повешенье над костром. Поэтому по выходе в город я купил не только три пирожка с капустой, но и свежую газету, из коей и узнал, что сошёл с ума и подался в бега. Газета ли, или полицейское управление — не разобрать — предполагает, что сумасшедший Распутин крайне опасен для честных петербуржцев, потому всякому, кто заметит сбрендившего «старца», надлежит сообщить в полицию... Плохо. Сегодня мне окончательно расхотелось возвращаться к Хендриксу, так что включил я в свой список новое посещение цирюльника. С него и начал.

Лысый и в пенсне, как Пуришкевич, только без усов и бороды, пришёл я в магазин элитного табака в Гостином Дворе. Сходу пополнил запас папирос — а хороших у мальчишки на улице не купишь, — потом разжился вожделенным сигарным ящиком и поспешил на поиски столяра. Останки давешней гитары нёс с собой. Краснодеревщика не нашёл, только гробовщика. Он минут десять нахваливал мне свой товар, и как-то остановить этот поток рекламы ритуальных товаров и услуг не представлялось возможным, пока не закончился текст «ролика». Ещё с четверть часа втолковывал раздосадованному гробовых дел мастеру, что мне от него всего-то и надо, что два болта, пара струбцин да две ложки столярного клея. И только обещание заплатить за всё это как за не самый дешёвый гроб вновь настроило его на деловой лад. Получив аванс, дядька совсем воспрял духом, и с интересом наблюдал, как я, прорезав в ящике небольшое отверстие-резонатор, прикидываю, как присоединить к нему гриф. Вникнув в суть проблемы, гробовщик принялся подавать толковые советы, дело пошло. К концу третьего часа, тщательно отмерив мензурой стандартный строй, я приклеил бридж и оставил мою гитару — уже гитару! — в струбцинах до полного высыхания клея. Надо ещё придумать, чем занять себя эти два дня...

Бэнд собирать надо, вот что. Зачем — не знаю, но надо. Одному как-то не в кайф. Да ещё застарелый алкоголизм доставшегося мне тела даёт о себе знать — не спиться бы. Итак, мне нужно решить несколько задач. Во-первых, собрать блюз-бэнд. Крайне трудно,

поскольку кроме меня здесь вообще никто не знает, что такое блюз и рок-н-ролл. Но придумаю что-нибудь... Уже придумал. Ну, почти. Дальше. Вторая, но куда более сложная и важная задача — остаться в живых. Пуришкевича я, вроде бы, разубедил в необходимости моего убийства, но остался ещё князь Юсупов, и с ним какой-то там великий князь ещё, а их тут как собак нерезаных. И при всём при этом нужно вообще избежать опознания и поимки — в дурдом же сдадут ни за грош, а туда мне точно не надо. Ну, и сверхзадача, куда уж без неё. Закончить войну и не допустить революции. Но это надо обладать распутинской манией величия, чтоб на такое замахиваться, а я не обладаю. Хоть и Распутин, чёрт бы меня побрал.

Есть ещё вариант — смыться в Америку. В славный город Нью-Орлин. Ну, или в Нэшвилл, на самый худой конец. Но это так себе история. Даже если я со своим знанием музыкальной движухи на сто лет вперед стану там таким мессией, живой легендой, то очень быстро превращусь в легенду мёртвую — что белые, что, тем более, черные, без лишних сантиментов там не то, что за ломаный грош убьют, но даже и просто так. Безо всякого повода. А уж поводов я им предоставлю выше крыши — с собой знаком давненько.

И такой еще момент. Сексуальная революция тут еще вовсе не наступила. За закрытыми дверями, понятно, такое творится, что наша студенческая общага образца 1992 года скитом схимников покажется. Но то за закрытыми. А в открытую про это такое всякое даже и думать не могли — потому как мораль и во человецех благооставление, если не перепутал сдуру. Так что сочиняй-ка ты покамест, друг Григорий, песенки благопристойного содержания... Одно плохо: с настоящей поэзией у меня и в прошлой жизни было весьма не того-с. Заподозрить же подлинного Распутина в приверженности изящной словесности — это уже за гранью адекватности. Но, кажется, я знаю, как выкрутиться. Сейчас же Серебряный век!

Тут ведь всяких поэтов, литературных течений, журналов и тому подобной кипучей деятельности — вагон и маленькая тележка в придачу. Плохо то, что я в этом ну вот совсем не разбираюсь, несколько имен помню, конечно — Гумилев, Пастернак, Блок, Есенин — да вот совершенно не припомню, они уже были, есть прямо сейчас или только будут после того, как через полгода примерно дедушка Ленин спляшет на броневичке. Я в литературе почти полный ноль, будем честны. Но это же поправимо! Чай, не высшая математика. Для начала надо что-нибудь найти почитать, а потом с кем-нибудь знающим поговорить и выйти на собственно творца.

С этими благими намерениями я наконец отлепился от заведения гробовщика, возле которого перекуривал, и отправился на поиски книжного магазина. К прохожим с соответствующими вопросами решил не приставать: я никуда не тороплюсь и не опаздываю, а книжный сам найдется.

По пути продолжал размышлять о себе, творчестве и судьбах мира. Первое. Мне необходимо инкогнито. Представляться всем и каждому «Здрассьте. Я — Гришка Распутин» — мило, но опасно для жизни. «Распутин» — это, конечно, могучий бренд, да вот только не того плана, как мне надо. И что делать? Использовать свое честное имя из вчера оборвавшейся жизни? Стоп! А... как меня звали-то? Офигеть, не помню! Едва больше суток прошло — а уже забыл.

Я стоял посреди какого-то пустынного переулочка в некотором ступоре, как на меня налетел какой-то расхристаный тип самого пролетарского вида.

— Товарищ! - задыхаясь от бега возопил он, — Помогай! Там бичи тилигента бьют!

В долю мгновенья в моей голове пронеслась масса вопросов: с какого боку я ему товарищ? Мало того, с какого боку этому мастеровому товарищу некий «тилигент», которого

бьют? Кстати, за что его? И тому подобное. Но спросил я не об этом:

— «Там» — это где?

— Там, — махнул он рукой, угол Прачечного и Мойки! Я за подмогой дальше!

— Городового зови! — крикнул ему вслед и запоздало прикусил язык: городовой — последний, кто мне в обозримое время нужен.

Подивившись пролетарско-интеллигентской солидарности, всё же поспешил в указанном направлении. Географию Питера один хрен пока не знаю, и если Мойку с Фонтанкой еще попробую не перепутать, то какой там переулок Прачечный — фиг его знает. На бегу снял пенсне, положил в карман лапсердака, заранее готовясь к потере.

Скоро я увидел, как трое самого босяцкого вида существ несколько неумело, но весьма агрессивно мутузили действительно вполне интеллигентного вида молодого, вроде бы, человека. Тот уже лежал и сопротивление оказывал слабое: один из нападавших как раз выхватил из кармана пиджака интеллигента портмоне, ради которого, понятно, всё и затевалось. Босяки успели свыкнуться с мыслью, что жизнь удалась, но тут на сцене появился ваш покорный. Ни в каких секциях, кроме музыкальной школы, я в жизни не занимался, а от армии благополучно откосил в психушке. Но дворовая школа московских окраин конца 80-х и школа жизни во всей столице в начале 90-х — это вам, друзья мои, не фунт изюму. Первым делом засветил с ноги в грудак тому, кто лапнул тилигентов лопатник. Дядька хекнул, отлетел на метр и как бы даже замер. Пока остальные двое пытались среагировать на изменение ситуации, тот, что стоял ко мне поближе, словил прямой в челюсть, от чего пришёл в некоторое изумление — в том значении, в каком слово в этом времени употребляют, а последнему я сперва сломал руку, в которой уже был нож, а потом с двух сторон отвесил по ушам, от чего и этот разбойник сомлел: как я уже говорил, силушкой мать-природа Гришу Распутина отнюдь не обидела, так что и к излету пятого десятка этот пропитанный мадерой и затраханый графинями организм всё ещё мог вполне себе немало.

Избитый интеллигент пытался сесть. Смотрел на меня он при этом с некоторым испугом. Первым делом я подобрал валявшееся в пыли портмоне и, не открывая, протянул владельцу. Следом я предложил ему руку и помог подняться, заодно хорошенько разглядев. М-да. Джимми Хендрикс любит меня, определенно. Ибо послать мне вместо книжного магазина человека, который отлично шарит в литературном процессе Петрограда — такой подгон дорогого стоит. Я узнал его сразу, хотя в книжках, которые читал в детстве, всегда публиковали его куда более поздние портреты — где он старый, маститый. Как же я его узнал, спросите? А по носу. Ибо, хоть из этого самого носа сейчас и капала кровь, которую относительно молодой литератор тщился унять носовым платком, такой нос — он один на все времена, фиг подделаешь.

— Доброго дня вам, Корней Иванович, — вежливо поздоровался я. — Как это вас угораздило, голубчик?

Чуковский уставился на меня совсем уж оторопело. Его можно понять: длиннорукий лысый мужик с необремененной интеллектмордой, в узких штанах и лапсердаке из Бобруйска, в дурацком котелке (ну что поделать, Корней Иваныч, единственная шляпа, что пока удалось раздобыть — вот эта, а без головного убора нынче — что без штанов. Но спасибо, что напомнили). И, чтобы завершить образ, я вытащил из кармана пенсне и водрузил на нос. Естественно, одна половинка уже оказалась треснутой. «Хоть Булгакова зови», — пронеслась истеричная мысль, но тут же превратилась в спасительное решение вопроса самоидентификации.

— Мы разве знакомы? — выдавил Чуковский.

— Простите великодушно, не успел представиться, — как мог располагающе (распутинской харей, ага) улыбнулся я. — Меня зовут Коровьев. Григорий Коровьев, из мещан, к вашим услугам. Позвольте предложить вам помощь.

— Откуда... Откуда вы меня знаете? — невнятно пробормотал Корней. Еще бы, учитывая его побитость, удивительно, что он на ногах-то довольно устойчиво держался.

— Один мой знакомый из Думы рекомендовал вас как солидного литератора, а я совсем недавно в Петер... в Петрограде, и ищу литературных знакомств.

— Меня? В Думе?! — офонарел Чуковский. — А! Это, верно, после английской поездки... А зачем вам литератор?

— Корней Иванович, помилуйте, разве стоит разговаривать о литературе среди поверженных врагов, когда вдали уже заливаются полицейские свистки? Право слово, мы же с вами не японцы какие! Давайте пойдем отсюда куда-нибудь, вы там приведете себя в порядок — да и вообще, возможно, вам доктор нужен? Ну, а как-нибудь потом мы с вами благостно побеседуем о русской словесности... Куда вас проводить? И не спорьте, одного вас в таком виде по городу отпустить мне просто совесть не позволит, — поддерживая его под локоть, несколько медленнее, чем хотелось бы, я повел Чуковского вдоль набережной. Свист не слишком быстро, но приближался со стороны Прачечного переуллка, а общаться с полицией мне вовсе не хотелось. Начать с того, что у меня нет документов. Вообще никаких. «Усы, лапы и хвост», конечно, в наличии, но предъявлять питерским ментам морду Распутина, пусть и почти лишённую растительности — та ещё лотерея. Идём же, Корней! Похоже, последние слова я произнес вслух.

— Да... — силы то ли не до конца вернулись к бедному Чуковскому, то ли вновь оставляли его. — Пожалуй, вы правы, господин... Коровин?

— Коровьев, Григорий Павлович.

— Простите, Григорий Павлович. Буду вам благодарен премного. Но я живу на Коломенской, в одиннадцатом номере, а это довольно далеко отсюда.

— Не беда, поймаем... — Я чуть не ляпнул «такси», а потом сообразил, что очень не факт, что таковые тут имеются, да в достаточном количестве. — ...извозчика. Не знаете ли, где тут ближайшая э-э-э... стоянка?

— У Исаакия, тут недалеко.

— Идём же. — Я потихоньку начал мандражировать: свист слышался ближе и ближе.

Нам повезло: полиция степенно прибыла на место происшествия, когда мы еще более степенно пересекали Фонарный мост через Мойку. Судя по всему, мои недавние визави начали подавать признаки жизни, и стражи порядка активно принимали их в свои нежнейшие объятия. Вот, кстати, еще проблемка: на допросе в участке детинушки как один покажут, что увечья им причинил и мало живота не лишил какой-то бритый жид в котелке. Так что гардероб меняем срочно. Ух ты! А это ещё кто?!

— Вот же чёрт его принёс, — чуть слышно, с изрядной досадой пробормотал Чуковский. Но слух музыканта не обманешь.

Навстречу нам на мост величественно вступил — иначе не скажешь — дорого и безупречно одетый юноша с очень взрослым лицом, на которое он старательно натянул маску надменности. В правой руке этот юный властелин всего сущего держал недурную трость, с которой, впрочем, управлялся не слишком умело, что бросалось в глаза. В левой же руке помещался сачок для ловли бабочек на длинной рукояти. Пионер-король бережно и при

этом насколько мог торжественно нёс себя по мосту навстречу нам. Образ получился донельзя гротескный — как если бы школьник, участвующий в театрализованной постановке в роли, скажем, лорда Керзона, к месту действия двигался из дома через пару кварталов в готовом для лицедействования виде...

— Бог мой, вот это персонаж! — вырвалось у меня, надеюсь, не слишком громко. Встретились, остановились. Юноша присоединил трость к сачку и вежливо приподнял шляпу.

— Здравствуйте, господин Чуковский, — холодно произнес он с непроницаемым лицом. — Что это с вами? Здравствуйте, сударь, — это уже мне.

— Добрый день, Владимир, — пробормотал Чуковский, стремительно краснея. — Я по рассеянности поскользнулся на арбузной корке и пребольно упал. Спасибо господину Коровьеву — он случился рядом и помогает мне теперь добраться до извозчика. А вы гуляете?

— Да, в Юсуповский сад, — юноша бросил мимолетный взгляд в ту сторону, откуда мы пришли, и меня прошиб холодный пот. Потому что вот пойдет он сейчас туда, а там дядя полицейский почтительно спросит его юное благородие, не встречал ли он кого подозрительного? И тот надменно-холодно ответит, что нет, не встречал, только литератор Чуковский побитый попался навстречу в компании какого-то бритого придурка из провинции. И даже если все, что писали в советских книгах про тупость царской полиции — правда, поверить, что им неизвестен адрес Корнея Ивановича с моей стороны было бы чрезмерно наивно... Чёрт! Его необходимо задержать! Но как?!

— Корней Иванович, — обращаюсь с полупоклоном к своему спутнику, — не представите ли меня молодому человеку?

— Да, конечно, — проямлил Чуковский. — Владимир Владимирович, это Григорий Павлович Коровьев, приезжий. Мой нечаянный знакомец и спаситель. Григорий Павлович, позвольте представить вам воспитанника Тенишевского училища Владимира Владимировича Набокова, будущую надежду русской энтомологии.

По лицу будущей надежды пробежала злобная тень. А я очень надеялся, что мои глаза не полезли на лоб. Я, конечно, мало разбирался в литературе, и читал в своей жизни не больше, чем средний советский школьник, но кто такой Владимир Набоков, представьте, знал. Хотя, будем честны, не читал ни строчки из того, что он за свою длительную заграничную жизнь понаписал, но о некоторых нюансах его биографии и творчества меня просветила одна моя подруга, истовая филологиня, после профильного факультета столичного педа окончившая еще и Литературный институт. Так вот, она фанатела от Набокова, цитировала и зачитывала избранные места из его прозы и целыми вечерами зудела, излагая уже собственную кандидатскую диссертацию, посвященную понятно кому. И рассказала она, в числе многого прочего, вот какую занимательную штуку. Помнится, в одной не самой плохой песне пелось: «Я — тот, чей разум прошлым лишь живёт». Так это ж как раз про него, про Набокова! Всё, что этот желчный тип испытывал в жизни, он потом годами переваривал в своей башке и в переваренном виде излагал (а то и не по разу) на бумаге. Зануда страшный, короче. За что его только на Нобелевку номинировали, да ещё несколько раз подряд? А всё равно ведь не дали, что ценно. А нефиг порнуху писать, потому что. Ух, пионер, как много я про тебя знаю-то... А что там полицейские? Суетятся, пытаются тех босяков в ум привести. Оплеухами, ага. Как бы насмерть не забили...

— Очень приятно, Владимир Владимирович, — раскланиваюсь вежливо. — Но

простите, не пишете ли вы рассказов? Боюсь показаться бестактным, но весь ваш облик — от блоковской утонченности до чайльдгарольдовской печали на челе (Джимми Хендрикс, что я несу?! Впрочем, пофиг) прямо-таки кричит о причастности к таинству сплетения слов! Молчите, прошу вас, не надо — если сочтете себя уязвленным, потом пришлёте вызов, — но мнится мне, что ждут вас таинственные и беспощадные дороги большой литературы! Рассказы, повести, романы — да, романы, иные и на английском. Вы не пробовали писать по-английски?[1] О! Уверяю вас, этот язык куда более приспособлен для литературы наступившего века, нежели любой иной! «Woke up early in the morning I found she left me with no tears» — согласитесь же, лаконично и предоставляет читателю нарисовать всё прочее! Английский язык — вот вестник новой эры! Оставим итальянский Ренессансу — да, тогда он был как поток живительного нектара после всей этой беспросветной латыни, но теперь его напевная игривость кажется фальшивой. Оставим и французский — жеманство и разврат Просвещения давно позади, нам нужны иные словеса. Немецкий канул вместе с последними романтиками и превратился в свинскую брань. Наш любимый русский прекрасен и могуч, но, увы и увы, он вместе со всеми нами отстаёт от стремительного пульса нового века, века электричества и удивительнейших научных открытий. Учите английский! Америка — странная заокеанская страна непостижимых контрастов — она формирует язык нового времени и самое это время!

На мосту повисла тишина. Чуковский смотрел на меня с непередаваемым удивлением. С Набокова почти сползла маска и стал виден страшно неуверенный в себе себялюбец — жуткое, как по мне, сочетание. А, может, перевоспитать его блюзом? Судя по рассказам моей подруги, цинизма этому парню было не занимать.

— Ну, допустим... — неуверенно пробормотал Набоков, но тут самообладание стало к нему помаленьку возвращаться. — Но позвольте, сударь! Кто рассказал вам обо мне?

«Подруга», — мог бы честно сознаться я, но не стал этого делать, а просто развёл руками. Заодно разглядел, что к полицейским приехали телега и коляска, и вот-вот они покинут место моего знакомства с Корнеем.

— Поверьте, милейший Владимир Владимирович, я вижу вас впервые в жизни, и уж, конечно, никто мне про вас в нашей глубокой провинции рассказать не мог. — Просто я человек творческий, имею честь сочинять песни, но совершенно чужд поэзии, вот и ищу себе компаньона-поэта. У меня иногда возникает необъяснимое видение творческого потенциала человека, и именно в вас я разглядел...

— Поэта?.. — с надеждой прошелестел Набоков.

— Отнюдь, — пришлось его разочаровать. — Но, чую я, прозаик из вас получится великолепнейший. Особенно на английском языке. Но простите, что задержал вас, да и Корнея Ивановича проводить нужно.

Володя кивнул, мы раскланялись и, глядя перед собой невидящими глазами, он пошел дальше. Сачок при этом он держал в правой руке, трость — в левой, и то, и другое — на весу.

— Вы действительно ищете себе поэта? — спросил Чуковский. Чем дальше от нас уходил юноша, тем ошутимее оживал избитый бомжами литератор.

— Истинная правда. С тем и планировал к вам обратиться — сам я со словом не очень-то.

— Ну, по вашей пламенной речи такого не скажешь, да и начитанность немалая видна, — возразил он. Но вот в чем бы, безусловно, правы, так это в том, что поэт из Набокова — никакой. В этом году он издал сборник стихов. Целых шестьдесят восемь

стихотворений! И всё про любовь. И всё — сплошными штампами. Затасканные образы, слог прошлого века, «кровь-любовь», вот это всё. Тоска, словом — альбом томной барышни послепушкинских времён... Так что я бы поспорил насчет его литературного будущего. А вот с бабочками парень действительно молодец. Мы с его отцом недавно в Англию ездили, он мне много чего про него рассказывал... А ещё этот ребенок — миллионер, представляете? Крестный его преставился в этом году, так всё имение свое Владимиру завещал. Шальные деньги в юности — загубленная жизнь: не к чему стремиться... Но вот извозчик. Благодарю вас, Григорий Павлович. Ох, и заинтриговали ж вы меня — давно таких примечательных незнакомцев в моей жизни не было. Давайте встретимся завтра на Екатерининском канале у Итальянской, в два пополудни. Вам будет удобно?

— Да, Корней Иванович, вполне.

— Вот и договорились. Спасибо вам! Честь имею кланяться. Любезный, отвези-ка ты меня на Коломенскую, одиннадцатый дом.

Из дневника Корнея Чуковского

...во мгновение ока этот богатырь поверг в *knock-out* всех троих — а одному, очень похоже, и руку успел сломать! — а сам при том даже не запыхался. Единственной его потерей стало треснутое стекло пенсне, которое он благоразумно перед дракой спрятал в карман, но до конца так и не уберёг. Незнакомец проявил ко мне всяческое участие и сопровождал на Исаакиевскую, где против института искусств всегда можно было рассчитывать взять извозчика. Мне показалось, что этот Григорий Павлович Коровьев — так он отрекомендовался, прибавив зачем-то «из мещан», — крайне желал избежать встречи с полицией. Как бы там ни было, ничего, кроме добра, от него я не видел, а с полицией связываться и мне нужды не было: *omnia mea* осталось при мне. Но куда как интереснее то, что было дальше!

Пока мы тащились по набережной Мойки, г-н Коровьев успел выказать себя как человека весьма начитанного, образованного и воспитанного — хоть и странно. Говорил он по-русски без акцента, но при этом как-то не по-нашему и, сказал бы я, чрезмерно быстро. Не так быстро, как торговка рыбою на одесском Привозе — у той речь подобна стрельбе из пулемёта, — но много быстрее, чем привычно моему уху. Вот: он быстро думает. И следующий эпизод это подтверждает. Угораздило нас встретиться на Фонарном мосту с молодым Набоковым, старшим сыном В.Д. Я после недавнего конфуза с письмом (проклятая рассеянность!) мечтал сквозь землю провалиться, а г-н Коровьев, очевидно, заметив мою неловкость, перехватил ситуацию и полностью завладел вниманием юноши. О! Он прочел ему целую вдохновенную речь о будущности литературы и главенстве в ней английского языка!

Он сделался очень интересен мне, этот Г.П. Коровьев. Видится, что он многослойнее, чем торт «Наполеон», и далеко не все слои на виду, но все, без сомнения, представляют интерес. Говорит, что провинциал, но он вообще нездешний — как может человек, живущий в наше время, быть столь чудовищно раскрепощён? Кажется, для него вовсе не существует никаких условностей — но при этом он держится вполне *comme il faut*, и это, конечно, интригует. Еще более интригует то, что я совершенно уверен в том, что лицо его мне знакомо и я видел его много раз. Тем не менее, клянусь, никогда не встречался с Коровьевым прежде. Условились с ним погулять завтра в районе Итальянской.

Распрощавшись с Чуковским, вернулся на набережную, где перешёл поперек Синий

мост и, прислонившись к парапету, закурил и задумался — о многом сразу. Во-первых, я вспомнил, отчего Корней Иванович в присутствии юного Набокова мялся и прятал глазки. Дело в том, что упомянутый сборник стихов Володя отправил этому корифею на рецензию. И тот ее выдал — нейтрально-благожелательную, но «нечаянно» приложил к ней и «черновик», в котором не стеснялся ни в оценках, ни в выражениях. Это, безусловно, добавляет красок в портрет моего нового избыточно носатого знакомого. Впрочем, в моём положении ухо остро нужно держать со всеми, ничего не поделаешь.

А что до юного Набокова... Странно, но мне этот парень чем-то понравился, хотя по жизни (прошлой) снобствующих инфантильных мажоров на дух не переносил. Может, еще не все потеряно, и мне удастся сделать из него человека (спешите видеть! Гришка Распутин воспитывает сына депутата Госдумы!).

Во-вторых, моей новой гитаре необходим кофр. Заказывать его в той же мастерской я бы не решился. Оно, конечно, время сейчас лихое и мистическое, но даже теперь ходить по улицам столицы с детским гробиком — пожалуй, перебор. Ладно, подумаю, время есть.

С дел гитарных мысли неизбежно перетекли на музыку. Ну, хорошо, будет мне гитара через пару дней. Услада души, неотъемлемый атрибут жизни и все такое прочее. Но дальше-то что? Денег у меня не сказать, чтобы много, и нужен заработок. Все музыкальные стили, к которым я привык, здесь — немыслимо новаторские, и не факт, что «зайдут» почтеннейшей публике. Милые моему сердцу песни, по нынешним меркам, или на грани пристойности, или далеко за ней. Кроме того, ни на миг не забываем, что я не ноунейм с полтавского хутора, а сам, мать его, Григорий Распутин, и лишнее внимание публики мне совершенно ни к чему. Но без внимания публики я очень быстро сдохну с голода. Правда, в ином случае меня еще быстрее убьют или куда-нибудь законопатят. Задача... И да, как собрать рок-группу там и тогда, где даже джаза еще не случилось? Согласитесь, есть над чем поразмыслить!

И вот еще некстати мысль: уж больно погода хороша! А ведь сентябрь в Питере — как правило, сезон дождей (а также октябрь и ноябрь... впрочем, не будем о грустном). Пока же небеса скупались на влагу, бабье лето создавало игривый настрой и даже вечные петербургские ветры определенно были теплыми. Подумалось, что такая погода невольно кого угодно расслабит, а вот расслабляться мне сейчас категорически не стоит.

И тут меня кто-то ухватил за рукав, и, обдав водочным перегаром, гаркнул прямо в ухо: — Ага! Попался, шельма! Ужо не убежишь, хучь сто раз побрейся!

[1] О том, что Набоковы были записными англоманами, подруга нашему герою, видимо, рассказать забыла.

Глава 4. Спонтанный концерт для незнакомки

С самого начала своего посмертного приключения обратил внимание, что местные — почти без исключения — живут гораздо медленнее, чем я. Оно понятно: в конце XX — начале XXI веков, когда я проживал свою предыдущую жизнь, городского жителя окружало в разы большее количество информации, что, соответственно, требовало серьезного ускорения обработки этой самой информации и, как следствие — быстрого принятия решения. Поэтому того полицейского, что минуту назад вышел из арки и принялся ко мне подкрадываться, я срисовал сразу. И сразу же просчитал, что ударяться от него в бега более чем рискованно — не факт, что удастся сбежать, а шуму в любом случае будет гораздо больше, чем надо. Так что доверимся импровизации, а там будь что будет. В качестве отправной точки этой импровизации я вновь выбрал того персонажа, фамилию которого беззастенчиво присвоил. Книжку я читал, но очень давно, а вот фильм пересматривал сравнительно недавно, и актёрская игра Абдулова в который раз произвела сильное впечатление. Кроме того, фон прочитанного и просмотренного за жизнь позволял выбрать и манеру, и язык. Я не специалист, мне ошибиться — как вступление к «Smoke on the water» сыграть, но другого не дано.

— Ба! Кого я вижу! — радостно заорал я, рывком оборачиваясь к схватившему меня городовому. — Федот Никитич! Какими судьбами? Верите ли — третьего дня тётка Татьяна Фёдоровна об вас напомнила, кланяться велела, как в Питербурх доберусь, да и почтенный родитель мой, Поликарп Аристархыч, кажинный обед вторую рюмку непременно за вас поднимает, отец-благодетель! Так что счастлив, счастлив столь скорой встрече! — с этими словами я порывисто обнял довольно объёмистого дядьку и троекратно облобызал.

Полицейский крепенько обалдел. Уж не знаю, чего он от меня хотел и чего ждал, но наверняка не такого. Тем не менее, первоначальный успех надо было развить, и я поспешил усилить напор:

— Э, Федот Никитич! Да вы не рады мне, что ли? Али не признали? И то сказать: три года, почитай, не видались. Это ж я! Серёжа Акимов, Поликарпов сын! Из Акимовки нашей благослови ея Господь на многая лета! — я перекрестился, дядька машинально повторил жест. — Вы ж меня на коленях ещё, когда я пешком под стол!

Дядька, вроде, оттаивал. Но медленно.

— П-п-простите, милостивый г-государь, — выдавил он. — Обознался, попутал бес. И вы ошиблись — я Степан Парамонов из Березани. Честь имею.

Совершенно искренне извинившись, я поспешил откланяться и удалиться.

Из рапорта околоточного надзирателя Адмиралтейской полицейской части г. Петрограда

...городовым Степаном Парамоновым неизвестный был уверенно опознан как Распутин, Григорий Ефимов, из крестьян, накануне таинственно исчезнувший из места постоянного пребывания на ул. Гороховой. Со слов Парамонова, беглый Распутин значительно изменил внешность — в частности, удалил весь волосяной покров с головы и сменил гардероб. Парамонов предпринял попытку Григория Ефимова Распутина задержать. При этом задерживаемый Парамонову обрадовался, хотя определенно перепутал его с кем-то другим. В то же время, речь и вся манера поведения его отнюдь не соответствовали

полученной от г-на Министра ориентировке. «Совершенно по-господски говорил, хоть и пытался лапотником прикинуться», — отмечает Парамонов. Тем не менее, теперь он не уверен, обозначился ли на самом деле или же бы введен в заблуждение Распутиным, который известен как сильный гипнотизер и мистик. Отдельное замечание: перед выходом на это дежурство Парамонов выпил стакан водки, в чем самостоятельно чистосердечно покался.

Резолюция начальника полицейской части: «Парамонову за пьянство — фитиль. Новые приметы Распутина немедленно довести до сведения ВСЕХ!!!»

Не зная толком города, ретировался я с Мойки довольно бестолково и в целом хаотично. Два раза выносило меня на Гороховую, которая оказалась совсем рядом. Потом я вспомнил, что устройство Питера — квадратно-гнездовое, так что заблудиться, вообще-то, затруднительно. В подвернувшейся наконец книжной лавке, к тому же, купил план города, и принялся его вдумчиво изучать. Целью себе поставил добраться до апартаментов на Крюковом, и дело, кажется, пошло на лад.

На Средней Подьяческой наткнулся на лавку «Английские костюмы мадам Робинсон», и вовремя вспомнил, что мне туда надо. Звякнул дверной колокольчик, и дремавшая за прилавком мадам мгновенно воспряла и приготовила улыбку. Да, если она Робинсон, то зовут ее при этом Сара Соломоновна, не иначе. Тем не менее, я не удержался и пропел:

And here's to you, Mrs. Robinson

Jesus loves you more than you will know

God bless you please, Mrs. Robinson

Heaven holds a place for those who pray [1]

— И таки шо вам надо, молодой человек? — спокойно спросила меня миссис Робинсон, продавщица английских костюмов.

Терпеть не могу долгий шоппинг, и потому всего двадцать минут и триста рублей спустя из лавки вышел солидный джентльмен в темном твидовом костюме, неубиваемых ботинках и довольно стильной шляпе. Еще два съюта Сара Соломоновна, или как ее там на самом деле, обещала прислать с мальчишкой на оставленный мной адрес. С лапсердаком и котелком я расстался без сожалений, а вот тельник и протоджинсы решил сохранить — удобные, да и нравятся.

Как со мной часто бывает, подумал ни к селу, ни к городу: случись мне еще встретиться с Пуришкевичем, ни при каких обстоятельствах не петь ему «Как упоительны в России вечера». Он же, язвы его черносотенную душу, всерьез все воспримет! И, к слову: а не пора ли мне похрустеть французской булкой? А то проголодался что-то. И да, вспомнилось-то что: под этим самым хрустом в нынешние времена разумеется отнюдь не употребление хлебобулочной продукции, изготовленной по французской рецептуре, а внезапный конфуз дамы, излишне затянутой в корсет... Но жрать охота, факт. И, кстати, о дамах. Про прежнего обладателя моего тела не зря пели, что он «Russia's famous love machine»: судя по всему, с гормонами в распутинском организме не всё ладно — под занавес пятого десятка лет тестостерон шкалит, как у десятиклассника, и только воспитание советского пионера и могучий инстинкт самосохранения позволяют пока воздерживаться от глупостей. И ещё, конечно, чувство прекрасного: за всё время, что я уже здесь, ни одной симпатичной женщины еще не встретил. А при воспоминании о графине Клейнмихель до сих пор дурно делается, несмотря на все гормоны. Но и этот голод хорошо бы как-нибудь унять, а то отвлекает и вообще, голова мне нужна исключительно холодная. В бордель пойти, что ли?..

Впрочем, играющему со мной в кошки-мышки провидению было угодно, чтобы сперва я утолил голод духовный, а уж потом едва не сошел с ума от плотских вожделений.

Не успев дойти до Екатерингофской перспективы, я был сражен наповал звуками живой музыки. Играли на фортепьяно. Умело, но несколько неуверенно, похоже, пианист впервые пробовал с листа сыграть незнакомую вещь. Остановившись, прислушался, стал искать источник звука. Ага, дом на противоположной стороне улицы. Так себе домишко, не дворец ни разу. Окно второго этажа по случаю теплой погоды открыто, музыка слышна оттуда. Ну да, я так и думал: игра становится всё увереннее. Вот музыка прекратилась, зашелестели ноты, начали заново. К музыке добавился высокий девичий голос и настала моя очередь выпадать в осадок. Похоже, я сильно переоценил целомудренность этих времён: песня, что не вполне уверенно пела неведомая девушка, сделала бы честь какой-нибудь «Агате Кристи».

Что Вы плачете здесь, одинокая глупая деточка
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы?
Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка.
Облысевшая, мокрая вся и смешная, как Вы...
Вас уже отравила осенняя слякоть бульварная
И я знаю, что, крикнув, Вы можете прыгнуть с ума.
И когда Вы умрете на этой скамейке, кошмарная
Ваш сиреневый трупик окутает саваном тьма...

Так не плачьте ж, не стоит, моя одинокая деточка.
Кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы.
Лучше шейку свою затяните потуже горжеточкой
И ступайте туда, где никто Вас не спросит, кто Вы.[2]
— Bravo, мадемуазель! — крикнул я и заплодировал.

После краткой паузы по дощатому, наверное, полу простучали каблучки, и в окно осторожно выглянула очаровательная девчонка лет семнадцати, одетая в простое серое платье.

— Вам правда понравилось? — с подозрением спросила она.

— Честное слово, — не кривя душой, ответил я. — Вы замечательно играете и восхитительно поёте. Кроме того, я второй день в столице, но прежде не слышал таких... эээ... современных песен.

— Это совсем свежая, «Кокаинетка». Сочинение господина Вертинского.

— А! Вертинский! — Позор на мою лысую голову! Как я мог про него забыть?! — Слышал, слышал о таком, но вот с этой песней пока не знаком. А сыграйте ещё что-нибудь? А то без музыки тоскливо...

— Сыграть?.. но кто вы, сударь? — я видел, что девушке любопытно. Но о том, что с незнакомцами вряд ли стоит разговаривать, в России знали задолго до посиделки на Патриарших.

— Коровьев, Григорий Павлович, — приподнял шляпу и изобразил полупоклон. — Приезжий. Очень, знаете ли, люблю музыку, да и сам музыкант.

Девушка задумалась ненадолго.

— А знаете... Как-то невежливо держать вас на улице. Поднимайтесь. Седьмая квартира.

Я снова позволил себе сильно удивиться. Вот так — совершенно незнакомого мужика

позвать к себе домой? Ну, времена-а... Ну, нравы! Тем не менее, приглашение я принял, так что не прошло и минуты, а я уже нажимал кнопку электрического звонка. Открыла сразу.

— Так скажите, что именно привлекло вас в песне господина Вертинского? — прямо с порога спросила певунья. Надо отметить, что несмотря на выбор репертуара, выглядела она отнюдь не чахоточной декаденткой. Нормальная такая барышня, чуть пухленькая, там, где надо — очень даже округлая. Лицо отнюдь не бледное, чуть вздёрнутый носик и, главное, глаза: живые, озорные.

— Непременно скажу, милая барышня, но только если вы соблаговолите представиться. В детстве мама учила меня, что, если уж приходишь в гости, надо хоть знать, к кому.

— Ой, простите! — засмеялась девушка. — Меня зовут Надя. Надя Садовникова.

— Григорий Коровьев, — повторил я легенду. — А песня заинтересовала тем, что нет в ней ни романсовой элегичности, ни пафоса, ни вычурности, ни морали. А есть лишь страшное горе и тихое этому горю сочувствие. Как-то очень по-человечески.

— Боже мой, как же вы правы! Вертинский потрясающ и человечен! Кроме него же совершенно же не за что уху зацепиться — эти пошлые романсы! «Бе-е-елой акации гроздь душистые-е-е» — проблеяла она, скорчив брезгливую гримаску. — Фу, мерзость. И это — «Блоха! Ха-ха!» — тоже гадость... Но проходите же и послушайте! Я вам сейчас ещё сыграю, эту разучила давно. — И она действительно уверенно сыграла «Ваши пальцы пахнут ладаном» того же Вертинского, а я сидел на уютном диванчике, смотрел мимо нее и понял, что ой, попал. И дело не в том, что девушка мила и очаровательна — а она, действительно, и то, и другое. Нет. Просто на стене висела ОНА. Гитара. О семи струнах, понятно, но кака мне разница? И вот на гитару я так засмотрелся, что едва не прохлопал момент, когда песня кончилась

— Bravo, Надя. Повторюсь, но вы чудесно играете и поёте.

— Благодарю вас, — чуть покраснев, ответила она. — А вы какую музыку играете? Покажете?

— Отчего б не показать. Но скажите, можно ли воспользоваться вашей гитарой?

— Конечно, можно. Только на ней редко кто играет, и она давно расстроена.

— Ну, если беда только в этом, то её-то мы поправим быстро. — Я снял гитару со стены и бегло осмотрел. Вроде, все нормально, играть можно. — Надя, будьте так любезны, возьмите ноту «ми» второй октавы...

Джимми, Джонни — мужики, кайф-то какой! Ааааа! Всё во мне запело, едва я взял первые аккорды. Пару минут просто играл, наслаждаясь каждой нотой, пока не спохватился, что гостеприимная хозяйка, наверное, ожидает от меня песню. Сейчас всё будет! — и в ритме блюза я заиграл всё того же Александра Николаевича:

Где вы теперь? Кто вам целует пальцы?

Куда ушёл ваш китайчонок Ли?

Вы, кажется, потом любили португальца,

А, может быть, с малайцем вы ушли?

Я помню, вы тогда на съёмочной площадке

В конце такого непростого дня

Прилюдно подарили мне свою перчатку,

И тем сгубили навсегда меня.

За вами плёлся я чуть зримой тенью,

Мечтая вымолить хоть капельку любви.

Смеялись вы тогда, и скоро Провиденью

Угодно стало, чтоб исчезли вы.

В последний раз я видел вас так близко —

В пролёты улиц вас умчал авто.

Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско

Лиловый негр вам подаёт манто... [3]

— Божечки, какая прелесть! — захлопала Надя в ладошки. — И играете вы так необычно, но очень завораживающе. Но откуда взялись еще два куплета?

— Очень просто. Сидели мы как-то с моим добрым другом, пели эту песню и сожалели, что она коротка и не видно страданий героя. Решили исправить. Мой друг в полчаса сочинил два куплета, и песня стала слегка поподробнее. — Между прочим, я сказал Наде чистую правду. Умолчав, единственно, о том, что всё это происходило сто лет тому вперёд.

— Изумительно, — покачала головой девушка. — А ещё? Прошу вас, играйте же ещё!

И я сыграл ещё. «Полонез» Чижа вызвал бурный восторг, «Город золотой» Надин забрала, вынеся вердикт, что гнилой поповщиной отдаёт. А вот «Снаружи всех измерений» Летова возымела нешуточный успех, и пришлось рассказывать, что это мой знакомый футурист из Омска. Под занавес рискнул сыграть сочиненную с тем же другом песню:

Эй, подруга, не дури! Мы же съели центнер соли,

и шептали "раз, два, три", вальс танцуя ночью в поле...

Ты, давай, не уходи: всё равно твой путь по кругу,

и магнитом, что в груди, нас опять прижмёт друг к другу...

Эй, родная, чёрт возьми, мы с тобой — одна монета.

Наша песня, ты пойми, до конца еще не спета.

Я заполню всю Москву шалашами и мостами,

и насыплю вновь листву, чтоб шуршала под ногами...

Мы с тобой — как два крыла высоко летящей птицы.

Мы — та сказка, что могла даже Гофману присниться.

Я узнал тебя тогда не по модным по обновам,

а по маленьким шагам в такт чуть слышной босса-новы... [4]

— А что такое «босса-нова»? — спросила Надя.

— Стиль такой музыкальный, в Бразилии появился, — тут же ответил я, опять забыв уточнить, что возникнет он только через полвека.

— Как же это всё свежо! Как же это всё прекрасно! А вы же напишете мне ноты, правда же?

— Обязательно напишу. Но в награду потребую... — я сделал драматическую паузу, но, видимо, в моём взгляде что-то такое распутинское было: на лице Нади стали появляться тени нехороших мыслей. — ...потребую чашку чаю!

— Ох, простите меня, ради Бога, — схватилась Надя за голову. — Совершенно забыла об элементарном гостеприимстве!

— Не беда. Давайте нотную бумагу и карандаш, я вам основу песен накидаю и тексты, а остальную аранжировку для пианино сделаете уже сама. Вы умница, у вас непременно получится хорошо.

На самом деле, я бы предпочел, чтобы она заваривала чай бесконечно долго — мне требовалось успокоиться. Очень милая, совершенно очаровательная девушка затронула

какие-то пресловутые струны в моей душе, а в распутинском организме вызвала натуральный гормональный шторм. А Надя, как назло, строила мне глазки и улыбалась загадочно и томно... Поэтому, чтобы унять многогрешные помыслы и железобетонный стояк в штанах, я сосредоточился на нотах и расписал партитуры максимально подробно.

Я собой доволен: не сорвался, хотя с каждой минутой чудная девушка Надя волновала меня всё сильнее. Но справился. Мы славно выпили чаю с печеньем «Юбилейное» (оказывается, его уж три года как выпускают, как раз с юбилея царствующего Дома), потом я сыграл Наде «Жил-да был Черный кот за углом», «Где-то на белом свете» — и ожидаемо был принужден записывать ноты... Короче, прошло еще добрых два часа, прежде чем мне удалось откланяться.

Главным чудом этого бесконечного дня стало то, что керосин я всё же не забыл раздобыть. Что интересно, со слов бабушки я помнил, что от клопов он помогает отменно, но как именно его использовать — никогда не знал за ненадобностью. У Нади спросить постеснялся, само собой. Логически помыслив, натёр всё тело керосином, и, безжалостно благоухая, лёг спать.

[1] Песня «Mrs. Robinson» группы Simon & Garfunkel

[2] Песня «Кокаинетка» Александра Вертинского, 1916

[3] «Лиловый негр». 1 и 4 куплеты — Александр Вертинский, 2 и 3 — авторская фантазия.

[4] Песня «Романс» группы «Большой Ногами». Автор текста — Д. Сорокин. Здесь текст искажен в угоду реалиям романа: автор счёл, что выражение «до хрена» — всё же перебор даже для увлекающейся Вертинским барышни.

Глава 5. Юсупов-блюз

После нечаянного знакомства Надя засиделась за полночь: пока не подобрала и не выучила все-все песни, что любезно оставил ей этот в высшей степени таинственный господин Коровьев, девушка не ложилась. И ожидаемо проспала все на свете: приехавшие из Куоккалы, где который год снимали дачу, родители разбудили засоню.

— С днем рождения, Надюша! — обняла ее мама.

— Ой, мамочка... Смешно сказать, я совсем забыла об этом! Здравствуй, родная моя! Спасибо! Ох, вечером же гости придут, а у меня ничего не готово!

В это же самое время зрелый, но далеко не старый ещё мужчина, которому выпало проходить по Гороховой третьего дня и услышать престранные частушки, которые под балалайку исполнял «святой старец» Гришка Распутин, сидел в комнате доходного дома Пестржецкого на Тверской и в который раз пытался воссоздать необычную ритмику случайно услышанной песни. С ним все эти дни происходило творческое томление: незамысловатые, грубые слова частушек внезапно пленили его своею простотой, и все то возвышенное и местами даже напыщенное, что писал он прежде, казалось ему теперь шелухой, не заслуживающей вовсе ничего. Звали мученика слова Вадим Гарднер. Через месяц ему предстояло надолго уехать в Англию по служебным делам, и теперь представлялось исключительно важным успеть за оставшееся время найти и освоить новый поэтический язык. А язык давался тяжело: ни Вечности, ни Сиянию Духа, ни древним славянским богам в нем, определенно, места не было. Но, кажется, наконец что-то начало получаться. Стоило только вспомнить печальную песню, которую отец-американец пел ему в детстве. Он помнил ее смутно, пару-тройку слов и общее настроение. Но дело уверенно пошло.

*Гадала цыганка мне раз по руке —
С тех пор пронеслось много лет —
Сказала: «Пройдёшь ты всю жизнь налегке,
А сгинешь там, где рассвет.
С ножом и «бульдогом» дальше
Я шёл, и бывал жесток.
И деньги текли сквозь пальцы,
И я не глядел на восток.
Но сколько веревке ни виться —
Отыщут конец и во тьме.
И вот арестован я и осужден
И дни коротаю в тюрьме.
Будь проклята, ведьма, вовеки:
Судьба! И спасения нет —
На здани старом тюремном
С торца нарисован рассвет...*

Обязательно надо показать кому-нибудь. Может, Чуковскому? Говорят, он ныне в Петрограде...

Из воспоминаний князя Феликса Юсупова

Накануне среди дня встретил я депутата Думы Владимира Пуришкевича, и был он весьма не в себе. Я позволил поинтересоваться, что послужило причиной такого нервного состояния, и поначалу Владимир Митрофанович выдал одно-единственное слово: «Распутин». Да, этот кошмар России способен вывести из себя кого угодно. За годы отирания у престола он совершенно развалил государственное управление, а в последние месяцы к тому шло, что под влиянием этого дремучего чудовища Отечество будет сдано тевтону.

В этом 1916 году, когда дела на фронте шли все хуже, а царь слабел от наркотических зелий, которыми ежедневно опаивали его по наущенью Распутина, «старец» стал всемогущим. Мало того, что назначал и увольнял он министров и генералов, помыкал епископами и архиепископами, он вознамерился низложить государя, посадить на трон больного наследника, объявить императрицу регентшей и заключить сепаратный мир с Германией.

Надежд открыть глаза государям не осталось. Как в таком случае избавить Россию от злого ее гения? Тем же вопросом, что и я, задавались великий князь Дмитрий и думский депутат Пуришкевич. Не сговариваясь еще, каждый в одиночку, пришли мы к единому заключению: Распутина необходимо убрать, пусть даже ценой убийства[1].

— Что еще натворил этот мерзавец? — спросил я.

— Распутина больше нет, — ответил мне Владимир Митрофанович. — И нужно срочно спасать всё, что ещё можно спасти. Но, Господи, как?!

Пуришкевичу удалось заинтриговать меня. На Мойке я в ту пору не жил, квартировал у тестя, в.к. Александра Михайловича, но такие разговоры, от беды, лучше бы вести с глазу на глаз, и, заручившись согласием Пуришкевича, я тотчас повёз его к себе. Как ни любопытно было мне, дорогою мы о Распутине не говорили.

Но вот приехали. Вокруг дворца бродил ещё более потерянный, чем Пуришкевич, юный Набоков с сачком в руках. Бабочек он при этом отнюдь не ловил, но напряжённо думал о чём-то. Впрочем, насколько я знал, юноша был влюблён и сочинял по этому поводу дурные стихи — возможно, его как раз посетила муза. И вот мы с Пуришкевичем уединились у меня в кабинете.

— Владимир Митрофанович, рассказывайте, — попросил я. — Куда делся Распутин? Его наконец убили?

<...>

— ...Распутин, конечно, зверь хитрый. Но поймите, ваше сиятельство, никакой хитростью не объяснить всё, чему я был свидетель! И гипноз его, насколько нам с вами известно, совершенно иного свойства. Кто бы это ни был, что бы это ни было, но нет больше того мерзкого спрута! И надо срочно думать, как теперь спасти Империю, — закончил свой рассказ Пуришкевич.

Изложенная им фантазмагория в духе упомянутого Доджсона-Кэрролла, в голове уместиться не желала.

— Я знаю вас, как человека чести, Владимир Митрофанович, — сказал я. — И потому не могу поставить ваши слова под сомнения. Но, простите меня, и поверить в сказанное вами никак не могу.

— Прекрасно вас понимаю, Феликс Феликсович. И уповаю на то, что рано или поздно он зайвится к вам и споёт этот самый свой блюз.

— Но почему он бежал с Гороховой?

— Он от немки бежал, сдаётся мне. И от всего того, что наворотил. Я ночь не спал,

много думал, и вот как я себе это представляю. Позвольте реконструкцию, князь?

— Извольте, — кивнул я.

— Представьте себе, что просыпаетесь вы поутру в совершенно незнакомом месте и, как оказывается чуть позже, в чужом теле. Мысли — ваши, чувства, воспоминания — всё ваше, а вот тело — нет.

— Это, простите, как?

— Божьим попущением, — пожал плечами Пуришкевич. — Так вот. И в самом скором времени выясняется, что тело ваше принадлежит жуткому убийце, навроде приснопамятного «Джека-потрошителя» из Лондона. От самого этого Джека, кроме тела, ничего не осталось, напомню. Ни помыслов, ни эмоций, ни воспоминаний — одна только голая оболочка. Но отряду полиции осталось пять минут до вашего дома, а там — тюрьма, суд и веревка. Вот как-то так я вижу эту ситуацию.

— Занятно... Но доказуемо ли? И вот ещё что интригует: почему он упомянул меня в своей песне? Мне его представили семь лет назад, и с тех пор лично мы не встречались.

— Да вот как раз поэтому, — усмехнулся Владимир Митрофанович. — Тот, кто сидит в этом теле, представьте себе, знает, что убить его должны князь Юсупов и Пуришкевич. И, держу пари, даже знает, когда именно.

— Хватит меня мистифицировать! — взорвался я.

Пуришкевич как-то очень грустно на меня посмотрел и тихо произнёс:

— Ежели ваше сиятельство полагает себя оскорблённым, то я, как дворянин Российской Империи, всецело к вашим услугам.

До дуэли, однако же, не дошло, и я принес извинения за вспышку. Мы проговорили и проспорили весь вечер напролёт, и выпили при том немало, мешая кларет с арманьяком и столовое вино № 21 с бенедиктином. Пуришкевич заночевал у меня, а перед сном я предпринял кое-какие действия, и удача была на нашей стороне: уже утром доставили самого Распутина, которого второй день никак не могли найти ни полиция, ни люди императрицы. Мы к тому часу успели привести себя в надлежащий вид и плотно позавтракать.

Сегодня я изъясняюсь исключительно прозой, причем, по большей части, непечатной: от проклятого керосина я сам едва дуба не врезал. Голова тяжеленная, болит. Мысли в ней ворочаются едва. Но есть и хорошая новость: клопы, похоже, из филиала нефтебазы, в который превратилась моя комнатуха, благополучно эмигрировали в полном составе. Оставив открытым окно, я, прихватив с собой запасную одежду, отправился на поиски бани: вонять керосином — не мой стиль. Собственно, что её искать-то? Чуковского вчера как раз били неподалеку от здания с вывеской «Бани». Это не слишком далеко отсюда, с них и начну. Сейчас и девяти нет, вот интересно: когда бани открываются? Впрочем, практика — критерий истины, да и дышать здесь нечем, несмотря на открытое окно. На воздух! На воздух!

На воздухе и впрямь стремительно полегчало, так что к вожделенным баням я летел, будто на крыльях. И там, вроде бы, даже открыто. Но, едва взялся за дверную ручку, как меня неминуемо догнал блюз. Или вы полагаете, что плестись спозаранок невесть куда вслед за городовым, при этом со связанными руками, кляпом во рту и мешком на голове — это не блюз?! Ах, просто плохая примета? Ну, ладно, расскажите мне тогда о настоящем блюзе!

Спеленал меня все тот же служитель порядка, которого я вчера прилюдно лобызал у

Исаакия. Даже после моего искромётного выступления он, похоже, безошибочно вычислил во мне Распутина, хотя едва ли был знаком с оригиналом. Однако притащил он меня отнюдь не в околоток, а в какой-то дворец. И, исходя из того, что шли мы совсем недолго, кажется, догадываюсь, чей же это чертог.

В гостиной, куда меня сопровождал щеголевато выглядевший дворецкий, меня ждал довольно молодой мужчина столь аристократичного облика, что сразу стало понятно, кого выбрал образцом для подражания пионер-миллионер Володя Набоков. Юсупов сделал возмущенный жест, и дворецкий сноровисто освободил меня от пут и кляпа.

— Доброе утро, ваше сиятельство, — разминая затекшие руки, — проявил неуместную вежливость я. — Чему обязан столь ковбойским приглашением в гости?

Чёрт, да что ж они все в осадок-то выпадают при виде меня? Вот и Юсупов тоже... Положение спас ещё один гость князя, и вот уж его-то я знал: чай, коньяк вместе пили на Гороховой.

— Здравствуйте, — Григорий Ефимович, — из дальнего угла зала к нам подошёл Пуришкевич. — Каюсь, рассказал о вас Феликсу Феликсовичу, и мы второй день с ним пытаемся придумать, как спасти Империю, имея в виду исчезновение вашего влияния при дворе. Но, видит Бог, я не предполагал, что вас позовут к нам присоединиться, да ещё так жёстко.

— И вам доброе утро, любезнейший Владимир Митрофанович. Мне казалось, я довольно недвусмысленно объяснил вам, милостивый государь, что не собираюсь более создавать государству российскому ни малейших проблем. Хотя, конечно, тешить себя иллюзиями, что меня не настигнет вполне справедливое возмездие за все кунштюки незабвенного «старца Григория» было бы с моей стороны чрезмерно наивно...

— Who are you then?! — резко спросил князь.

— I am part of that power which eternally wills evil and eternally works good[2], - ответил я быстрее, чем успел подумать. Спасибо всё той же филологической подруге, с которой мы пытались переводить Булгакова на английский. Эпиграф, правда, потырили из сети в готовом виде, но я запомнил. Вообще, память начинает пугать: похоже, я в любой момент могу вспомнить всё, что когда-либо попадало в мою голову.

— Твою мать! — вскричал князь Юсупов, шваркнул со всей дури хрустальный бокал об пол и упал в кресло. — Это решительно невозможно!

— Наука умеет много гитик, а у Господа Бога за пазухой — пригоршня чудес. И всё это совершенно непостижимо для нас, так что стоит ли рассуждать о невозможном, ваше сиятельство?

— Может, вы теперь ещё и стихи слагаете? — ядовито поинтересовался князь.

Я покачал головой:

— Я не люблю стихов, и не пишу их. Да и к чему слова, когда на небе звёзды?[3] Нет, драгоценный Феликс Феликсович, я слагаю не стихи, но песни. Как правило, на чужие стихи. Ибо сам литературного дара практически лишён. Но полноте устраивать драматические сцены. Рискну предположить, ваше сиятельство, что вы не просто так меня похитили от банных дверей? Задавайте свои вопросы, а я попытаюсь на них ответить, но молю чисто по-человечески: давайте поскорее, господа, а? Мне невыносимо надоело вонять керосином, а на два пополудни назначено рандеву с литератором Чуковским.

— Кстати, Григорий Ефимович, а что такое с вами приключилось, что вы пахнете керосином? — встрял Пуришкевич.

— Видите ли, Владимир Митрофанович... Комната, которую удалось снять на Крюковом канале, вполне отвечает моим скромным потребностям. Но вот беда: клопы заедают немилосердно! Никогда прежде не имел дела с этими бестиями, верите ли — всего изгрызли! Когда-то очень давно моя бабушка подсказала, что от клопов надёжнейшее средство — керосин. Но она не сооблаговолила пояснить, как именно его нужно применять. В итоге вчера перед сном я обильно натёрся керосином, и, когда бы не запах, был бы полностью доволен: клопы меня более не беспокоили. Но теперь мне срочно необходимо помыться.

В комнате повисла немая сцена. Князь Юсупов, не теряя, впрочем, аристократичности, походил на вытасченного из пруда карпа — такое изумление было написано на его лице. В глазах Пуришкевича, впрочем, плясали смешинки — но хорош он был, когда я ему про Кэррола намедни завернул! И тут Юсупов заржал высоким голосом, Пуришкевич немедленно к нему присоединился.

— Сударь, я понятия не имею, кто вы такой, но вы, безусловно, правы — вымыться вам совершенно необходимо. Моя ванная в вашем распоряжении, но после мы обязательно продолжим беседу, — и позвонил в колокольчик.

Немедленно явился все тот же дворецкий, Юсупов распорядился, и этот хлыщ повёл меня мыться.

Из воспоминаний князя Феликса Юсупова

Пожалуй, удалить Распутина из комнаты явилось со всех сторон верным решением: нам нужно было обсудить необъяснимое перерождение «старца» с учетом уже моих впечатлений, проветрить гостиную, ну и человеку помыться нужно — мучить и его, и нас я пока поводов не видел.

— Ну те-с, и как вам нынешний Гришка Распутин? — с некоторой ехидцей спросил Пуришкевич.

— Это невероятно! Просто в голове не укладывается, — честно ответил я. — Можно научиться менять манеры, выучить текст реплик — актёры живут этим, но так! Молниеносно ответить цитатой из Гёте, да ещё на английском! Просто невероятно. А этот бред с керосином? Бабушка ему подсказала! В глухой сибирской деревне лет сорок назад? Сколько ему лет, под пятьдесят?

— Да, около того.

— Да дело даже не в керосине. Клопы ему незнакомы, что окончательно выходит за мои представления о возможном. Простите за интимное, но от клопов не избавлен никто — ни мастеровой, ни архиерей, ни я, многогрешный, ни Государь Император. А у него — спешите видеть! — внезапная бытовая трагедия, а как с нею справляться — смутные воспоминания от той же бабушки. Одна эта сценка наводит на мысль, что ваша реконструкция верна, дорогой Владимир Митрофанович, и я прошу простить меня за скептицизм и еще раз за вспыльчивость.

— Это всё так, — вздохнул Пуришкевич, — но к главному ответу мы пока не приблизились.

Тут в гостиную вошла матушка.

— Доброе утро, господа. Невольно слышала последнюю реплику Владимира Митрофановича. О каком ответе речь? И чем у вас так ужасно пахнет?

Я рассказал ей удивительную историю Распутина. Владимир Митрофанович дополнял мою повесть.

— Вынуждена признать, звучит куда более фантастично, чем даже романы мсье Верна, которыми я зачитывалась в юности.

— Поверьте, матушка, выглядит ещё более... Но вот и он.

В гостиную вошёл чистый, гладко выбритый Распутин в новом костюме — прежний я распорядился немедля отдать в стирку.

— Здравствуйте, Ваше сиятельство, — поклонился он матушке.

— Здравствуйте, милостивый государь. Наслышана о вашем перерождении. И как прикажете вас теперь называть?

— Благодарю, ваше сиятельство. Вы верно угадали: само сродство с Распутиным крайне неприятно мне. Соболаговолите называть меня Коровьевым. Григорий Павлович Коровьев, к вашим услугам.

— Но почему Коровьев?! — не выдержал Пуришкевич.

— Вчера, избавив литератора Чуковского от общения с какими-то босяками, я на ходу придумал это имя. Представляться Распутиным было опрометчиво. Звучит не очень благозвучно, согласен, но теперь едва ли стоит плодить лишние сущности, да и представляться отпрыском известных фамилий было бы опасно, мне еще обвинений в самозванстве не хватало.

— Вы вежливо и местами выпендренно говорите, Григорий... Павлович, — заметила матушка. — Но у меня сложилось впечатление, что, несмотря на вашу несомненную образованность, эта манера несвойственна вам. Я права?

— Отчасти. Хотя в былой жизни я чаще всего изъяснялся куда проще, тут всё верно, но мы с друзьями, чтобы не потонуть в этих потоках жаргона и мата, время от времени заставляли себя разговаривать красивым дореволюционным языком — со всеми этими милостивыми государями и прочими «чего изволите».

— Кто вы по ремеслу? — резко сменила тему княгиня.

— Музыкант, ваше сиятельство.

— Пожалуйте к роялю.

— Могу, но, ваше сиятельство, если сыщется гитара, получится убедительнее, — возразил Распутин.

— Феликсон, нам нужна гитара, — приказала матушка.

Мне оставалось позвонить в колокольчик и отдать соответствующее распоряжение. Пока несли инструмент, мучения Распутина продолжались.

— Прошу вас, скажите несколько фраз в той манере, которая вам более привычна.

— Что именно нужно сказать? — уточнил Распутин... То есть, наверное, всё-таки, Коровьев.

— Что угодно, сударь. Например, каким вы видите начало вашей истории?

— Эмм... Хм... Один момент. За три дня совершенно отвык... Короче, ща. Шёл я полночь с репы по Малой Ордынке. Дождь, слякоть. Гитара в чехле за спиной. В одной руке батл пивчанского, в другой сигарета. И тут, как в дешёвом анекдоте, какой-то хрен роняет с крыши мне на голову кирпич. В полночь. В ноябре. Под дождём, ага. Черепундель всмятку. А я прямиком на небеса. Ну, перетер там с господом богом, он меня сюда прямиком и направил — аккурат в тушку Гришки Распутина, чтоб ему на том свете икалось...

— Довольно, благодарю вас. — Матушкиному хладнокровию могла позавидовать любая статуя в Летнем саду. Я же, услышав, вроде, русскую, но совершенно чуждую речь, отчего-то

разволновался. Пуришкевич, смотрю, тоже. И я ещё порадовался, что батюшка мой сейчас в Крыму. — Вот и гитара, — продолжила матушка. — Сыграйте же нам, Григорий Павлович. И оставьте титулование, пожалуй. Меня зовут Зинаида Николаевна.

— Сей секунд, Зинаида Николаевна, — сказал наш гость, беря в руки гитару и настраивая ее на слух. — Музыка, которую я предпочитаю, называется «блюз». Изобрели её, простите, американские негры, но, поверьте, это её не портит. Если вкратце, то блюз — это когда хорошему человеку плохо. Не знаю, хорошие ли люди американские негры, но вот в «плохо» они понимают ничуть не меньше русских мужиков...

Обнаружив в комнате потрясающе красивую женщину своих примерно лет, не испытал ни малейшего сомнения в том, кто она — княгиня Юсупова, кто ж ещё? Почтенная родительница сидящего передо мной неврастеника... Отголоски ее славы продрались через коммунистический век и как-то осели в дебрях моей памяти. Но что бы такое ей спеть? А, ну да. Только не совсем ей, а как раз миляге Феликсу — песня-то про него. Если уж раскрываться, то по полной, и впечатлю-ка я этого балбеса по самые помидоры — ибо нефиг честных людей винтить посреди улицы, да еще вонючие тряпки в рот пихать.

— Эту песню мы сочинили вместе с моим другом, который, к сожалению, остался недосыгаемо далеко. Она называется «Юсупов-блюз». — И начал в соль миноре.

*Тучи, стелитесь пониже,
Лейте же во всю мощь —
В городе клятом Париже
Необходим этот дождь —
Дождь над Монмртром и Лувром,
Нотр Дам, Пляс Пигаль, Кэ д'Орсэ —
Он так же идет этим утром
В средней родной полосе.
Там над Архангельским тучи
Моют дождем старый парк.
Моют и крымские кручи,
Так всё. Да только не так —
В городе клятом Париже
Трудами смываем грехи.
Тучи, стелитесь пониже —
Таксистам нужны седоки [4] .*

— И при чём тут, позвольте поинтересоваться, я? — недоуменно спросил Юсупов.

— Всё очень просто, — пожал я плечами. — Когда одуревшие от крови и безнаказанности «революционные массы» швырнут Россию в пропасть, вашему семейству, насколько помню, посчастливится уцелеть. Но хлеб свой придется зарабатывать в полном соответствии с заветами Создателя, то есть в поте лица. Вам и вашему тестю уготовано быть парижскими таксистами[5].

Следующие два часа я, отвечая на вопросы княгини, читал лекцию по истории России в XX веке. К Чуковскому меня всё же отпустили, но под честное слово вечером вернуться с вещами и вообще съехать из клоповника на Крюковом. Вообще, приятно иметь дело с аристократами: никто не заламывает рук, не изводит пять пачек папирос за час и не пытается объять необъятное. Условились, что они обсудят услышанное и сформулируют

новые вопросы, а я под их ненавязчивым присмотром продолжу заниматься любимым делом, то есть музыкой.

Сразу скажу, саммит с Корнеем Ивановичем прошел достаточно быстро, с толком и чувством: договорились мы с ним, что через три дня я дам небольшой закрытый концерт в саду у князя Феликса, а Чуковский придет лично и постарается прихватить с собой нескольких свободно мыслящих деятелей богемы, кого удастся найти. Расставшись с певцом крокодилов и тараканов, решил наудачу навестить Надю. И попал на вечеринку.

Из дневника депутата Государственной думы В.М. Пуришкевича

Тезисы разговора с Г. В Юсуповском дворце:

— Республиканство и либерализм для России не смертельны, но крайне пагубны. В какие «демократические» рамки страну ни загоняй, она все равно будет стремиться стать империей, потому как это ее естественное состояние. Экспериментировать, конечно, можно, но цена очень высока — миллионы жизней и огромная прореха в демографии.

— Оптимальная организация государства — максимально жесткая центральная власть, желательно, персонифицированная. По-другому пробовали, выходит плохо.

— Исходя из двух предыдущих тезисов, Россия обречена на монархию. Желательно, абсолютную (самодержавную).

— Дом Романовых полностью себя дискредитировал и выродился, при стремлении сохранить Империю необходима смена Династии.

— Воровство и кумовство чиновников непобедимо, ибо является частью человеческой природы. Можно лишь, сколько возможно, обуздать эти низменные стремления, для чего весь аппарат необходимо держать в животном страхе, что без сильной центральной власти возможным не представляется.

В завершении беседы Г. сказал нам:

«Ежели вы сумеете найти нелукавые ответы на эти вопросы — кто, как и с чьей помощью сожмёт расплзающуюся Империю в кулак, — тогда шансы, возможно, есть. В противном случае я бы рекомендовал вам паковать всё, нажитое непосильным трудом, и немедленно бежать в САСШ или Аргентину, пока не началось. Лично у меня этих ответов нет — историю переписывали несколько раз, да и учил я ее спустя рукава. Я — музыкант, не более того».

Итак, вопросов стало еще больше, но хотя бы ясно, в каком направлении думать...

[1] Два абзаца взяты из подлинных мемуаров князя Юсупова.

[2] Так кто ж ты, наконец? — Часть силы той, что вечно хочет зла и вечно совершает благо (англ). И-В. Гёте, «Фауст». Эта фраза — эпиграф к роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита».

[3] Цитата из романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота». Авторская шалость: ГГ все же так себе читатель.

[4] Текст написан автором в 1988 году для школьного спектакля.

[5] Древний, но очень живучий миф советской пропаганды. Разумеется, ни князь Юсупов, ни его тесть Сандро Романов баранку по латинскому кварталу не накручивали — им вполне хватило тех денег, что удалось, убегая, прихватить с собой. Без лишнего шика, конечно, но и не бедствовали князья. Юсуповы так даже благотворительностью занимались, пока Сандро оттягивался в САСШ.

Глава 6. Изысканный жираф и бразильский крейсер

Но, надо сказать, до Нади добрался я далеко не сразу, хотя от Итальянской пошёл прямо к ней по набережной Екатерининского канала. Меня никто не приглашал, но хотелось верить, что и не погонят. Только цветов по пути купить надо — как правило хорошего тона. Хотя кто их тут сто лет назад разберёт — вдруг подумает, что я ей предложение делаю? А, была не была.

Я успешно пересек Невский, потом и Гороховую, будь она неладна. Но, едва я удалился от нее метров на полтора, как из арки ничем не примечательного доходного дома выскочили двое, схватили меня и утащили в эту подворотню, где прижали к стене и продемонстрировали два ножа. Всё это случилось настолько стремительно, что, каюсь, даже подумать о сопротивлении не успел, не то, чтобы его оказать. Тут же, поигрывая опять-таки ножом, подошёл третий и сказал речь. От языка, на котором изъяснялся этот ярчайший представитель питерского преступного мира, до тех времен, когда я прожил свои 47 с хвостиком лет, дошла едва десятая часть, но интуитивно я его понял, и, хоть не сразу, но догадался, что причиной нашей встречи послужило вчерашнее избиение Корнея Ивановича на Мойке.

Итак, мне вменялось неуважение к представителям славной воровской профессии. При этом нанесение им телесных повреждений не осуждалось, а вот то, что они после этого оказались в полиции с мизерными шансами выбраться оттуда куда-либо, кроме каторги, бандитский спикер счёл весьма предосудительным. И, значит, в наказание за это я сейчас буду лишён жизни и имущества.

Как это ни странно, но в последние секунды жизни я с досадой подумал: «До чего ж меня легко вычислить! Просто удивительно, как до сих пор до «святого старца» не добралась полиция и люди императрицы». Тут же выяснилось, что какое-то количество секунд в моей жизни ещё будет: оглушительно прозвучали три выстрела, и бандиты осели наземь.

— Контрольный в голову, — прохрипел я. — А то кто их знает.

— Пожалуй, вы правы, сударь, — пожал плечами незнакомый офицер и произвел еще три выстрела. — Вы целы? Я, к счастью, видел, как они затащили вас сюда и поспешил на помощь.

Тут он всмотрелся в меня, лицо его искривилось от отвращения, он вскинул револьвер и обнаружил, что тот напрочь разряжен.

— Ну и мразь же вы, Распутин, — вздохнул офицер, более не интересуясь целостностью моего организма.

Выглядел мой спаситель, как типичный белогвардеец из старых фильмов. Несмотря на скромные погоны — то ли поручика, то ли еще младше, если там есть куда, — чувствовались в нем достоинство и порода, и даже весьма неприятное, невзрачное, рыбье какое-то лицо не портило этой картины. Впрочем, чья бы корова мычала — моя рожа тоже не тянула на голливудский стандарт.

— Не желаете ли закурить? — достал я портсигар. Офицер на меня посмотрел странно, но от папиросы не отказался. Закурили. — Не стану спрашивать вас, сударь, чем конкретно вас достал Распутин, так как у немалого количества думающих жителей нашей несчастной страны претензии к нему примерно одни и те же. Но, может, хоть представитесь, пока

будете заряжать свой наган? Чтобы знать, от чьей руки вновь отправлюсь черным тоннелем в чертоги великих музыкантов...

Он на меня посмотрел еще более заинтересованно. И совсем уж собрался было представиться, но тут нас накрыла прибежавшая на выстрелы полиция.

— Городовой Адмиралтейской части Сметанников. Что тут у нас? Кто стрелял? Ба! Знакомые всё лица! Штрумф, Рябой и Спиноза, настоящих фамилий не помню. Живы?

— Надеюсь, что нет. Упомянутые вами господа пытались зарезать вот этого господина, — кивнул офицер в мою сторону. — Я успел прийти на помощь. Их было много, поэтому пришлось делать по два выстрела, чтобы избежать беды.

— Охотно верю, ваше благородие, — согласился городской. Он внимательно осмотрел место происшествия, после чего убедился, что все бандиты мертвы. — Ну, здесь, конечно, дело ясное. Самозащита от вооруженного нападения, всё видно. И, честно скажу, ваше благородие, спасибо вам преогромное за избавление нашего околотка от этих душегубов, давно их знаем, но, шельмы, следов не оставляли, ущучить никак не получалось. А вот все ваши адреса мне записать придется, да, и протокол потом честь по чести оформить, да и у господина следователя вопросы могут возникнуть. Служба-с, понимаете. — И, достав блокнот с карандашом, он обратился ко мне. — Начнём с вас, господин потерпевший. Имя, фамилия, адрес?

— Коровьев Григорий Павлович, одна тысяча восемьсот шестьдесят девятого года рождения. Мещанин Тамбовской губернии. В Петрограде недавно, проживаю в съемной комнате на Крюковом канале, — я назвал адрес и изложил обстоятельства происшествия. — Когда б не господин офицер, ручаюсь, расстался бы с жизнью. На разговоры у него времени не было, решали малые доли секунды.

— Благодарю, Григорий Павлович, всё записал, — ответил городской. — Теперь с вами, ваше благородие.

— Пятого гусарского Александрийского полка прапорщик Гумилёв, Николай Степанович. В Петербурге нахожусь проездом с фронта в Николаевское училище, где буду держать экзамен на чин корнета, вот предписание. Постоянно проживаю в Царском Селе, в Петербурге же квартирую на Литейном, в тридцать первом доме, квартира четырнадцать.

Нет, мне вот очень интересно: а каких-нибудь простых людей я тут встречать буду? То, что Гумилев — очень мощный поэт, я знал. Если покопаться в памяти, может, даже что-то из его текстов вспомню. А пока я пытался вспомнить хоть пару строк, поэт-гусар, но не Денис Давыдов, в двух словах повторил историю своего подвига.

Потом прибыли еще полицейские, нас с Гумилевым сопровождали в участок, откуда, после того, как мы изучили и подписали составленный в мозговыносящих фразах протокол, отпустили с миром. Меня потрясли ровно две вещи: никто не потребовал с меня никаких документов, и никто не узнал во мне Распутина, хотя приставучий, как репей, городской Парамонов, если не путаю, как раз отсюда.

— У меня изрядная память на лица, — сообщил Гумилёв, когда мы вышли на улицу. — И я стопроцентно уверен в том, что никакой вы не Коровьев, а как раз Распутин, хотя, конечно, образ поменяли радикально. Не желаете ли объясниться?

— Что вам сказать, Николай Степанович... Я попробую ответить на вопрос и, клянусь, максимально честно. Но сперва скажите, вот это:

*Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,*

Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,

Что такое темный ужас начинателя игры!

Не ваши ли стихи?

Он посмотрел на меня совсем уже оторопело.

— Мои...

— Поздравляю, вы — большой поэт.

— Спасибо, я знаю, — ответил Гумилев. — Но не выпить ли нам под такие разговоры?

Не нашел причин отказать своему спасителю, и мы отменно посидели в кафе за коньяком и кофе. Я рассказал ему свою историю под честное слово, что он не станет пересказывать ее, и пригласил на концерт к Юсупову. Настала пора прощаться. Вышли из кафе и уже пожимали руки, когда прямо перед нами остановилась коляска и из нее выскочила дорого одетая барышня в шляпке с вуалью.

— Старец Григорий! Вот вы где! А мы вас совсем потеряли! Что же вы бросили чад своих? Третий день как пропали, а слухи о вас ходят самые удивительные...

Да что ж за день-то, мать вашу!

— I'm sorry, miss. It seems you've made a mistake and I'm the wrong one. I'm sorry about the misunderstanding and that I unwittingly disappointed you[1], - произнес я, виновато улыбаясь и участливо глядя барышне в глаза.

— Ох, простите... I am very sorry mister, I was wrong![2] — пунцовая девушка сделала книксен, пулей влетела в коляску и покинула нас.

— В удивительные времена живём, — покачал головой Гумилёв. — Честь имею.

Николай Гумилёв, «Старик-обманщик»

За резным дворцом, в сосновой чаще,

Где ручей прохладою искрится,

Долго песни пел старик-обманщик

Жадной до чудесного девице.

И слова скакали в пляске кукол,

Вырвавшись от уст сего пророка.

Жемчугами снов её баюкал,

Норовя цветок сорвать до срока.

И поляне становилось горше,

И росли от врак и разговоров

Вместо роз колючки-расторопши,

И вставали рати мухоморов.

Но сверкнула молния. Другая,

Прогревели громы, как фанфары,

И упал обманщик, завывая,

И издох. И расточились чары.

А чудес избежать не случилось,

И из тела старца, чуть с улыбкой,

Вышел юноша — явили боги милость! —

Поклонился и ушёл. Со скрипкой.

(Стихотворение датировано 7 сентября 1916, написано в Петрограде)

Гости начали собираться к пяти. Пришёл друг семьи доктор Старцев, прекрасный врач,

люто ненавидевший своего коллегу Антона Павловича Чехова, несмотря на то, что тот уж дюжину лет, как умер. Пришёл дядя Сергей с хохотушкой-женой Лидочкой, возрастом едва старше самой Нади, а там и молодёжь начала собираться на долгожданное торжество. Первой, конечно, пришла Варя — неразлейвода подруга, хранительница самых важных тайн. Следом — непременно Лиза Егорова, верная и прекрасная, с кем стойко оттрубили положенное во Втором Петроградском Мариинском училище, что на Съезжинской.

Пришёл, никак не мог не прийти, и милый Коля Геринг — такой же полунемец из скромной дворянской семьи, только, в отличие от Нади, стеснявшейся с начала войны отцовской фамилии Юргенс и представлявшейся девичьей фамилией матери, свое родовое имя потомок остзейских баронов скрывать не пожелал. Храбрый Коля пришёл не один: компанию ему составили стеснительный незнакомец, который, очаровательно грассируя, представился Александром, и огромный букет роз.

Но вот, наперебой поздравив хозяйку и с днем рождения, и с недавним выпуском из училища, гости расселись за столом и воздали должное угощению. Когда же отзвучали все положенные здравицы, когда закончились все перемены блюд (скромные по военной-то поре, но всё-таки), и осталось подождать немного до чая, к которому анонсировали настоящую роскошь — торт от кондитерской Абрикосова на Невском, настало время песен. Взрослые остались в гостиной, а молодёжь переместилась к Наде в комнату, где именинница намеревалась дать концерт с самыми удивительными и новыми песнями.

— Немалую часть этих песен я узнала лишь вчера, и у меня нет ещё привычки их играть, — смущённо начала Надя. — Поэтому не судите меня строго, друзья!

И начала, аккуратно аккомпанируя:

По моей незасохшей руке

Пробирается тихо память.

По моей незастывшей реке

Проплывает тихонько птица.

По моей неубитой душе

Плачет скорбно забытый разум...

Я летаю снаружи всех измерений... [3]

По окончании песни повисла звенящая тишина. Первым опомнился и зааплодировал Александр, остальные немедленно присоединились.

— Надя, это потрясающе! — воскликнул Александр. — Такая нечеловеческая глубина и многоплановость образов при кажущейся простоте... Но откуда это? В жизни подобного не слышал!

— Слова написал Игорь Летов, футурист из Сибири. То ли из Омска. То ли из Томска — не помню, признаться. А музыку — наверное, тот, кто мне вчера ее показал и любезно написал ноты. Вот, послушайте ещё — это сочинение некоего господина Чигракова, о котором я, признаться, доселе тоже не слышала.

Давай разроем снег

И найдем хоть одну мечту.

Ты сказала: "Ты знаешь, она живет там "

Принесем домой

И оставим с собой до весны.

А потом с балкона отпустим ее:

Пусть летит

Колокольчик в твоих волосах

Звучит соль диезом.

Колокольчик в твоих волосах... [4]

— Это невыносимо прекрасно! — захлопала Варя в ладоши. Надюш, а ещё есть?

— Есть ещё немножко, — рассмеялась Надя. — Где-то на белом свете, там, где всегда мороз...

Когда все новинки отзвучали, восхищенные гости наперебой потребовали разоблачения загадки.

— Слушайте же, — начала Надя. — Вчера со мной случилась просто сказочная какая-то история. Я разучивала «Кокаинетку», новую песню Вертинского. Ой, я же совсем забыла вам сыграть её! Очень, очень замечательная песня, вот услышите — всё расскажу, и непременно сыграю. Так вот. Окно было открыто, и с улицы меня вдруг окликнул какой-то мужчина...

Когда рассказ был закончен и обсужден, Александр тихонько спросил:

— Надя, а вы позволите мне спеть «Кокаинетку» вместе с вами? Мне тоже очень нравится эта песня...

— Ой! — Надя прижала ладошки к щекам. — Как я сразу не поняла... Вы... а вы же сам Вертинский, да?

Уже идя по Средней Подъяческой с букетом гладиолусов, я сообразил, что вчера не запомнил номер дома. Но меня снова выручила музыка, даже испытал некое «дежа вю»: над Питером разносилась печальная песнь о московской наркоманке. Причем, как бы не в авторском исполнении. Но день выдался столь богатым на умопомрачительные зигзаги судьбы, что на удивление сил уже просто не осталось. И вот квартира номер семь. Звоню, на сей раз открывает горничная.

— Добрый вечер. Вы к кому-с?

— Здравствуйте. Так к хозяйке молодой вашей, Надежде Садовниковой.

— Как прикажете доложить?

Я представился.

— Сей секунд, сударь, — кивнула горничная. И, наклонившись ко мне, добавила: — Юргенсы они-с. Не вздумайте-с при Александре Оттовиче ошибиться.

Я обозначил поклон, приложил палец к губам, затем ладонь к сердцу, и горничная меня покинула. Но всего секунд через пять налетел ураган по имени Надежда.

— Божечки! Григорий Павлович! Это же настоящее чудо, что вы к нам пришли! — вскричал ураган. — Каюсь, за новыми впечатлениями вчера совершенно забыла пригласить вас — у меня же день рождения сегодня, мы отмечаем семейно и с друзьями, заодно и выпуск из училища...

— С днём рождения, Надежда Александровна! — я поклонился, сняв шляпу, и, вознеся мысленно хвалу Джимми Хендриксу за своевременное озарение, вручил ей букет.

— С ума сойти! Так вы знали?! Но откуда?! Но проходите, проходите же!

В следующие пять минут меня представили родителям, родственникам, друзьям — в том числе и Вертинскому, после чего налили бокал коньяку, который я и пригубил во здравие именинницы. Заверил всех присутствующих, что я не более, как случайный знакомый и почитатель несомненных музыкальных талантов Надежды, после чего был немилосердно утащен в музыкальный салон. Как оказалось, выступление хозяйки вечера, имевшее оглушительный успех, уже завершилось, и теперь у фортепьяно ее сменила подруга

по имени Варвара, которая недурно играла вальс Шопена.

А пока она играла, я незаметно наблюдал за собравшимися, и, как мне кажется, прокачал ситуацию. Славного вида юноша по имени Коля, руку на отсечение даю, влюблён в Надежду, причем, похоже, взаимно (так тебе и надо, старый хрен, поищи себе личной жизни в другом месте). И очень похоже, что великий Вертинский здесь — подарок на день рождения его восторженной фанатки. Уж не знаю, как мальчик Коля уговорил певца, и сколько ему заплатил, но красиво, чёрт побери. Респект. Кто бы мне Мадди Уотерса на совершеннолетие подогнал в своё время...

— Григорий Павлович, милый, а вдруг вы нам что-нибудь сыграете, пожалуйста? — умильно попросила Надя, и, конечно, я не смог ей отказать и потянулся за гитарой.

— Сыграю непременно, Надежда Александровна. Но вот ведь незадача: большинство песен, что я знаю, печальны или хотя бы задумчивы. А мы же тут, кажется, веселимся?

— Не переживайте, — махнул рукой Вертинский. — Я и сам тот ещё весельчак.

— Вот-вот, — поддержала его Надежда. — Зато все ваши песни новые и интересные. Так что мы вам любой блюз простим!

— Как пожелаете, — и я начал.

В Москве десятых годов XXI века было великое множество талантливых музыкантов и интереснейших групп. Почти все они имели узкую известность в пределах своих тусовок или на просторах интернета, где успех измеряется количеством подписчиков страницы в социальной сети. У них огромное количество прекрасных песен, и вот что интересно: спой я их сто лет тому вперёд, в своём 2016, их бы тоже никто не знал. Поэтому я подряд спел пяток таких песен, преимущественно блюзов, и каждая песня стала откровением для слушавшей меня молодёжи.

— Это потрясающе, — выдохнул Вертинский.

И все немедленно с ним согласились.

— Благодарю вас, дамы и господа. Я, признаться, довольно курящий дядька, и покорнейше прошу отпустить меня на перекур.

— Всенепременно отпустим, — разрешила Надя.

— Только одна просьба, Григорий Павлович. Прежде, чем мы пойдем курить, не могли бы вы исполнить что-нибудь такое же необычное, как «снаружи всех измерений»? — попросил Александр Николаевич.

А я подвис. Нормально им Летов зашёл, однако! Но у меня день выдался не самый простой, и «по заказу» в голову лезли такие песни, как «Всё идёт по плану» или «Мы уйдём из зоопарка», а они едва ли сгодятся сейчас. А, хотя, вот же.

— Извольте.

Глупый мотылёк догорал на свечке.

Жаркий уголёк, дымные колечки.

Звёздочка упала в лужу у крыльца,

Отряд не заметил потери бойца... [5]

— Автор, несомненно, сейчас на фронте, — заметил Николай. — Рассказывают, там восприятие жизни, все чувства обостряются многократно. Очень военная песня, не находите?

— Вполне возможно, — не стал спорить я. — Ничего, признаться, не знаю об истории создания этой песни, но готов с вами согласиться, — и мы с Вертинским пошли курить: остальные, как ни странно, оказались зожниками. Гитару я прихватил с собой.

Хотя хозяин дома гостеприимно приглашал подымить в гостиной — тут это было в порядке вещей, — мы сослались на необходимость свежего воздуха и спустились во двор, благо дождя по-прежнему не было.

— Григорий Павлович, прошу, расскажите мне про блюз, — раскуривая сигару, попросил Вертинский.

— А зачем, Александр Николаевич? Ведь вы знаете о блюзе как бы не побольше меня.

— Простите, не понимаю вас?..

— Человеку, который написал вот это, нет нужды спрашивать про блюз, ибо блюз уже в нём, а сам он — в блюзе.

И, заменив привычный для этой песни лирический перебор на традиционный блюзовый ритм, я заиграл и запел:

*Я не знаю, зачем и кому это нужно,
Кто послал их на смерть недрожащей рукой,
Только так беспощадно, так зло и ненужно
Опускали их в вечный покой... [6]*

Оборвал песню после первого куплета. Вертинский с застывшим лицом глядел куда-то мимо меня. Но он спросил, и надо бы ответить.

— Я играю блюз уже три десятка лет, и вот что для себя понял. Может быть, там, в закрытой от мира Америке, где забитые негры придумали себе такую вот музыку, она и останется чем-то неизблемым, догматическим — ну, к примеру, начинать нужно со слов «я проснулся утром», а потом жаловаться на судьбу: жена страшная и дура, друг пьяница и предатель, денег нет, кобыла сдохла и так далее. Вполне возможно, что там все эти нехитрые беды в разнообразных комбинациях проживут столетиями, не претерпевая никаких изменений. Но здесь у нас, в России, удивительнейшее дело: к нам чего ни занеси, рано или поздно оно непременно начнет видоизменяться и превращаться во что-то иное, что-то новое и почти всегда — во что-то большее, чем было изначально. Поэтому я давно решил для себя, что нужно оставить лишь формулу «Блюз — это когда хорошему человеку плохо», плюс «блюзовый квадрат». Это схема гармонии песни. В классическом блюзе последовательность аккордов уместается всего в двенадцать тактов, потом они просто повторяются. Вот смотрите — если желаете, позже напишу. Сперва играем четыре такта на тонике, потом два на субдоминанте, следующие два опять на тонике, один на доминанте, за ним на субдоминанте, хотя еще раз на доминанте тоже можно. А последние два такта, в принципе, без разницы, на чем играть, важно лишь, чтоб заканчивалось это всё доминантой. Ну, или тоникой в случае, если это конец песни. Но и это всё — не догма. Надо просто песни сердцем писать. У нас без сердца — никуда.

— Я вижу их до сих пор, — произнес Вертинский, не замечая, что курит сигару в суровый затяг. — Каждый вечер. Стоит чуть прикрыть глаза, и я вновь в санитарном поезде, и перевязываю, перевязываю, перевязываю раненых. И нет конца этим несчастным, и нет конца этому поезду. Господи, когда же?

— Боюсь, что еще нескоро, Александр Николаевич, — вздохнул я. Похоже, он пребывал в прострации и пропустил мой монолог мимо ушей. Но тут же выяснилось, что я ошибся.

— В детстве я жил в Киеве, — откликнулся он. — Рядом с нашим домом было цветочное хозяйство, а через дорогу — анатомический театр. И на улице всегда пахло либо цветами, либо трупами. Это ведь блюз?

— Блюзовее некуда, — заверил я. — Но, дорогой коллега, мы с вами сегодня развлекаем

милых барышень, так что давайте-ка выдавим из себя что-нибудь веселое и, конечно же, не покажем вида?

— Так вас всё-таки тоже наняли? — удивился Вертинский.

— Ни в коем разе. За три дня, что я в Питере, не дал ещё ни единого платного концерта. К слову, через три дня в саду дворца Юсуповых на Мойке концерт таки будет. Бесплатный, но по приглашениям. Я вас приглашаю.

— Постараюсь быть, — кивнул он. — Вот моя визитка.

И мы вернулись, и по очереди сыграли и спели ещё немало, а финальный номер — «Бразильский крейсер» — исполнили дуэтом. Когда отгремели заслуженные овации, как раз подали чай и нас позвали за стол. Совершенно счастливая Надя задула свечи, и понеслось славное русское чаепитие без разделения по возрастам. Отлично посидели — каждый что-нибудь рассказывал, не устоял перед соблазном и я, стараясь лишь удалять из своих баек вопиющие анахронизмы — так, вместо слова «электричка» я в последнюю секунду ввернул «дачный поезд», и это не вызвало никакого удивления. А торт был неопишимо волшебен, даже в счастливом советском детстве не ел ничего похожего.

Но всё имеет свойство заканчиваться, вот и вечеринка подошла к концу. Первыми откланялись мы с Вертинским. Дымя на ходу, дошли до набережной, где ему повезло поймать извозчика. Принялись прощаться.

— Кто вы? — спросил Вертинский. — Вы знаете десятки чудесных песен, а кроме вас их не знает никто. И вот беда: они все настолько разные, что никак не могут быть сочинены одним человеком, даже стопроцентным гением.

— Музыкант, — развел руками я. — Всего лишь музыкант. Не мессия, не святой, не пророк, не воплощение Спасителя, прости меня, Господи. Просто музыкант, вихрем судьбы, извините за пафос, помещенный в это время и место. А времена, как известно, не выбирают — в них живут и умирают. Так что кучу песен в моей голове рассматриваю как своего рода награду. А откуда они — прошу, очень прошу, давайте, не будем об этом. Доброй ночи, Александр Николаевич. Увидимся, — и, так толком и не ответив на его прямой вопрос, я сбежал. Не хочу ему врать. А правду говорить — сами понимаете. Но как теперь петь, если каждый будет видеть эту несуразность? Вопрос.

Когда вдали на набережной Крюкова канала показался дом, где я снимал комнату, пришлось напрячь память и вспомнить, осталось ли в комнате что-нибудь, что мне дорого: у входа топтался полицейский. Наверняка по мою душу. А второй раз за сутки иметь дело с полицией что-то не хочется — едва ли мне сказочно повезет еще раз. Вспомнил: увы, осталось. Там лежат половина моих денег и очень удобные штаны, так напомнившие старые добрые джинсы. И что теперь делать?... О! Точно же! Слава керосину!

Я же оставил окно открытым, выбегая утром на поиски бани! А оно выходит во двор-«колодец». Осталось два вопроса. Нет, три. Первый: можно ли попасть в этот колодец, незаметно для полицейского? Второй: смогу ли я забраться на третий этаж и потом тем же путем спуститься обратно? Ну, и третий: не вызовет ли такое моё восхождение в довольно поздний вечерний час обоснованных подозрений у тех, кто может его увидеть? А городской, если что — вот он, у подъезда мается. Мда-с. Но денег, откровенно говоря, жалко: я понимаю, что у Юсуповых их куры не клюют, но становиться нахлебником — пусть я даже буду за деньги консультировать господ спасителей империи — мне как-то претило. Да просто не позволит пионерская совесть. Так что будем есть этого слона кусочками. Надо обойти пару кварталов, и подойти к дому с другой стороны. Ага, сделано. Вот и двор, на

третьем этаже открыто окно. Определенно, моё. Никого. Чудесно! Переходим ко второму пункту. Залезть можно. Рисково, конечно, но что делать... Полезли. Так, теперь думаем о том, чтобы не сорваться и, конечно же, о пункте третьем: дорогой Би Би Кинг, или кто ты там сегодня! Пожалуйста, сделай так, чтоб никто не заметил твоего верного друга Григория... Эх, чёрт, костюм же угроблю!

Я ухватился за подоконник, подтянулся, почти влез в комнату, и, подняв глаза, сделал несколько открытий сразу. Ну, во-первых, комната оказалась не моя, а совершенно незнакомая. Во-вторых, в свете горевших в бронзовом канделябре свечей (и как я его с улицы не заметил?) отчетливо была видна сидящая на постели дама в одном красном пеньюаре. Лицо её украшал макияж, который в моё время называли бы готичным. А в руке у нее был револьвер, только смотрел он отнюдь не на меня, многогрешного, а в висок самой дамы. Тут самоубийца увидела меня, глаза её расширились.

«Сейчас завизжит или выстрелит», — подумал я. Но нет.

— Ох, ничего себе, — растерянно произнесла незнакомка лет примерно тридцати. — Вот это, чёрт побери, номер! А я, дура, стреляться собралась, — с этими словами она встала, положила револьвер на тумбочку и избавилась от пеньюара. — Понятия не имею, кто вы, но вам придётся провести со мной ночь!

[1] Сожалею, мисс. Кажется, вы обознались, и я не тот. Сожалею о недоразумении и о том, что невольно вас разочаровал. (англ.)

[2] Простите, мистер, я обозналась! (англ.)

[3] Песня «Снаружи всех измерений», автор — Егор (Игорь) Федорович Летов, группа «Гражданская Оборона»

[4] Песня «Полонез», автор — Сергей «Чиж» Чиграков, группа «Чиж и компания»

[5] Песня «Отряд не заметил потери бойца», автор — Егор (Игорь) Федорович Летов

[6] Песня «То, что я должен сказать», автор — Александр Николаевич Вертинский.

Глава 7. Кукушкины слезки и день рождения блюза

Ой, меня мамка заругает, поставит в угол на горюх!

Меня, седого старикана, она поставит на горюх!

За что — на небе бог лишь знает,

Спаси-помилуй, добрый бог!

Что-то со мной не то творится — утренний блюз приобрел явственные фольклорно-православные черты. Никогда бы не подумал!

Но да, забегая вперед: такой шикарной выволочки, какую мне устроила ее сиятельство княгиня Юсупова, я за всю свою бурную жизнь не припомню. Впрочем, по порядку.

Время, когда я проснулся, утром можно назвать с некоторой натяжкой — барышня вымотала меня, за день испытавшего много чего, до последнего предела, так что продрых почти до полудня. Казалось бы, изнемогающий от патологического либидо, да еще подогретый алкоголем и обществом прелестных юных дев Распутин должен был совершать постельные подвиги сутки напролет, но нет, ребята. Устал-с! Затащившая меня в койку безумная кошка, по меркам привычного мне XXI века, умениями по постельной части похвастать никак не могла, но их отсутствие она с лихвой компенсировала отчаянным темпераментом и такой ненасытностью, что к исходу третьего часа начал всерьез опасаться за жизнь — мне ж под полтинник уже. Впрочем, кувыркания наши вскоре стихли к обоюдному удовлетворению, и под папиросы и лимонад мне досталась история жизни случайной пассии.

Моя внезапная подруга представилась Ариадной. К слову, я ей так и не сказал, как меня зовут. Окончив соответствующее училище, не без постельной протекции поступила она в кордебалет Мариинского театра, и почти сразу «вышла на содержание». Юную балерину подобрал и обогрел некий стареющий ловелас в чине действительного статского советника. Такой старт вполне устроил амбициозную барышню. Мечта, она же план, у нее имелась. Вернее, две мечты, вытекающие одна из другой: стать примой и содержанкой какого-нибудь великого князя. То, что сценарий совершенно реален, сомнений не вызывало: пример Малечки Кшесинской — вот он, перед глазами. Действительный же статский, хоть годами был слегка за пятьдесят, а в обществе имел репутацию человека набожного и примерного семьянина, на деле оказался жадным до утех сластолюбцем, к чему мгновенно приохотил Ариадну, для которой он снял пусть довольно скромный, но особнячок. «Ну, да лиха беда начало», — прагматично решила балерина, приступая к получению от жизни всего. Месяц за месяцем, год за годом ни в чем она не нуждалась, дважды в неделю общаясь с «благодетелем», но вот какого-то роста во всей этой истории заметно не было. Папик старел, из театра после второй беременности уволили. Трех рожденных детей — двух мальчиков и девочку — сразу после рождения она подкидывала в приют.

Но с год тому все окончательно пошло под откос. Переваливший на седьмой десяток действительный статский переоценил силы и отдал Богу душу, не вставая с Ариадны. На фронте тогда творился всякий ужас, кампания 1915 года вышла очень тяжелой, поэтому происшествие осталось незамеченным газетами. Но из особняка пришлось съехать — сперва в доходный дом на Вознесенском, оттуда в апартаменты попроще на Коломенской, а как с деньгами совсем уж плохо стало — так в эту комнатенку в Минском переулке. И вот к этому

моменту кошмар бытия предстал перед Ариадной во всей полноте: чтобы жить, нужны деньги; ничего, кроме как танцевать, она не умела, а в возрасте 29 лет ни один театр брать ее не желал. С точки зрения найти себе нового сердечного друга перспективы были не лучше — молодых конкуренток хватало. Кроме того, сводила с ума привитая любовником страсть к постельным забавам. Ариадна попробовала потусить по богемным салонам, пару раз находила себе мальчиков на ночь. Затем устроилась танцовщицей в кабаре, но быстро бросила, не вынося вульгарности и нескольких частных встреч с сальными типами из торгового сословия. Все эти встречи особой радости, да и денег, не приносили, «вулкан страстей» не тушили, зато какой-то гадостный привкус оставляли... Так что, дойдя до ручки, Ариадна честно приготовилась пустить пулю в висок, и тут меня угораздило ошибиться окном. Выговорившись, отставная балерина наконец заснула.

Я устал за этот день так, как не уставал в юности, когда мы, случалось, подрабатывали на железной дороге разгрузкой вагонов. Но последовать примеру Ариадны не мог. Сперва поражаюсь причудливости извивов морали профессиональной кукушки, потом прикидывал дальнейшее развитие отношений с нею. И понял, что не хочу никакого развития. Просто в бордель ходить — оно как-то проще, безопаснее и, пожалуй, честнее. А там, глядишь, и влюблюсь в кого. В смысле, не в борделе, а вообще. Приняв это решение, я тихонько встал, оделся, и, оставив на комод паре ассигнаций, вышел вон.

Вечером, стремясь избежать встречи с полицейским, я попытался зайти с другой стороны двора, и в итоге промахнулся домом. Наплевав на всё на свете и мечтая лишь о том, чтоб поспать, я добрался до своего дома и комнаты (полиция по ночам имеет обыкновение отдыхать, и перед парадным никто меня не караулил), и, застелив постель (от простыни все еще пахло керосином), не раздеваясь, упал и уснул.

Пробудившись, долго приводил в порядок костюм, и, доведя его до кондиции «ну, вроде, не стыдно в люди выйти», забрал всё, что собирался, и, подобно Элвису, покинул здание, не зная, вернусь ли сюда еще когда-нибудь. Надо идти сдаваться Юсуповым. Но, имея в виду, что хрен они меня теперь куда выпустят, сперва стоит навестить гробовщика и забрать гитару.

Повезло не промокнуть: как раз шёл галереей Гостиного двора, когда питерская погода вспомнила, что уже всю сентябрь, и пора хорошенько прополоскать этот город. Хлынул дождь. Сперва — ливневый заряд, совсем как в моей Москве, но очень быстро он превратился в монотонный такой дождик, который, не снижая темпа, может лить и день, и месяц. Найдя галантерейную лавку, купил зонт — здоровенный такой, ну да время складных «автоматов» настанет еще нескоро, так что и на том спасибо. Тем более, покупка выглядела вполне стильной. И, уже не боясь погоды, стал вспоминать, где тут под надзором гробовых дел мастера сохнет мой ненаглядный инструмент.

А гробовщик растрогал до слез. То ли дядька сидел без заказов, то ли совесть его загрызла, что за такую пустяковину содрал с меня немалые деньжищи, но он сделал для сигарбокса кофр. Не гробик, а нормальный такой прямоугольный ящик из лакированного дерева, с двумя замками и ручкой. Да еще внутри заполнил пробковым деревом (и где взял-то), вырезав углубление четко под гитару, а пробку обклеил черно-серебряным глазетом. Получилось шикарно. Поблагодарив доброго мастера и заверив, что как помру — за гробом приду к нему и ни к кому более, расплатился, откланялся и вышел вон.

У меня есть гитара! Своя собственная, с бою взятая! Все прочее сейчас не имело никакого значения. Душа пела, и потому далеко не сразу понял, что за мной следят.

Случайно заметил, что в отдалении по пятам идут двое, с виду весьма похожие на ту публику, что едва не зарезала меня вчера в подворотне. На всякий случай, ускорил шаг и пошел не в ту сторону, куда собирался: на Невском надо было повернуть налево, к Мойке, я же пошел на Фонтанку, направо. Двое не отставали. Я, признаться, запаниковал: прапорщика Гумилёва с его револьвером рядом не наблюдалось, кто меня спасать-то будет? Ускорил шаг.

В какой-то момент возникла идиотская идея поискать спасения в Аничковом дворце. Но, во-первых, кто меня в него пустит? А даже если и да, то вдовствующая императрица Мария Федоровна действующую императрицу, по слухам, терпеть не может. Но кто сказал, что она хорошо относится к Распутину? Да меня там еще на пороге убьют. Так что получай свой блюз, Гриша. И дождь, как по заказу, — всё, как мы любим.

До набережной Фонтанки я добрался почти бегом. Чтобы увидеть, как небольшой пароходик с гордой надписью «Речной трамвай. Васильевский остров» отчалил прямо перед носом. Мне на том острове делать было нечего, но вот оказаться в недосягаемости от преследователей хотелось очень. Но тут я заметил пришвартованный к тому же причалу катер.

— Что, господин хороший, на трамвай опоздали? — окликнул меня владелец катера

— Есть такое дело, — ответил я.

— Так садитесь, я вас на Васильевский куда быстрее того парохода отвезу, — предложил он.

— Благодарю. А на Мойку к Поцелуеву мосту сможете?

— Да запросто, сударь. Один рубль, четверть часа — и вы у Поцелуева.

— Поехали!

Он протянул руку, помог заскочить на катер. Отвязал суденышко от причала, завел мотор. Тут мои преследователи перешли на бег, но им не повезло: когда они вбежали на причал, между ним и катером было уже метров десять воды. Иных плавсредств поблизости не заметно.

— Кого-то вы сильно заинтересовали, сударь, — заметил катерник.

— Бандиты, — ответил я уверенно. — Вчера на меня напали трое, мимо шел офицер, перестрелял их. Но, возможно, кто-то там еще был, запомнил меня и теперь жаждет отомстить, хотя, видит Бог, я не понимаю, за что.

— Эвон, как бывает, — покачал головой водный извозчик. — Но, барин, за такое беспокойство доплатить бы не худо...

— Но тогда и поедем побыстрее, не так ли? — я достал из кармана купюру наудачу, оказалась трёшка. Протянул «таксисту» Сам при этом отметил, что, потерпев фиаско, преследователи отнюдь не стусевались, но побежали на набережную, где почти сразу остановили лихача. Так что преследование пока продолжалось.

— Со всем нашим пониманием, ваше благородие! Отставной кондуктор Степанов в вашем распоряжении! — бывший моряк спрятал трёху, за что-то дернул и катер прибавил ход.

Стоит отметить, что движение среди бела дня в пятницу что по самой Фонтанке, что по набережной было изрядным. То мы медленно расходились со встречными и попутными лодками и пароходиками, то наши преследователи на берегу попадали в затор. В итоге оторваться от них пока не получалось. Наконец, уже за Вознесенским проспектом, я увидел, как у преследовавшего нас экипажа отвалилось колесо. Мысленно выдохнул и позволил себе

немного расслабиться.

Повернули в Крюков канал, в нем движение оказалось менее интенсивным, так что совсем скоро я распрощался со Степановым у Поцелуева моста, и под зонтом побрел ко дворцу — сдаваться.

С набережной Крюкова подлетел фаэтон, из него выскочили все те же мои преследователи. У одного в руке револьвер, у второго — воспетый революционными романтиками «Маузер».

— Стоять, Нойманн! — рявкнул тот, что с револьвером. — Руки вверх!

Я, конечно, никаким местом не Нойманн, но два ствола — не тот аргумент, который хотелось бы сейчас оспорить. Поэтому послушно остановился и поднял руки вверх: в левой — кофр с гитарой, в правой — зонтик.

— Что вам угодно, господа? — спросил, как мог, учтиво.

Один молча вырвал из моей руки кофр, второй охлопывал карманы.

— Оружия нет, — протянул рассеянно.

— В чемодане — гитара. Правда, странная, квадратная какая-то. Больше ничего, — севшим голосом произнес второй.

— Вы кто такой, сударь? — не отводя от меня револьвера, спросил первый. Немногочисленная публика, шедшая куда-то по своим делам, завидев эту мизансцену, спешила оказаться как можно дальше. Но вот городской, наоборот, храбро мчался прямо к нам через Поцелуев мост.

— Распутин, Григорий Ефимович, — честно ответил я.

— Издеваетесь? — вскипел тот, что осматривал гитару.

— Молодой человек, поаккуратнее с инструментом, пожалуйста, — попросил я — мне он очень дорого обошелся.

Первый что-то резко сказал по-немецки, обращаясь ко мне.

— Простите, не понимаю, не знаю языка. Если вам не нравится русский, можем поговорить по-английски. — Я видел, что происходит какая-то глупость, но разозлился всерьез.

— А! — довольно воскликнул второй. — То есть вы не немецкий, а английский шпион?

— Молодой человек, — вздохнул я. — Вас в детстве по голове не били? Британская империя — наш союзник по Антанте, вообще-то.

— С такими союзниками никаких врагов не надо, — процедил первый, убирая револьвер. — Примите извинения, сударь. Ошибка вышла.

— Господин штабс-капитан, а если он все же шпион? — спросил юноша с маузером, возвращая мне кофр.

— Без вариантов, корнет, — стараясь не глядеть на меня, произнес штабс-капитан. — Идёмте.

— Господин корнет, позвольте дать вам совет, — сказал я. — Лет через двадцать, если будут затруднения со службой, езжайте в Москву. Там на Лубянской площади в доме страхового общества «Россия» найдете господина Ежова, Николая Ивановича. Без работы точно не останетесь.

Набирая в грудь воздух и вставляя в рот свисток, до нас домчался городской. Знакомый такой.

— Не трудитесь, господин Парамонов, — сказал я. — Уже все разрешилось, и господа принесли извинения.

— Кто такие? — с подозрением спросил он. Штабс-капитан показал ему какую-то бумажку, Парамонов вытянулся и взял под козырек. Разошлись.

— Что вы за человек, Распутин? Кажинный день в какой переплет залетааете.

— И не говорите, самому надоело. И Распутиным быть надоело пуще всего... Кстати, не удовлетворите любопытство? То я вас у Исаакия встречаю, то, наоборот, тут. А где ж участок-то ваш?

— А кудой начальство пошлет. Доброго дня, — козырнул Парамонов и поспешил меня оставить.

Из донесения начальника отдела центрального военно-регистрационного бюро ГУГШ Российской Империи подполковника Балашова А.А.

...таким образом, для наблюдения за агентом германского генерального штаба Иоганном-Готлибом фон Нойманном были выделены опытный сотрудник Бюро капитан Ярославцев, а также прикомандированные накануне офицеры: штабс-капитан Денисов и корнет Болоховитинов. Оба — офицеры военного времени, оказались в Петрограде в ожидании предписания по излечении от полученных на фронте ранений. Капитан Ярославцев успешно вёл фон Нойманна от вокзала до центра города, где тот предпринял попытку затеряться в Гостином дворе. Ярославцев, однако, след не потерял, тогда как Денисов и Болоховитинов переключились на слежку и последующее преследование сходно одетого человека, которого они в результате погони настигли близ Поцелуева моста и, угрожая оружием, произвели обыск. Детали оного оба изложили в прилагаемых рапортах. На мой взгляд, даже будь на месте неизвестного прохожего настоящий агент, они бы его упустили — настолько бездарно была осуществлена акция. Ярославцев же был вынужден продолжать наблюдение в одиночку, что привело к провалу: Нойманн быстро его раскрыл, после чего, подкараулив в безлюдном месте, ранил выстрелом в ногу и скрылся в неизвестном направлении...

(Резолюция начальника бюро содержит непечатные слова, посему публикации не подлежит).

— Милостивый государь! — начала великолепная Зинаида Николаевна. — Извольте знать, что мы вам поверили и возлагаем на вас определенные надежды. Вынуждена напомнить, сударь, что точность — вежливость королей, а благородного и порядочного человека отличает свойство держать свое слово.

И понеслось. Реально коротенько, минут в пять княгиня уложилась, но разносила до того качественно и, в принципе, за дело, что хотелось спрятаться.

— Я жду ваших объяснений, — закончила фитиль Юсупова.

— Оправдываться не стану, ибо виноват, хотя и далеко не во всем, — пожал плечами я. — Но о том, что со мною за эти сутки приключилось, расскажу... — и рассказал.

— Григорий Павлович, время обеденное, — уже куда более ласково произнесла княгиня, когда я изложил ей фарс у Поцелуева моста. — Предлагаю прерваться, продолжим после.

И тут я сообразил, что не ел толком как бы не те самые сутки — вечерний торт у Нади Юргенс уже давно не считается.

После обеда меня едва не разморило, так что я под самое честное слово отпросился покурить на ветру — чтобы хоть чуть сбить сонную одурь. Ну, а потом, под кофе, мы продолжили беседу.

— Вчерашняя беседа вышла несколько эмоциональной, оттого сумбурной и скомканной. Давайте попробуем сначала. Опишите, пожалуйста, что сейчас происходит в империи и какие есть способы к исправлению этого? Вчерашнее опустим, давайте еще раз.

«Слово из шести букв тут происходит, причем в терминальной стадии», — хотел сказать я, но, разумеется, пришлось выражаться более культурно.

— Тогда повторюсь, что все, что я скажу, есть лишь мое мнение, основанное на образовании и жизненном опыте, полученных в другие времена и в довольно-таки специфических условиях. Итак[1]. В настоящий момент, Зинаида Николаевна, страна идет вразнос, и, как мне представляется, этот процесс уже необратим. Пошел третий год войны. Войны крайне тяжелой, с огромными потерями и лишениями, и удачной ее при самой буйной фантазии не назовешь. Патриотический порыв давно угас. Народ — в массе своей — подавлен. Народ устал от войны. Кроме того, различные политические силы внутри страны рвут ее на части в разные стороны. Каждый тащит одеяло на себя.

У партии большевиков есть главарь, господин Ульянов. Когда я учился в школе, он заменял нам Господа Бога, простите за кощунство, поэтому его наследие, пусть очень фрагментарно и тенденциозно, вколачивалось в наши неокрепшие умы. Он, при всем прочем, неглупый человек. Так вот, этот господин сформулировал три признака революционной ситуации. Они просты. По Ульянову, революция имеет отличные шансы на успех, когда в государстве верхи не могут управлять по-старому, низы не желают жить по-старому, и при этом наблюдается революционная активность масс. К несчастью, мы имеем ужас видеть все три признака во всей их красе: во власти практически полный паралич (я не могу и не хочу отвечать за прежнего владельца этого тела, но да, его роль в этом переоценить трудно). Простой народ, или, как некоторые его называют, «чернь», категорически устал ото всего — войны, нищеты, безземелья, бесправия, и оттого охотно пойдет за любым, кто пообещает ему хоть немного лучшую жизнь. Из этого вытекает немалая революционная активность масс: распропагандированные агитаторами рабочие бастуют, крестьяне то там, то тут, начинают бунтовать, а армия, вследствие фронтовых неудач и, в немалой степени, работы тех же агитаторов, практически разложилась.

Как известно, большинство населения империи составляют крестьяне. И их в первую очередь интересует земельный вопрос. При этом крестьяне темны, консервативны, и им совершенно неинтересно ехать в восточные губернии, где земли куда больше, а за свою замшелую общину они держатся крепче, чем несмысленши за мамкин подол. Зато рядом — помещичьи хозяйства, нередко обширные, и кого волнует, что они давно заложены-перезаложены, а барин то в Баден Бадене, то на Лазурном берегу. Ведь это так просто — взять, и все поделить. По справедливости. Зачем барину земля, у него и так денег куры не клюют. Черный передел владеет крестьянскими умами. А на фронте — те же крестьяне, им воевать давно неохота, а вот успеть домой, когда землю делить будут — необходимо.

Впавшие в ступор «верхи» роняют власть из парализованных рук. Она утекает к буржуазии — той власти нужна до зарезу, чтобы, с одной стороны, множить деньги и не делиться при этом с каким-то там государством, а с другой стороны — выжимать из трудящейся на них черни все соки, не сильно тратясь при этом. Всех к ногтю! Крестьянам, теоретически, еще можно обновить в уме сказку про доброго царя. Буржуям же — невозможно. Их интересует власть. Будет при этом декоративная кукла с короной, или обойдемся американской моделью — не суть.

Следующая сила — те самые рабочие, из которых тянет жилы буржуазия. В царя после

«Кровавого воскресенья» они уже не верят, фабрикант же для них — враг номер один. И поэтому красивая сказка герра Маркса про коммунизм, когда работать не надо, а жрать в три горла — сколько хочешь, заходит им в мозги, как к себе домой. Ну и заодно пожар мировой революции, когда, опять-таки, работать не надо, зато грабить проклятых эксплуататоров — святое дело. То есть опять: взять и поделить. При этом додуматься, что ладно: взяли, поделили, прожрали. Дальше что делить будем, когда все эксплуататоры кончатся? — ни рабочие, ни, тем более, крестьяне как-то не могут, посему кукловоды лепят из них страшные силы.

В моей истории было так: в конце февраля уже следующего, 1917 года, буржуи и генералитет заставили Императора отказаться от престола. Он отрекся в пользу брата Михаила, который всю жизнь от царствования, как черт от ладана шарахался. И, когда он уже с превеликой радостью отрекался, какая-то хитрая тварь в Думе[2] так составила документы, что с юридической точки зрения восстановление монархии в России стало невозможным.

Дорвавшись до власти, господа «демократы» не сумели толком сделать ничего. Союзники требовали от них решительных действий на фронте, но армия погрузилась в революционный хаос. В конце октября буржуев скovyрнули социалисты во главе с большевиками, и на несколько лет страна вообще на тонком волосе повисла: террор всех против всех, гражданская война, интервенция-оккупация, у крестьян хлеб отнимали насильно, отсюда бунты и террор-террор-террор. Дворянство практически перестало существовать. Кому повезло — убежали за границу. Ну, да это к теме пока не относится.

Подытожим картину на сейчас: армия держится на последней со... соломинке, крестьяне на пороге бунта, рабочие бастуют, дельцы и фабриканты жаждут власти, которая, кажется, сама плывет к ним в руки. Вопрос: что делать? Ответ: в общем виде задача не решается. По крайней мере, я этого решения не вижу. Очевидно, что решать, прежде всего, нужно низовые вопросы. То есть опираться на крестьянство и рабочих. Потому что это эпическая сила, которая, если вырвется на волю, разнесет все без остатка. Каким-то образом нужно решить земельный вопрос, причем без обмана — оружия на руках более, чем достаточно, и бунт по Пушкину — бессмысленный и беспощадный — еще долго будет оставаться реальной угрозой.

С рабочими немного проще. Введение восьмичасового рабочего дня со строгой тарифной сеткой оплаты переработок, социальная политика — лечение, образование, отдых, тому подобное. Люди должны видеть, что власть реально о них заботится.

Но у нас остается целых два класса, которым в нынешнем виде в этой схеме делать нечего. Это дворянство — точнее, та его немалая часть, которая проводит жизнь исключительно в праздности, и буржуазия.

Необходимо отменить указ Петра Третьего о вольностях дворянских и все проистекшие из него документы. Дворянство обязано служить Престолу, служить Стране — и ни как иначе. Учитывая количество праздношатающей шляхты в империи, в нашей ситуации такие жесткие меры грозят дворцовым переворотом.

И это буржуазия. Частный капитал — это неплохо. Но весь этот бизнес-шимизнес нужно держать на пушечный выстрел от любого уровня власти, и, убей Бог, я не знаю, возможно ли это хотя бы в теории и, тем более, как. И, конечно, необходимо жесткое трудовое законодательство с гарантией его применения — чтобы все то, что я говорил про рабочих, выполнялось неукоснительно. Приемлемым выходом, на первый взгляд, кажется

государственный капитализм — то есть полная национализация всех мало-мальски крупных и значимых предприятий, а также портов, железных и шоссейных дорог. Но тогда не вполне понятно, куда девать алчущую власти и денег буржуазию — то есть очень деятельных, богатых и весьма влиятельных людей, — кроме как под нож.

Если будем действовать по такой модели, и, допустим на миг, добьемся успеха, мы получим нечто, по сути, невиданное прежде: социалистическую империю. Но это даже мне представляется химерой, потому что нейтрализовать несколько тысяч имеющих реальные доступы к власти и рычаги, а, главное, высочайшую мотивацию, людей едва ли возможно.

И не забываем: страна воюет, а боевой дух армии высоким не назовешь... Ну, это я по кругу уже пошёл. Может, достаточно пока? Повторюсь в сотый раз, я всего лишь музыкант, и всю свою жизнь занимаюсь только музыкой. Я и в школе-то был не самым прилежным учеником, да вот учили нас, видно, хорошо, раз столько помню.

— Пожалуй, вы правы, Григорий Павлович. Еще вопрос. В прошлый раз вы настаивали на исключительно сильной центральной власти.

— И сейчас настаиваю, ибо в России ничто другое вообще не работает. Нам нужна крепкая, жесткая самодержавная монархия.

— И кого вы видите этим монархом?

— Из всех, с кем успел познакомиться здесь за это время, лучше всего на эту роль подходите вы.

— Извольте шутить? — изумилась княгиня.

— Нисколько. Скорее, показываю снова, что эта ситуация не имеет простого решения. И вообще. Для того, чтобы сделать революцию — снизу ли, сверху — недостаточно революционной ситуации. Нужна движущая сила. В моей истории у буржуазии ее не было, и временное правительство ожидаемо профукало всё, доведя страну до последнего края. У социалистов такая сила была — это партия большевиков. С трудом, со скрипом, через реки крови — но у них получилось, и они даже воссоздали великую державу. Нужна идея, Зинаида Николаевна. «За веру, царя и отечество», увы, больше не работает. «Православие, самодержавие, народность» — тем более. Нужна новая идея. И мощный проводник этой идеи в широкие, прежде всего, рабочие и крестьянские, массы. Есть у нас идея? Есть проводник? Пока не вижу. И времени у нас тоже нет — всё уже разваливается.

— Благодарю вас за этот тяжелый честный разговор, Григорий Павлович. О многом надо подумать. Ступайте, вам покажут ваши комнаты.

Прибежали в избу дети,

Второных зовут отца:

«Мы внезапно осознали

Все масштабы звездеца!»

Вот и я, как те самые детишки из виденного некогда в Интернете стишка-переделки, внезапно осознал. Выкурил две папиросы разом. Меня трясло. Трясло от того самого осознания масштабов и понимания, что в этих жерновах я даже не песчинка. Так, микроб, не во всякий микроскоп углядишь. Задача выжить усложнилась на несколько порядков разом. Собственно, она стала просто невыполнимой. Что ж, помирать — так с музыкой! Кстати, о музыке: пора наконец познакомиться с моей гитарой.

Я достал гитару из кофра, натянул струны. Настроил. Строит! Минус один страх. Голос у моего сигарбокса получился глуховатый, немного гулкий, но это ж то, что мне надо. Чай, не андалузские серенады со всякими фламенками играть буду. А вот что бы такое сыграть?

Памятуя вчерашний вопрос Вертинского, ко всему тому громадному запасу песен, что сидит в моей голове, теперь надо относиться крайне осторожно. Значит, пора начинать писать что-то на местные стихи. Гумилева точно не читал толком никогда. Блок? «Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови. Господи, благослови!» — это нельзя, а иного не помню. Есенин? «Белая береза под моим окном...» — во поле березка стояла, ага... Ахматова и Цветаева? Кроме имен, не знаю ничего, бабской лирикой в жизни не интересовался. Ох, Маяковский же! Маяковского — раннего как раз, дореволюционного — я в юности весьма любил и читал, любил на пьянках после пятой-седьмой проникновенно декламировать «Послушайте! Ведь, если звезды зажигают...». Вспомнить бы что-нибудь из него — едва ли в юсуповской библиотеке отыщутся стихи отвечающего пощечин общественному вкусу.

Я вышел в сад, курил, и, прикрыв глаза, пытался вспомнить. А вернувшись, взял гитару. А ведь это блюз, друзья мои. Самый настоящий русский блюз.

Четыре.

Тяжелые, как удар.

"Кесарево кесарю — богу богово".

А такому, как я, ткнуться куда?

Где мне уготовано логово?

Если бы я

был маленький, как океан, —

на цыпочки волн встал, приливом ласкался к луне бы.

Где любимую найти мне,

Такую, как и я?

Такая не уместилась бы в крохотное небо!

О, если б я нищ был!

Как миллиардер!

Что деньги душе? Ненасытный вор в ней.

Моих желаний разнузданной орде

не хватит золота всех Калифорний.

Пройду,

любовищу мою волоча.

В какой ночи

бредовой, недужной

какими Голиафами я зачат —

такой большой и такой ненужный [3] ?

— Изрядно и трогательно, — произнес Феликс Юсупов, стоя в дверях. — Простите за вторжение, услышал — не удержался. Это тоже ваш современник?

— Нет, Феликс Феликсович. Это наш с вами современник, живет и здравствует. Владимир Маяковский.

— Надо же! Я бы почитал. Хмурый день сегодня, не находите?

— Отличный день, ваше сиятельство. День рождения русского блюза.

[1] Мнение главного героя может не совпадать с мнением автора.

[2] Известно, какая. Папенька Володи Набокова постарался.

[3] Владимир Владимирович Маяковский, «Себе, любимому», 1916. Три катрена герой не вспомнил.

Глава 8. О допельгангерах, «балтийском чае» и бабочках

Папиросный дым слоями затопил кабинет. Можно повесить не то, что топор, но даже орудие главного калибра линкора «Слава». Но линкор пребывал на базе в Гельсингфорсе, так что за пушкой бежать было бы далековато. Топора, впрочем, под рукой тоже не имелось, так что подполковник Балашов, в очередной раз закашлявшись, открыл окно. И, когда хотя бы подобие пригодного для дыхания воздуха заполнило помещение, прекратил проветривание и продолжил фитиль за вчерашнее.

Штабс-капитан Денисов слушал подполковника со все нарастающей тоской. Фронт, еще месяц назад казавшийся непрекращающимся кошмаром, теперь выглядел простым и понятным в сравнении с задачами контрразведки. Лицо вчерашнего объекта, чтоб он сдох, не давало покоя храброму пехотинцу. И тут... Японцы такое состояние благоговейно именуют «сатори», мы же обходимся более скромным словом «озарение». Денисов понял, что его так зацепило.

— Давайте все-таки ещё раз, — вздохнул подполковник. — Я просто никак не могу понять, господа офицеры, как вы могли сбиться со следа. Вот приметы немецкого агента фон Нойманна: одет в дорогой костюм английского кроя, волосы темные, длинные. На голове шляпа. Усы, борода. В одной руке — зонт, в другой — небольшой чемодан. И вы через половину города, совершенно в стиле бульварной писанины про Ната Пинкертона, гонитесь за незнакомцем в английском костюме, в шляпе, с зонтом и чемоданом, но без волос, усов и бороды! Но почему?!

— Избавиться от растительности на голове — дело недолгое, господин полковник, — устало ответил Денисов. — В особенности, если она накладная. У них обоих было совершенно одинаковое лицо. Лицо Гришки Распутина.

— Минуточку. О Распутине вы мне ничего не говорили!

— Я только сейчас понял, кого он мне напомнил. Пока за немцем ходили — было не до того: шпион же гарантированный, только что из-за границы. Второй был брит наголо, речь строил весьма грамотно, что выдает неплохое образование, и с гитарой в чемодане, путь она и странного вида. Но что-то меня царапало, и сообразил я вот только что. Один из них — Распутин, ваше высокоблагородие.

— Кто из вас видел гитару?

— Я, господин подполковник, — откликнулся корнет.

— Сможете нарисовать ее? Хоть приблизительно?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Еще одна странная и ненужная деталь, — растерянно пробормотал Балашов, разглядывая рисунок корнета. Это же сигарная коробка — кажется, так в Североамериканских штатах называют такую поделку, благо она из оной и сделана.

— Разрешите спросить: а зачем делать гитару из сигарной коробки? — рискнул проявить любопытство Денисов.

— Мне кто-то рассказывал, что босяки в Америке, в особенности, негры, отличаются музыкальностью. Но инструменты стоят немалых денег, коих у них, конечно, нет. И потому они приноровились делать себе гитары, банджо и даже скрипки из коробок от сигар и прочего хлама. Но у меня вопрос: зачем Распутину, который не должен испытывать

недостатка в деньгах, такая странная поделка?

Балашов, не говоря более ни слова, медленно опустился на стул. С полминуты он, все так же молча, смотрел перед собой, затем вытащил из кармана портсигар, достал папиросу и закурил, продолжая глядеть в какую-то неведомую даль. Наконец взгляд подполковника вернулся. Начальник отдела снял телефонную трубку.

— Третьего. Благодарю. Господин полковник, фон Нойманн заgrimирован под Распутина. Осмелюсь предложить, необходимо максимально усилить охрану Царского села. Так точно.

— Очень хотелось бы перенять этого фальшивого Распутина и к императрице ни в коем случае не пустить. Раз уж настоящий невесть где шляется... Впрочем... Капитан, куда пошел ваш вчерашний незнакомец от Поцелуева моста?

— По Мойке он пошёл, ваше высокоблагородие, в сторону Юсуповского дворца.

— Что бы ни случилось с Распутиным пятого сентября, весь этот бред, что наплели про него в газетах, идеально поможет Нойманну выдать себя за него. Написано же — сошел с ума, преисполнился благодати, ушел в юродство. Он вообще может делать что угодно, не стараясь вжиться в образ, вы это понимаете? Ладно. Вас в лицо он уже знает, надо кого другого направить патрулировать Мойку. Также вижу смысл отслеживать в городе проведение концертов американской музыки. Хотя бы один Распутин должен быть у нас в кулаке, а лучше оба. Безднадежная мера, конечно... Но зато теперь мы знаем: лохматого — берем, и лысого — тоже. Проникновение полноценного агента генштаба Германии на место этой сволочи Распутина совершенно недопустимо, господа.

— Ваше высокоблагородие, вы полагаете, что Распутин стал музыкантом американского толка? — спросил штабс-капитан.

— Я уже готов за что угодно цепляться, признаюсь вам честно, Вадим Васильевич.

— А что, если их больше, чем двое? — предположил корнет Болоховитинов.

— Будем уповать, что нет: мы пока и двух-то не поймали, — вздохнул Балашов, мысленно воспроизводя большой загиб Петра Великого, который выучил, ещё будучи в юнкерах. Не приведи Господь, если мальчишка прав...

Впервые в жизни удостоился трапезы с настоящим князем — после вчерашней спонтанной мини-пьянки Феликс счел нужным пригласить меня к завтраку. Тут я позволю себе отвлечься. В далекой уже моей юности, где-то на стыке XX и XXI веков, удалось мне заработать прилично денег — у одного из попсовых звездунов гитарист сломал руку, а под рукой каким-то чудом оказался я, так что прокатился с внезапной гастролью по половине страны. Ну, что сказать... При всей мерзотности материала, звездуна хотя бы работал честно: никакой «фанеры», всё живьём. Так вот, заработал я денег, и решил пустить подруге пыль в глаза: пошли мы с ней питаться в ресторан писательского клуба на Поварской. Это стало моей грандиозной ошибкой: девочка была из «хорошей» семьи, я — из «плохой», то есть простой рабоче-крестьянской. Так что россыпь ножей и вилок на столе вызвала оторопь только у меня — барышня же великолепно умела пользоваться всеми этими излишествами. И в этом царстве вышколенных официантов, крахмальных скатертей и прочей роскоши я себя и чувствовал блюзово, и действовал коряво и невпопад, и такой стыд со всего этого поимел, что до сих краснею, как вспоминаю. По окончании пытки, часа через два, когда гардеробщик старательно помог нам одеться и мы вышли на февральскую Поварскую, испытал почти экстаз от накатившего облегчения и, не обращая внимания на барышню,

выкурил три сигареты подряд.

Урок пошел впрок, и тогда же я нанял репетитора — бабушку системы «божий одуванчик», всю жизнь прослужившую в протокольном отделе МИДа, и обучился хотя бы основам этикета. В моей не слишком долгой, но богатой на события жизни эти знания выручали не раз. Пригодились и сейчас, так что перед голубейших кровей аристократом лицом в грязь я не ударил.

— И всё же, Григорий Павлович, я не до конца понимаю, зачем вам этот завтрашний концерт? Нет, я с удовольствием вас послушаю, и тесть мой изъявлял немалый интерес, но вам-то оно зачем? — спросил князь, едва мы покончили с завтраком.

— Всё очень просто, Феликс Феликсович, — ответил я. — В наше время, чтобы жить и удовлетворять свои материальные потребности — сколь бы скромными они ни были, — нужны деньги. Я не дворянин и не рантье, источника пассивного дохода у меня нет. Следовательно, я должен зарабатывать себе на жизнь. Ничего иного, кроме музыки, я не умею. Но есть нюанс: музыка, которую я играю, здесь никому неизвестна. Поэтому в моих интересах — как только можно популяризовать и блюз, и все сопредельные музыкальные течения. Пусть появится сто музыкантов или даже целых оркестров, пусть тысяча — я без куска хлеба не останусь. Главное, чтобы публика знала сей музыкальный продукт и была готова за него платить.

— Но, позвольте, — удивился Юсупов, — вы же видите, в каком положении наша страна? О какой музыке вообще может идти речь? Война, нищета, революция на пороге...

— А я могу это хоть как-нибудь изменить? — ответил я вопросом на вопрос, перебирая в памяти круассаны, бекон и все прочее, что мы только что изволили сожрать в разгар нищеты, о которой так волнуется мой собеседник. — Вчера имел долгую беседу с вашей почтенной матушкой, и уже в процессе этого разговора осознал, что я никто и ничто против объективных исторических процессов. Кроме того, важный нюанс, о котором мы вчера с ней не говорили. Я — человек совсем другой эпохи. Я мало, ничтожно мало знаю о том, что здесь на самом деле происходит. Точнее было бы сказать: не знаю ничего. И, более того, нас разделяют сто лет. Это только кажется, что сто лет — всего ничего, но представьте, что вас выдернуло с дивана вашего шикарного «Руссо-Балта» и забросило во времена Александра Благословенного, в 1816 год. Только что закончилась война с Наполеоном, угар крепостничества, Пушкин еще неизвестен, и так далее. Я не стану спрашивать, что вы там будете делать, но спрошу: как вы там себя будете чувствовать? А между 2016 и 1916 пропасть куда глубже, благодаря мощному техническому прогрессу и миллионам его последствий... Так что все мои знания и выкладки к реальной ситуации здесь едва ли применимы — у меня и вас — всех вас, от Государя Императора до последнего босяка в подворотне — просто разное мышление, и мы слабо стыкуемся. К тому же, массовая культура второй половины этого, XX века, привила нам изрядный цинизм и склонность к нерассуждающему насилию, до чего в эти страшные, но совершенно пока травоядные времена еще не дошли. К примеру, вчера я предложил вашей матушке физически уничтожить буржуазию, честно видя в этом один из путей по выправлению ситуации в России. Он в любом случае неправильный и, увы, недостижимый, этот путь, но это то решение, что первым пришло мне в голову...

— Вы страшный человек, Григорий Павлович! — князь Юсупов и в самом деле впечатлился.

— Ничуть, ваше сиятельство. Я просто совсем другой человек. О чем и говорю. И

будучи другим, я не вижу способов как-то деятельно помочь всем вам. И потому ещё, что у меня кроме воспоминаний из учебника по трижды переписанной истории иной информации об этом времени нет. Так что мне остается? Только петь песни на усладу почтеннейшей публики в ожидании момента, когда одуревший от «балтийского чая» матрос насадит меня на штык своей винтовки...

— А что такое «балтийский чай»?

— Коктейль такой. Спиртовой раствор кокаина. Говорят, среди господ революционеров пользовался немалым успехом...

Князя передернуло. Он загрустил, разговор скомкался, и я позволил себе удалиться, благо завтрак закончился.

Перекурил в саду, там меня и нашёл дворецкий.

— Доставили для вас от господина Чуковского, — с этими словами он мне передал вязанку книг и книжиц. Именно вязанку: помните, как при переезде с квартиры на квартиру увязывали книги? Сейчас-то книг никто не читает, потому и увязывать нечего, а вот прежде было. Короче, стопку книг, перетянутых бечевой крест-накрест, переслал мне незабвенный Корней Иванович. И это вовремя, так как пора готовиться к завтрашнему.

Поблагодарив, я оставил книги на столике в беседке, а сам сбегал в дом за гитарой. Вернулся, развязал бечевку и стал читать сперва все подряд, затем обращая внимание на многочисленные закладки, сделанные Чуковским.

В затхлой подворотне на задворках Лиговки притаились двое. Оба отнюдь не походили на местных обывателей — ни с ворами, ни с бродягами не имели они ничего общего, зато сильно смахивали на казаков, коими и являлись. Знающий человек дополнил бы, что казаки относились к лейб-гвардии. Местный же оборванец, на беду свою обнаруживший служивых, теперь отдыхал связанный и с кляпом во рту за сараем. Зато тревогу поднять не успел.

— А ну, как он той стороной пойдёт? — усомнился один из казаков.

— Нишкни! — зло шикнул второй. — Вот он! Работаем!

Дверь черного хода открылась, оттуда выскользнул еще один господин, которому решительно нечего было делать в таких декорациях. Одетый в отличный английский костюм, во всем остальном, однако ж, он более походил на московского купчину-старообрядца: волосы едва не до плеч, усы, окладистая борода. Он уже почти дошёл до выходящей в безымянный проулок арки, как сильный удар по голове вышиб из него дух, казаки слаженно подхватили обмякшего «товарища» и поспешили прочь.

— Средь бела дня нажралси, — осуждающе покачала головой случайно видевшая выход процессии из арки чья-то кухарка, возвращавшаяся с рынка.

Казаки почти дотащили обеспамятевшего до спасительной кареты, но тот вдруг очнулся и попытался вырваться.

— Пустите, ироды! — возопил он на всю округу. — Я Распутин! Прокляну на веки веков именем царицы небесной![1]

Ни вопли, ни попытка уничтожить конвоиров тяжелым гипнотическим взглядом успехом не увенчались: казаки закинули добычу в карету, сами следом, кучер тронул лошадей.

— Святого человека повязали, — покачала головой какая-то баба.

— В каком месте он святой-то? — ехидно осведомилась другая. — В уде, разве? Тот, говорят у него прям-таки чудеса творит!

А некий рабочего вида молодой человек, что шёл упругой походкой по делам, вдруг остановился как вкопанный — верно, вспомнил, что забыл что-то, и столь же стремительно пошёл обратно.

Миновав два квартала, он зашёл в неприметную контору, и сразу кинулся к секретарю.

— Миша, мне очень нужен телефон. Можно?..

— Можно, только тише — у Константина Васильевича совещание, едва началось, — вполголоса ответил худощавый юноша с прилизанными волосами.

Парень схватил трубку, продиктовал номер абонента.

— Алло? Василий, друг мой! Спешу обрадовать — дружище наш нашёлся. Верно, я запоем был. Да тут, на Лиговке. Но теперь — шалишь, к мамке едет уже. Да, скорее всего, поездом, я не провожал, не с руки было. Так что ты не волнуйся, всё хорошо. Ну, бывай, — и, выдохнув с видимым облегчением, положил трубку. — Спасибо, Миша. Выручил! Всё, убежал, увидимся!

Несколько часов спустя по Царскосельской железной дороге сам по себе, безо всякого паровоза, но при этом довольно шустро, ехал один вагон. Порывкивал басовито, торопился вон из Петрограда. Внутри, кроме машиниста, находились четыре казака и господин в цивильном со связанными за спиной руками и кляпом во рту. Немного не доезжая до станции Шушары, машинист мотриссы, матерясь в голос, принялся отчаянно тормозить: в четверти версты впереди прямо поперек путей падала ни с того ни с сего высоченная сосна. Казаки, подавшись вперед, завороченно смотрели на неожиданное препятствие, тогда как цивильный, освободив от пут правую руку, избавился от веревки вовсе, но виду не подал и продолжал притворяться связанным.

Расстояния хватило, мотрисса встала метрах в тридцати от преграды.

— Эка напасть! — ругался машинист. — Робыты, а, мож, оттащим бревно-то?

...но тут...

— Смерть Распутину!

— Смерть мерзкому кракену! — раздалось из придорожного кювета, и по вагону в упор хлестнула пулеметная очередь.

Цивильный не потерял ни секунды. Едва машинист успел предложить расчистить путь, как он ногой толкнул боковую дверь и «рыбкой» сиганул прочь. Два казака дернулись за ним, но с другой стороны вагона в ту же секунду заработал пулемет, и погони не случилось. Перекатившись несколько раз, беглец смог подняться на ноги, и, пригнувшись, как мог быстро захромал в подступивший почти к путям лесок. А пулемет грохотал еще несколько секунд. Добравшись до спасительного леса, везунчик затаился.

Переждав, пока лихие налетчики убедились, что живых в мотриссе нет, как, впрочем, и объекта их охоты, после чего поспешили убраться прочь, цивильный господин рывком вернулся к вагону, собрал у мертвецов оружие и вновь исчез в лесу.

Нет, но как же богата земля русская блюзменами-то! Я как знал, что в верном направлении рою! Уже во втором по счету альманахе аж шестнадцатилетней давности я нашел прекрасный блюзец. И на музыку ложится просто идеально:

Окна запотели.

На дворе луна.

И стоишь без цели

у окна.

Ветер. Никнет, споря,
ряд седых берез.
Много было горя...
Много слез...
Тяжелеют вежды,
одури туман.
Умерли надежды,
всё — обман.
Дым от папиросы
глушит лунный свет.
Кончились вопросы —
есть ответ.
И встает невольно
скучный ряд годин.
Сердцу больно, больно...
Я один[2].

Я так порадовался, что музыку сочинил минут за десять. И увлеченно принялся читать дальше. О! А вот эту песню я знаю! В детстве моём дядя Юра на семейных застольях среди прочей бардытины непременно пел ее под гитару. Знать бы ещё, кто музыку написал[3]....

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света

И немедленно сыграл эту действительно достойную песню. С блюзом ничего общего, но хороша ведь, а? За следующие три часа появилось еще пять песен. Не то, чтоб я был гениальный композитор — вовсе нет. Но в чём прелесть настоящей поэзии: музыка в ней уже есть. Осталось ее увидеть и просто сыграть...

Близился вечер, и надо бы, наверное, прервать творческие штудии и наведаться на кухню — а то завтрак давненько уже был. Я выписал все песни в список и поочередно сыграл — вот тебе и генеральная репетиция. Которая оказалась, к тому же, открытой: уже на второй песне я заметил, что неподалеку стоит Володя Набоков со своим дурацким сачком и очень внимательно меня слушает. Когда отзвучала последняя песня из моего списка, будущий американский порнограф решительно вошёл в беседку.

— Добрый день, Григорий Павлович, — внезапно взволнованно начал он. — Прошу вас, примите мои извинения: каюсь, после нашей встречи подумал о вас дурно.

Да, если бы передо мной на мосту через Мойку махал руками незнакомый лысый мужик, изрекая при этом пафосные речи, я бы про него тоже подумал дурно.

— Здравствуйте, Владимир. Вам не в чем себя упрекать — я и в самом деле мог вести себя излишне экспрессивно. Так что не вижу причин для конфликта.

— Благодарю вас. А всё, что вы пели — это ваши песни?

— Не совсем. Мои они лишь отчасти — лишенный поэтического дара, я только

сочиняю музыку к чужим стихам. Наш общий знакомый нынче прислал мне целую библиотеку, так что я весьма творчески провожу время.

— Это что-то необыкновенное, я заслушался.

— Спасибо, Володя. Рискну показаться грубым мужланом, но позволю дать один совет. Не нужно казаться взрослым, казаться серьезным — вообще казаться. Нужно просто быть. Быть самим собой — таким, каким сам себя ощущаешь там, глубоко внутри, под грузом условностей и прочего наносного хлама. Все эти викторианские чопорности — совершенно излишняя в жизни вещь. Просто прошу вас, подумайте об этом. Вот вам понравились песни. А секрет в том, что в них нет или почти нет ничего наносного, ничего лишнего. Они искренни. Скажите, вам доводилось читать сказки господина Андерсена?

— Да... — пионер-миллионер неподдельно удивился. Отлично, уже эмоции!

— Прекрасно. Напомню, у него есть сказка «Новое платье короля». Знакомо?

— Да, конечно. Читал в детстве в букваре графа Толстого.

— Совсем хорошо. Так вот, образ того самого несчастного монарха гораздо шире, чем принято трактовать. Послушайте песню.

Почтальон, припорошенный снегом, несет бандероль.

Приплясывает, дышит на пальцы — холод.

А в подворотне беззвучно танцует голый король:

Без повода, даже без водки — молод.

И, хоть с каждой секундой становится все холодней,

Мальчик, не стоит спешить звать побольше людей —

Тут надо подумать,

Ведь может быть так, что наш мудрый король все же прав!

(Хотя я считаю — он действует слишком прямо),

Но он выпьет настойки из пряных альпийских трав,

Станцует ещё, и станет звездой рекламы.

Но, пока всех с ума не свели эти странные танцы,

Мальчик, шепни королю: лучше быть, чем казаться —

Не говоря о простуде[4]...

— Как-то вот так, — подытожил я.

— Я тоже так хочу, — еле слышно выдохнул Набоков.

— Всё в ваших руках, друг мой. Только главное условие: творчество должно быть честным, а образы — своими. То есть, если вам кажется, что вот эта луна над нами похожа на, простите, свиное рыло — мы этот образ и берем, а не затасканную по миллиону альманахов лунную дорожку с неверным светом вкупе.

— Хм, смело!

— А иначе ничего не выйдет, — пожал я плечами. — Поэзия, к счастью, искусство вольное, а отнюдь не догматическое. Безусловно, стоит придерживаться правил хорошего тона и не злоупотреблять глагольными рифмами, например, или спонтанными изменениями ритма — этого вам никто не простит. А в остальном — творите!

— Я нечаянно наступил сегодня на бабочку, — вдруг признался он.

— Начало подходящее, — согласился я. — А может, наоборот, концовка. Теперь попытайтесь понять, что про это можно написать. Только без штампов, по возможности.

— Не знаю, получится ли? — усомнился надежда мировой энтомологии.

— Если постараться, непременно получится. А если получится до завтрашнего дня, то я

успею сделать из этого песню до начала концерта.

— Концерта?..

— Да. Завтра здесь, в этом саду, в шесть вечера. Будем надеяться, что дождя не будет...

Приходите, вам в любом случае будет интересно, полагаю.

[1] Вы можете сказать, что проклинать именем Богородицы нехорошо. Оставим этот ляп на чьей-нибудь чужой совести: автор негодует вместе с вами.

[2] Это стихотворение «Один» Андрея Белого. Но третий и четвертый катрены Борис Бугаев (так его на самом деле звали), конечно, не писал. Пришлось автору дополнить, чтобы хватило на песню.

[3] Короткое стихотворение это написал Иннокентий Анненский. Музыка существует в нескольких вариантах.

[4] Текст песни, написанной автором

Рояль в кустах

Что может быть душевнее теплого полдня в первой половине сентября? Уже осень, но еще как бы не совсем, и дневное светило пока не ушло из Петрограда за свинцовые тучи, где иной раз имеет обыкновение почивать днями и неделями, пока дожди выводят на флейтах водосточных труб опостылевшие ноктюрны. Но солнце нынче светило мягко и ласково, отчего Алексей Алексеевич Балашов пробудился в превосходном настроении. Правду сказать, пробудился не сам, а стараниями супруги Татьяны Федоровны, только вернувшейся с воскресной службы.

Привычно пропустив по касательной еженедельный упрек в недостаточной православности, Алексей Алексеевич облачился в халат, подошёл к жене, молча обнял и ткнулся губами в щёку.

— Ой, усы твои колючие, Алёша, — вздохнула жена, прижавшись к нему на миг.

Этот своеобразный ритуал происходил меж ними каждое воскресенье. После подполковник принимал утренние процедуры и, одевшись, садился за стол, где его уже ждал горячий кофейник и все остальное. Но в этот раз Татьяна Федоровна нарушила привычный порядок.

— Мы лет пять не были в театре, — в этой констатации не было упрека, но Алексей Алексеевич всё равно насторожился. — Оперу и балет я не видела с девичества, и даже в синема мы не заглядывали больше года.

Балашов совсем напрягся. Не то, чтобы у него были какие-то особенные планы на этот день — как раз нет, ничего конкретного, — но тишайшая, в основном, супруга определенно собиралась взбунтоваться. Но да ладно. Внезапную тягу жены к прекрасному можно пережить, особенно если это прекрасное действительно является таковым, а не каким-нибудь «авангардом» пополам с декадансом.

— Вчера была у Чуковских — тебе поклон, кстати. — Так вот, сегодня в саду у Юсуповых на Мойке вечером будет какой-то совершенно необычайный концерт. Корней Иванович то ли сам толком не знает, то ли просто нагнал туману, но, вроде бы, ожидается вечер какой-то новой американской музыки. Солист, что будет там выступать, попросил Чуковского позвать туда как можно больше поэтов и вообще творческих людей. Но мне удалось показать ему заинтересованность и раздобыть визитку князя Юсупова — она там вместо входного билета. Так что, Алёша, делай, что хочешь, но вечером мы идем в свет. Какие будут возражения?

— Ни малейших, — быстро ответил Алексей Алексеевич. — Я слышал краем уха, что в Америке придумали что-то в самом деле интересное, так что интересно будет послушать.

Татьяна Федоровна взвизгнула и повисла на мужниной шее.

— Спасибо, Алёша! Ты самый лучший!

«Отчего бы и не поработать в такой чудесный осенний вечерок?» — с некоторой игривостью размышлял подполковник, направляясь в ванную.

Володя, пребывая в нешуточном отчаянии, в десятый, наверное, раз перечитывал дело рук своих. Получилось ужасно. Как-то прямолинейно и грубо, что ли, без тени загадки, без тайны и возвышенности чувств. Но — строго по заветам этого странного Григория

Павловича.

*Я встал с утра разбитый, словно швед
Петром Великим в поле под Полтавой.
Скажи, испить еще мне сколько бед,
Пока моею станешь ты? Усталый,
Я ночь не спал, сомнений мучил бес,
Перебирал я всё, что с нами было.
И в ухо мне хихикала с небес
Луна дурная, как свиное рыло.
Мы бестолково проводили дни,
Я думал о тебе, как о невесте.
Оставь кокетство, на меня взгляни.
Иди сюда. И будем вечно вместе.
Нет? Я пойду, и пусть смеются вслед
Свинья-луна и звездочки-подсвинки.
Любви земной мне не увидеть, нет —
Я — мотылек, раздавленный ботинком [1] .*

Показать отцу? Совершенно невозможно! Такое только господин Коровьев, чуждый условностей, сможет верно и беспристрастно оценить. Что ж, вперед! Ведь мы же с ним уговаривались, верно?

«Уважаемая А.А.!

Достоверно известно, что ваш «Милый Друг» нынче вечером, в семь, устраивает музыкальный концерт в саду дворца князей Юсуповых на набережной Мойки. Вход только по приглашениям, коими являются визитные карточки князя Феликса Феликсовича. Взял на себя труд приложить оную карточку к настоящему письму.

Сочувствующий Вам,

Anonimus».

— Соня, кто и когда принес это письмо?

— Обычный мальчишка-посыльный четверть часа тому, Анна Александровна.

— Как интересно... Вот что, ангел мой. Нам до семи вечера нужно попасть к Юсуповым на Мойку. Распорядись, пожалуйста.

— Слушаюсь!

Проснулся с давно забытым ощущением — предвкушением концерта. Я так, наверное, лет двадцать с гаком не волновался — настолько привычное, в общем-то, дело, сколько я этих концертов за всю жизнь отлабал? Да не счесть. А вот поди ж ты. К завтраку сегодня меня не приглашали, однако ж, и голодом морить не стали: лакей принес в комнату яичницу с беконом, бутерброды и кофе. Насытившись, взял гитару, портсигар и пошел репетировать в сад. Там меня и нашёл Набоков. Всю рафинированность с него как корова слизала: теперь это был нормальный парень, не спавший по какой-то причине ночь.

— Доброе утро, Григорий Павлович! Я написал!

— Здравствуй, Володя. Давай посмотрим.

Мда, не шедевр, конечно. Но копает он в верную сторону, и надо бы парня подбодрить. Чем я и занялся, придумывая мотив на его опус. Володя сперва жадно ловил каждую ноту,

потом принялся отчетливо клевать носом, но воспрял и едва не взлетел от счастья, когда я исполнил песню целиком.

— Молодец! Начало положено, теперь главное — продолжать. А сейчас, пока еще есть время, рекомендую поспать до обеда, если позволят, конечно. Муки творчества — дело святое, но в здоровом теле — здоровый дух. Буду рад увидеться вечером!

— Спасибо, Григорий Павлович. А... а вы исполните эту песню на концерте?

— Ну, конечно. Иначе, зачем бы я сейчас с ней возился?

Набоков отбыл отсыпаться. Будь он хоть трижды миллионер, энтомолог, наследник дворянского рода и так далее — сейчас это самый обыкновенный мальчишка. Ну так и славно же! И некстати подумал: мне что в прошлой жизни, что в этой — под полтос. А детей не было...

А я как-то незаметно перестал волноваться, и, прогнав всю намеченную программу, сам отправился вздремнуть. Но сон не шел. Вернулось волнение, правда, совсем иного рода: я вспомнил, что меня, вообще-то, собираются убить, а сегодня будет немало незнакомого народа, так что риск существенно возрастает. Да и царица непременно узнает обо мне. И еще чем дальше, тем больше грыз меня не червячок даже, а целый удав сомнения: как, интересно, мог Распутин проворачивать все то, в чем его обвиняют и за что, соответственно, собираются укокошить? Нет, я все понимаю: империя полностью разложилась (правда, пока, на взгляд обывателя, это в глаза никак не бросается), но, если сиволапый сибирский мистик мог ворочать всеми рычагами управления, почему при этаким бардаке кайзер еще не принял победный парад на Дворцовой площади?

И взглянем еще на моих убийц. С великим князем познакомиться пока не довелось, но с остальными двумя и сживал, и выпивал, и мнение о них составить успел. Князь Юсупов — избалованный неврастеник, на грани истеричности и психопатии. Я не доктор, но видно же, что психика у парня весьма подвижная. По юности, как с гордостью признался Феликс, пока мы с ним пили простой шотландский виски четвертьвековой выдержки, он наряжался в женское платье и в таком виде выступал по кабакам в роли шансонетки, и при этом имел успех. Вы там как хотите, а в моем понимании такое поведение нормальным назвать сложно. Пуришкевич же — одиозная фигура, типа нашего Жириновского, склонный к эпатажу и возглавляющий, между прочим, банду черносотенцев под названием «Союз Михаила Архангела» — короче говоря, «бей жидов, спасай Россию», вот это вот всё. То есть либо он крайне циничная мразь (что очень даже не исключено), либо рехнувшийся на ультраправых лозунгах долбоёжик, что тоже не сахар. И, если принять за рабочую версию гипотезу, что Гриша Распутин весь белый и пушистый, а нехорошие люди хотят его погубить, чтобы сделать плохо царской семье, то эти два господина, как и подавляющее большинство в обществе, скушают такую тенденциозную инфодиверсию, не подавившись. Потому что тема, что где-то там наверху засели враги и влияют, отравляя жизнь всем и каждому — давно откатанный шаблон, надо только указать, кто именно, где сидит и на что влияет, а там все сословия дружной толпой сами кинутся искать страшных сионских мудрецов или убивать демонического старца из Сибири. Не, я, конечно, не могу оправдывать Распутина, потому как про него так и не знаю ничего, — но жить-то хочется! А вся эта история чем дальше, тем больше представляется мне довольно неоднозначной.

Ещё штришок к портрету Феликса: он на полном серьезе уверен, что некие злодеи в Ставке обдалбывают царя Николая всякой наркотой, отчего он в постоянном неадеквате. Но я же в перестройку читал его дневники. Там тоска смертная, и жизнь, судя по тем

дневникам, у «Хозяина Земли Русской» была — скучнее не придумаешь, да и сам он был человеком совершенно скучным. Но ни следа обдолбанности (а мы в семнадцать лет прямо-таки охотились на всякую «психоделичность», мимо бы не проскочило) не было в царских дневниках. Так что, кто тут не вполне адекватен, так это мой гостеприимный хозяин. И поэтому спасибо за кров, пора бы и честь знать. Но о чем, черт возьми, я тут думаю?! Концерт же на носу! Остальное — потом.

В сад вышел в половине седьмого. Покурил неторопливо, побродил по саду — публика уже собиралась, но ни одного знакомого лица пока не встретил. Потом прошел к месту, где предполагалось выступление, где с удивлением обнаружил, что бригада слуг уже заканчивает устанавливать практически в кустах натуральный концертный рояль!

— Уважаемые, — окликнул я их. — А рояль-то тут зачем?

— Так ведь, ваше благородие, концерт нынче у нас музыкальный. Ея сиятельство распорядились, чтоб всё по высшему разряду!

— Ну, раз по высшему — тогда никаких возражений, конечно.

Едва слуги ушли, потрафил любопытству и открыл крышку. Steinway and sons, однако. Ну, а что ты здесь надеялся увидеть, друг Григорий, «Красный Октябрь»?

Тут подошёл Чуковский в компании с незнакомцем. Вид его сказал мне только о несомненной принадлежности к цеху поэтов, было в нем что-то такое соответствующее: длинные волосы, высокий лоб, мечтательный взор. В лицо же не узнал, хотя, кого я обманываю — Блока от какого-нибудь Мандельштама в упор не отличу, потому как едва ли вспомню, как они должны выглядеть. Я поздоровался с будущим сказочником.

— Добрый вечер, Григорий Павлович. Позвольте представить Вадима Даниловича Гарднера. Я, признаться, не прислал вам его стихов, но он сам меня разыскал и принес свежайшее — возможно, вам подойдёт, — с этими словами Корней Иванович протянул мне лист с отпечатанным на машинке текстом. Я вчитался — и обалдел. Даже размер соблюден — бери и пой[2].

— Рад знакомству, Вадим Данилович. Простите, но где вы слышали эту песню?!

— Когда я был ребенком, отец ее иногда пел. Правда, по-английски: он американец. А что, она и вам знакома? Я, признаться, краешком памяти едва что-то вспомнил.

— Да с оригиналом я знаком. И у вас получилось песню, в общих чертах, сохранить. Скажите, я могу ее исполнить сегодня?

— О, я почту за честь!

— Спасибо! Прошу прощения, господа: мне пора готовиться, но после концерта я к вашим услугам.

Но вот гости расселись на принесенных слугами стульях, всем подали напитки, и вышел сам хозяин дворца, взявший на себя роль конферансье.

— Дамы и господа, добрый вечер. Мы с матушкой благодарим всех, кто принял наше приглашение и пришёл сегодня в этот сад. Музыкальный вечер, который нам предстоит — особенный. Это не благотворительный прием, не бенефис заезжей знаменитости, нет. Цель концерта — познавательная: автор и исполнитель удивительных песен Григорий Павлович Коровьев расскажет нам сегодня о новом течении в музыке. Прошу любить и жаловать!

Под аплодисменты вышли мы с сигарбоксом.

— Здравствуйте. Я хочу рассказать вам о блюзе. Музыка эта пока мало кому известна. Родилась она в Америке, и в оригинале звучит примерно так, — тут я исполнил «No shoes» Джона Ли Хукера, благо она короткая, и в ней настолько все плохо и при этом понятно

любому, мало-мальски знающему английский, что лучшего и не придумаешь.

Судя по реакции зала, инглиш разумели многие. Некоторые дамы даже всхлипывали — уж не знаю, искренне ли.

— Но я заметил, что наш русский язык, русская культура гораздо многограннее и богаче своих американских аналогов, — краем глаза заметил, как вытянулось лицо Набокова: он, вероятно, вспомнил мой пламенный спич на мосту. — Поэтому на русском языке блюз — а именно так называется эта музыка, — звучит немного иначе. Вот послушайте, например, блюз «Себе» на слова современного русского поэта Владимира Маяковского, — некоторые из присутствующих изволили скривиться, но меня это не остановило, и песню отыграл. Аплодисменты воспоследовали, некоторые, возможно, даже искренние. — Главная идея этой музыки формулируется так: «Блюз — это когда хорошему человеку плохо». Но едва ли стоит полагать, что по этому принципу нужно штамповать песни с сюжетами святочных рассказов, вовсе нет! Хороший человек может принадлежать к любому сословию, и плохо ему может быть по самым разным причинам, и одна из самых распространенных — конечно же, неразделенная любовь. Вот послушайте, пожалуйста, новейшую песню «Мотылёк» на стихи Владимира Владимировича Набокова, которого я, не покривя душой, назову надеждой русской литературы.

«Мотылек» зашёл уже совсем хорошо, и терзающийся автор текста едва в обморок не упал от счастья. А я продолжал.

— И вот какая удивительнейшая история произошла сегодня. Перед концертом ко мне подошел молодой человек, он принес свое прочтение американской народной песни «Дом восходящего солнца». В городе Новом Орлеане так называли городскую тюрьму. Можно, конечно, возмутиться: что это, мол, за кандальное творчество? Но не все так просто, на мой взгляд. Кандальные, арестантские песни, так или иначе, восхваляют, романтизируют воровской образ жизни. Здесь же все иначе: герой американской песни просто рассказывает, как же он дошел до жизни такой. А на русской почве эта история мгновенно приобрела еще и оттенок присущего нашему народу фатализма...

— О! Вы считаете, что все русские — фаталисты? — прозвучал вопрос из зала.

— Ну, не все, конечно, но вообще нам это свойственно. Согласитесь, трудно не стать фаталистом, если с пеленок слушаешь сказку про Колобка, главная мысль коей — «От судьбы не уйдёшь»? Но да вернемся к музыке...

House of the rising sun не подкачал. Как по мне, там такой драйв в этом несложном переборе, что слова уже вторичны. Зал горячо одобрил американо-русский фаталистический шансон.

— Этот текст написал Вадим Данилович Гарднер, — не забыл прокомментировать я по окончании песни. — Следующая песня очень короткая, но не менее яркая и теплая. Слова написал несколько лет тому Иннокентий Анненский, автор музыки мне, к несчастью, неизвестен, но и эту песню смело можно зачислить в блюзовые ряды.

И спел про звезду, с которой не надо света, сыграв ее в блюзовом ритме. Теперь эпическое изумление изобразил сидевший во втором ряду Вертинский, и я запоздало сообразил, что музыка-то, наверное, его. Но надо дальше. Весь концерт меня немного нервировала миловидная полноватая женщина средних лет в инвалидной коляске. Если все остальные общались между собой, комментировали песни и мои реплики, то эта дама, застыв в коляске, неотрывно смотрела на меня, и было в ее взгляде что-то, явно далекое от музыки.

Сыграв, в общей сложности, дюжину песен, я решил, что пора закругляться: а то перегруз получится.

— Вот что в общем и целом представляет собой блюз вообще и русский блюз в частности, дамы и господа. Вполне возможно, что кто-то из вас захочет сам попробовать силы в этом жанре. Классический блюз очень прост, — тут я изложил теорию блюзового квадрата, — а стихи вы сможете сочинить сами или же привлечь творчество какого-нибудь поэта, благо ими земля наша теперь обильна, и весьма.

— Скажите, а блюз можно только на гитаре играть? — спросила какая-то дама.

— Ну, те, кто этот жанр придумал, настолько бедны, что играют его на чем попало, лишь бы звук извлечь, — ответил я. — Мне же представляется, что играть его может хоть симфонический оркестр, хотя в таком радикальном случае, возможно, неизбежная монументальность пойдет во вред пронзительности и искренности. Но вот, например, фортепьяно, — я указал на стоящий за моей спиной рояль. — На нем вполне себе можно.

— А дайте-ка я попробую, — раздался густой бас, и из тени, где я весь концерт наблюдал огонек папиросы — товарищ курил, как паровоз — поднялся... Ой, мамочки, вот это да! С портретом этого человека я отлично знаком с первого класса музыкальной школы — он там на стенке висел. А в более зрелые годы я его польку играл на концертах десятки раз — уж больно она в виде рока бодро звучит.

— Прощу, Сергей Васильевич. Почту за великую честь играть с вами.

Рахманинов сел за «Стейнвей» и пробасил:

— Ну-с, попробуем ваш квадрат. Давайте начнем с до-минора, пожалуй, — и начал.

И начал так, как будто всю жизнь ничего, кроме блюза не играл. Очень быстро в рамках квадрата Сергею Васильевичу стало тесно, в ход пошли септаккорды. Я пилил трехминутную, наверное, солягу, пока гений осваивался в мире блюзовых гармоний. Наконец он кивнул мне, я перешел на ритм, а Рахманинов стал солировать.

— А петь-то будем? — спросил он еще минут через пять, переключаясь обратно на ритм.

— Будем! — ответил я, и спел стихотворение «Она ступает без усилия» некой Черубины де Габриак[3] из подборки Чуковского.

Зал неистовствовал. На радостях мы джеманили еще на четверть часа. Наконец, после четвертой по счету овации, Рахманинов поднялся и пожал мне руку:

— Благодарю вас. Очень познавательно. И увлекательно!

Я молча поклонился: слов не нашел.

— Концерт окончен, дамы и господа! Для вас в беседке накрыт чайный стол, прошу вас! — надо отдать должное князю Юсупову, правильный момент он отследил очень четко. Гости пошли в беседку, я убрал гитару в кофр и жадно затянулся папиросой. Подошёл безупречно одетый дядька моих примерно лет.

— Григорий Павлович, простите великодушно, что мешаю вам отдохнуть. Позвольте представиться: Балашов Алексей Алексеевич. От имени моей супруги и от себя лично премного благодарю вас за великолепный вечер. Очень интересно, право слово. Думается, что ждет ваш блюз увлекательнейшее будущее.

— Спасибо, — киваю в ответ.

— ... а вот от лица моей службы позвольте принести вам неподдельные извинения за дурацкую погоню и еще более дурацкую сцену у Поцелуева моста. Новички-с, хоть и с фронта...

— О. Алексей Алексеевич, надо полагать, вы жандарм?

— Нет, что вы. Военная контрразведка. Подполковник Балашов, честь имею.

— Позвольте удивиться, господин подполковник: чем я перед вами-то успел провиниться?

— Не о вине речь, — покачал головой Балашов. — Но я очень прошу о встрече, и чем скорее, тем лучше. Нам необходимо поговорить.

— Что ж... — приплыли, Гриша. Сколь веревочке ни виться... Но это хоть не правоохренители, тут возможны варианты. — Сегодня, полагаю, это будет затруднительно — вижу князя, он определенно идет за мной. Завтра?

— Где и когда?

— Одиннадцать утра, у меня на Крюковом, — я назвал адрес.

— Подходяще, — кивнул Балашов. — Тогда позвольте откланяться?

— До завтра, Алексей Алексеевич. Поклон супруге!

Как раз успел докурить папиросу, когда пришел Юсупов. Извергающий восторги Феликс подхватил меня под руку и повлек в беседку к почтеннейшей публике. Под чай с кучей разных вкусовостей наобщался чуть не до хрипоты с публикой, правда, дама в коляске исчезла, и вопрос, что это она так на меня смотрела, остался непроясненным. Потом поэты и примкнувший к ним Вертинский так в меня вцепились, что даже Зинаида Николаевна оказалась бессильна, но, прежде чем меня уволокли пьянствовать в другую беседку (у поэтов с собой было, ну, так на то они и поэты!), успел условиться с представителем «Русского акционерного общества граммофонов» о встрече завтра в час пополудни в студии на Фонтанке угадайте с трех раз, зачем. И с нотным издателем тоже успел сговориться на вечер. В итоге рухнул спать около полуночи ушатанный вдрызг, слегка пьяный и невероятно счастливый. О судьбах своей и страны, как и о грядущем разговоре с контрразведчиком, больше не думал.

[1] Стихотворение автора, специально написанное для этой главы. Пожалуй, придется маркировать и все самописные тексты, а то мне уже на полном серьезе написали, что не нашли у Гумилева стихотворение про обманщика.

[2] Это тот самый текст, что приведен в начале Главы 5. Написал его автор.

[3] Литературный проект, в ролях — Елизавета Дмитриева и Максимилиан Волошин. Интересующимся — поисковик в помощь.

Как заканчиваются каникулы

Снился мне... нет, отнюдь не сад в подвенечном уборе, как пристало бы вжившемуся в это время человеку. Наоборот, в послеконцертном полупьяном видении посетил я рок-фестиваль как бы не в самом Вудстоке. Пьяные и укуренные хиппи, девушки с обнаженной грудью, атмосфера полнейшего раздолбайства и счастья и мощнейший музон на сцене: выступал сам Джимми Хендрикс. Волны его музыки обволакивали меня, заряжая какой-то сверхмощной, атомной энергией, и я видел, что все вокруг колбасились не меньше. Доиграв «Purple haze», Джимми обратился к зрителям:

— Ребята! Я вам сейчас новую песню сыграю! Она посвящена одному моему другу из России. Он был очень крут! Он был круче, чем сам Иисус Христос! Но он облажался. Облажался, ребята! И потому я сейчас играю эту песню.

И заиграл незабвенный дискотечный хит «Rasputin» группы BoneyM, под который мы лихо отплясывали в пионерском лагере в начале 80-х годов XX века... Я, разумеется, тут же проснулся и долгое время лежал, размышляя, что имел в виду пославший меня сюда, где я умудрился облажаться и есть ли у всей этой картинке хоть какой-нибудь смысл, или же бывают и просто сны. Так ни до чего и не додумавшись, уснул обратно и едва не проспал.

Позавчера, покидая это скромное пристанище, был уверен, что более сюда не вернусь. А вот поди ж ты — я снова в комнатке на третьем этаже доходного дома почти напротив Мариинки, и запах керосина, пусть ослабший, до сих пор витает в этих стенах.

С подполковником Балашовым мы встретились у парадного, и это явилось сущей удачей, потому как полицейский опять был тут, и он был полон решимости проводить меня к господину следователю для уточнения деталей стрельбы на Екатерининском канале. Балашов же мало того, что был в мундире, так ещё и некую бумагу продемонстрировал измаявшемуся в ожидании стражу порядка. А на словах объяснил, что господин Коровьев всенепременнейше нанесет визит господину следователю, но только после того, как Империя перестанет в нём нуждаться в совсем ином месте.

Кроме накеросиненной кровати, в комнатке наличествовал стул, который я предоставил в распоряжение Балашова. Сам же сел на кровать. Между нами помещалась тумбочка с пепельницей — согласитесь, удобно для серьезного разговора.

— Алексей Алексеевич, прошу прощения, что не могу угостить даже водой — я здесь лишь ночую, и то время от времени. Так что, если не возражаете, к делу, — начал я.

— Охотно, — кивнул подполковник. — И первый важнейший вопрос у меня такой. Григорий Павлович, скажите, какое отношение вы имеете к Распутину, на которого похожи, как брат-близнец?

— Самое прямое, — вздохнул я, совершая крупную ошибку. — Я и есть Распутин. Вернее, был им еще неделю назад.

— Простите, но не могу не усомниться. Дело в том, что всё, что я знаю о Распутине и всё, что я вижу своими глазами и слышу своими ушами, включая, разумеется, ваше вчерашнее выступление, не пересекается ни в единой точке. Как параллельные на плоскости.

— Хорошо. Насколько важен этот вопрос? — уточнил я.

— Исключительно важен.

— Тогда скажите мне, вы верующий или атеист?

— Какой внезапный поворот, — озадачился Балашов. — Ну, допустим, я агностик. И, разумеется, сугубый материалист. Столоверчения, камлания и прочие «эзотерические практики» — с этим точно не ко мне.

— Разумеется. Тогда вам придется нелегко — моя история в материалистическую концепцию мира не укладывается никак. Но, может быть, прежде скажете, зачем вам понадобился Распутин?

Подполковник долго внимательно смотрел на меня, потом, очевидно, приняв решение, вздохнул и потянулся за папиросой.

— В обществе давно циркулируют слухи, что Распутин и Государыня Императрица ничего так не желают, как скорейшим образом заключить сепаратный мир с Германией, тем самым, по сути, закрепить проигрыш в войне. Сразу скажу: это полная чушь. Этот, как и все ему подобные, слух продвигается агентурой противника.

— Информационно-психологическая операция, доводилось читать, — с умным видом кивнул я, а Балашов удивился:

— Мда-с? Как интересно. Я бы тоже с удовольствием такое почитал! Но продолжим. Всепоглощающее влияние Распутина на Августейшее семейство — вопрос весьма спорный, но какое-то влияние, безусловно, есть. И вот вечером 5 сентября разносится страннейшая весть, что на господина Распутина то ли Божественная Благодать снизошла, то ли он просто умом тронулся, но при том полностью переродился и стал юродивым, поклявшись не возвращаться во дворец. Германский генштаб отреагировал молниеносно. Они давно готовили своего агента для заброски в Петроград, и операция уже была в разгаре. Но означенный агент прибыл к нам 8 сентября, при этом загримированный под Распутина! Мы вели его с вокзала, но в Гостином дворе двое из трех филеров переключились на вас, а последнего агент ранил, отрываясь. И ушёл. Но это еще не всё. На другой день, девятого, на Лиговке казаки лейб-конвоя, по донесениям, задержали Распутина. Причины задержания неясны. Несколько часов спустя на Царскосельской железной дороге была устроена пулеметная засада, в которую угодила автомотрисса из собственного Их императорских величеств железнодорожного парка. Мотрисса повреждена, внутри — трупы машиниста и казаков лейб-конвоя. Холодное оружие при них, а вот револьверы куда-то исчезли. Догадываетесь, какой оборот принимает дело? В двух шагах от Царского села, где находится семья Государя-императора, достоверный германский агент, изображающий, к тому же, особу весьма влиятельную, устраивает натуральную бойню, сам же при этом исчезает. Поэтому вопрос, где сейчас настоящий Распутин, представляется лично мне исключительно важным!

— Он перед вами, — вздохнул я. — Вот только понятия не имею, чем и как я могу вам помочь при всем моем желании, потому как с того самого пятого сентября кроме тела от того самого «старца Григория» не осталось вообще ничего.

И я рассказал ему свою историю, ограничившись, правда, исключительно личными приключениями. Балашов время от времени задавал уточняющие вопросы и при этом курил папиросы одну за одной.

— Мда-с. Отставим в сторону неординарность и невероятность вашей версии, но хочу спросить: а что вы теперь с этим всем собираетесь делать?

— Признаться, не знаю, Алексей Алексеевич. Еще вчера думал, что единственное, что могу делать накануне гибели империи — это то, что умею, то есть играть и петь. А там —

будь что будет. Теперь же просто не знаю.

— Империи суждено погибнуть? Как скоро? — резанул взглядом подполковник.

— Конец февраля семнадцатого.

— Подробности? Впрочем, стойте, пока не надо. А война? С войной-то что? Успеем?..

— Мы — нет, но Германия тоже рухнет. Как и Двуетина.

— А вот теперь...

— Подождите, Алексей Алексеевич. Давайте пока вернемся к текущей ситуации. Я так и не понял, какие у вас виды на Распутина.

— Вы правы, это сейчас важнее. А виды... Как вы думаете, будут у немца шансы, если натуральный старец окажется рядом с императрицей?

— Полагаю, что едва ли. Но проблема в том, что я-то не старец ни каким местом!

— Оно, конечно, так. Но это ваше мистическое перерождение мало того, что путает все расклады, так оно ещё даёт карт-бланш. Причем, как вам, так и фон Нойманну. Я всерьез опасаясь, что ему удастся внедриться — тогда любые сплетни про Распутина и царицу могут стать правдой, а то и померкнут на фоне новых бед.

— Звучит апокалиптически, — признал я. — Впрочем, на фоне надвигающегося катаклизма, это так, мелочь. Но я вас понял. Прошу вас, давайте помолчим несколько минут.

Закурил и прикрыл глаза. В голове царил хаос. Я понимал резоны Балашова — судя по всему, не столько даже честного служаки, сколько истинного патриота, больного Россией. Но есть ли в этом смысл, хоть малейший? Меня ж верняком ухлопают, и Феликс с Митрофаньчем не понадобятся. И Дмитрий Павлович, великий князь, которому, оказывается, я личную жизнь испортил — это меня Юсупов просветил — тоже не успеет... А потом меня накрыло.

Не помню, как докурил, как тушил окурок, как открывал кофр, доставал и настраивал свой сигарбокс. Просто гитара давно — часть меня, камертон и катализатор мыслительного процесса. Играю — думаю, думаю — играю. И понеслись перед глазами картины, одна другой ярче. Школа, класс примерно второй-третий, я еще не пионер. Начало ноября, учительница с важным видом рассказывает историю революции: «...и тогда помещики с фабрикантами свергли царя, и сами стали править страной. Но не стерпел рабочий класс, и всего через полгода скинул проклятых буржуев. И так возникла наша великая страна — земля рабочих и крестьян...». Демонстрация. Бумажные цветы, воздушные шары, лозунги — потрясающий праздник. И опять демонстрация, только я уже постарше, вместе с отцом иду в колонне от электрозавода на Красную площадь. «...знач, так, мужики. Впереди через два квартала — два магазина подряд. Бери на всех. Беги на всех порах — успеешь, пока доплетемся. Ориентир запомни — транспарант про лампочку Ильича!» — и возбужденный мат, и звяканье бутылок, и «хорошо пошла!», и, уже у самой площади: «...а ты ваще меня уважжайишь?!». Вранье в телевизоре, потом весенний гон перестройки — там тоже оказалось все вранье...Беспутная юность в девяностые: лабы в смрадных шалманах для бандитов — чем денег больше, тем меньше они пахнут! — стрельба сперва по вечерам в парках, потом в любое время суток где угодно, жуткая бурда с названием «Наполеон», спирт «Рояль» и финансовые пирамиды для тёмного народа, возжаждавшего халявы...

Я рос в одной стране, и был когда-то, наверное, тем мальчиком из песни Высоцкого, который нужные книги в детстве читал. Потом вырос и напропалую бухал совсем в другой стране, умер же уже в третьей. Может, хватит? Я же никому ничего не должен, кроме как отвесить люлей тому китайцу, который обрек нас за что-то жить в эпоху перемен. Я никому!

Ничего! Оставьте меня в покое!!! Какая Россия из тех, что я видел, настоящая? Брежневская? Ельцинская? Путинская? Николаевская? Да похер, если в одной из них меня уже убили, да и во второй собираются. С какого я...

«Ну и пафосный же ты червяк, дружище, — прозвучал в голове брезгливый, досадный голос Джимми Хендрикса, — И это, сопли подбери, да?».

Мысли исчезли, и стало настолько тихо, что я услышал, как играю Таривердиева — финальную песню из «Семнадцати мгновений», мурлыкая мелодию под нос. Доиграл. Открыл глаза. Да, я действительно пафосный придурок, аж стыдно.

— Чудный романс, — нарушил тишину подполковник. — А слова?

— Не помню, — соврал в ответ. — Когда и как я доберусь до Царского, имея в виду, что у меня два неисполненных обязательства сегодня? — и снова закурил.

— Проще всего, конечно, поездом, но лучше бы не надо, — принялся размышлять вслух Балашов. — Думаю, что транспорт я вам сумею организовать. Но тогда вот что, Григорий...

— Павлович, — твердо подсказал я.

— ...Григорий Павлович, — кивнул подполковник. — Я осмелюсь просить вас еще об одной встрече, вечером. Тогда и обсудим детали, хорошо?

— Да, давайте в восемь вечера здесь же.

— Еще одна просьба. Я бы хотел пригласить на нашу беседу друга из отдельного корпуса жандармов. Всё же во внутренних делах он куда лучше меня разбирается.

— Не возражаю, у меня нет предубеждения против жандармов, — равнодушно согласился я, убирая гитару в кофр.

— Тогда до встречи. Честь имею! — Балашов надел фуражку, козырнул и вышел.

Из дневника Анны Александровны Вырубовой

11 сентября, понедельник.

Я не помню, как милая Соня довезла меня до Царского, не помню, как ужинала, как спала, как просыпалась — я всё ещё была там, в Юсуповском саду, где Распутин пел удивительные песни. Это, несомненно, был он: его лицо, пусть и лишенное бороды и усов, его голос, но это никак не мог быть он — иные манеры, иная речь, музыкальность, наконец: они играли дуэтом с Рахманиновым! Я узнавала его и не могла узнать. И главное: он часто в упор смотрел на меня, явно ощущая мой взгляд, но я не видела в нём узнавания. Он будто никогда прежде не был знаком со мной.

Вечером за чаем отважилась рассказать об этом Лили Дэн.

«Странная история, — покачала она головой. — Очень странная. Но мне отчего-то кажется, что мы скоро его увидим».

Механически переставляя ноги, шел я по набережной Фонтанки, направляясь в студию звукозаписи. Настроение, можно сказать, отсутствовало, голова по-прежнему звенела пустотой. Кажется, миновал Гороховую (сто тыщ раз будь она неладна), и скоро уже Апраксин переулочек, куда мне надо. Тут какой-то встречный парень лет двадцати с небольшим — по виду не то средней руки клерк, не то крутой работяга, не разбираюсь я во всех них пока, — выпучил глаза и схватил меня за грудки.

— Кракен! Мерзкий кракен! Спрут на теле Отечества! — брызгал в лицо слюной этот сумасшедший.

Я оттолкнул, он шлёпнулся на задницу, но тотчас вскочил и кинулся уже с кулаками, вопя нечленораздельно. Пришлось принять его на прямой в челюсть. На сей раз отлетел

одержимый куда более неудачно: перевалившись через парапет набережной, он ухнул прямым в реку.

— Охолоните, сударь, — крикнул ему вслед и поспешил продолжить путь, пока народ не набежал.

Кажется, повезло, и никто этой стычки не видел. У Распутина чёртов талант влипнуть в переделки на ровном месте — прощая моя жизнь протекала куда спокойней. Но вот и студия, я вовремя.

— Доброго дня, Григорий Павлович, приветствовал меня вчерашний знакомец. — Но что это? У вас кровь?.. — Действительно, я, оказывается, раскровил костяшки о зубы внезапного противника. Но рука работает нормально, так что не страшно.

— Пустяки, право. Если у вас сыщется мокрая салфетка, уладим этот вопрос в минуту. Здравствуйте!

Пока я приводил в порядок руку, техники готовили аппаратуру, а мне принесли чай в подстаканнике и полную сахарницу.

— Вот-с, договорчик-с подпишем-с? — суетился управляющий.

— Подпишем, — согласился я. — Как вы полагаете, будут ли мои песни пользоваться успехом?

— Это совершенно несомненно-с! Осмелюсь сказать, что для образованной публики-с это будет наимоднейшее откровение-с!

— Вот и славно, — кивнул я. — Потому сделаем так: сейчас мы запишем восемь песен. И вы мне заплатите по сто рублей за песню. И всё. Ни на какие прочие отчисления я не претендую. Вы с каждой песни сделаете многие тысячи, не сомневаюсь, ну и пусть нам всем будет хорошо: мне прямо сейчас, а вам — всю оставшуюся жизнь. Идёт?

— Идёт-с, но отчего бы тогда не десять песен за те же восемьсот рубликов?

— Ставка твёрдая: одна песня — сто рублей. И деньги попрошу сразу. Дело здесь не в недоверии, а в том, что сразу по окончании записи мне будет нужно спешить.

— По рукам-с. Но всё равно десять-с! — и деляга проставил в договор количество песен и сумму гонорара. Договор, естественно, был в единственном экземпляре. Пока читал этот шедевр крючкотворного искусства, мой визави куда-то сходил и притащил десять сторублевок. Взяв деньги, я подписал договор, умудрившись не наклепаться, и мы наконец занялись делом. Меня усадили перед здоровенным раструбом, и процесс пошёл.

— Здравствуйте. Я Григорий Коровьев, и сейчас для Русского акционерного общества граммофонов я сыграю блюз «Мотылёк» на стихи Владимира Набокова, — и сразу песня.

— Здравствуйте. Я Григорий Коровьев, и сейчас для Русского акционерного общества граммофонов я сыграю американский народный блюз «Дом рассвета» на стихи Вадима Гарднера...

— Здравствуйте. Я Григорий Коровьев, и сейчас для Русского акционерного общества граммофонов я сыграю блюз «Один» на стихи Андрея Белого...

Эта дурацкая «интродукция», как ее изволил обозвать управляющий студией, была нужна для недопущения пиратского копирования, что несколько развеселило: оказывается, музыкальная индустрия с первых дней существования была под пристальным флибустьерским вниманием.

Но вот всё записано, и, по заверению техников, получилось наилучшим образом. Так что осталось всех поблагодарить, убрать инструмент и отбыть.

На лестнице встретился с Вертинским, которого, оказывается, вчера тоже завербовала

акула шоу-биза.

— О, удачно-то как! — обрадовался он. — Слушай, а можно я ту, что мы вчера записали, тоже сыграю?

— Можно, конечно, — чёрт, вспомнить бы ещё, что мы вчера с не вполне трезвых глаз записывали нотами, — хулиганства было хоть отбавляй, вон, даже на «ты» перешли!

— Спасибо! Я ее всё утро репетировал!

— Ну, давай. Удачи!

— Постой! Что у тебя с рукой?

— Гриша-Гриша, где ты был? На Фонтанке морду бил! — пропел я на понятной какой мотивчик.

— Вот же неугомонный, — покачал головой Вертинский, и мы распрощались.

Первым делом нашел в переулке трактир, где плотно поел. Организм укоризненно напомнил, что принимать пищу раз в сутки — моветон. Там пока и отдыхал за чаем, коротая время до следующего визита и стараясь хоть еще ненадолго сохранить пустоту в голове.

(какого-то октября в квартире на Средней Подъяческой)

— Папа, милый...

— Да, Надюша?

— А правда же можно я твой граммофон разок послушаю? Всего разок!

— Ну... можно. А что случилось?

— Мне Коленька принес новейшую пластинку самого Вертинского! И там одна песня, которую я ещё вот совсем ни разу не слышала.

— Ну, давай, послушаем. Которую, егоза моя?

— Вот эту, «О любви»...

А не спеть ли мне песню о любви?

А не выдумать ли новый жанр?

Романс о вый мотив, и стихи —

И всю жизнь получать гонорар? [1] ...

— Ой, папенька, ну это же просто чудо, что такое!

— Да-с. Свежо!

Надо сказать, что «диктовать» ноты мне понравилось куда больше. Я просто сидел, играл и пел, а два специально обученных молодых человека с абсолютным слухом вчерне записывали ноты. Потом я отдельно диктовал тексты. И так десять раз. Став ещё чуть-чуть богаче, я закупились пирожками и папиросами, и вернулся на Крюков к половине восьмого. Балашов с другом подъехали точно в восемь. Подполковник снова налегке, его друг — с саквояжем. Этот жандарм, обладатель открытого такого, доброго русского лица, зачем-то украсил его мощными усами и бородой лопатой, что в сочетании с неубиваемой офицерской выправкой даже в штатском выдавало в нем классического царского держиморду, как их рисовали в учебниках времен моего детства — и при том в немалом чине.

— Дорогой Григорий Павлович, позвольте представить вам моего друга. Полковник Валериан Павлович Васильев, старший адъютант штаба Отдельного корпуса жандармов.

— Коровьев Григорий Павлович, он же в недавнем прошлом Григорий Ефимович Распутин. Рад знакомству, господин полковник.

— Прошу вас, Григорий Павлович, — он выделил отчество интонацией, — давайте без

чинов. Чай, это я у вас в гостях, а отнюдь не вы у нас в управлении, да я и не при мундире. Взаимно рад.

Полковника мы усадили на стул, Балашов сел рядом со мной на кровать.

— Получается так, что теперь вы снова не Павлович, а Ефимович, — напомнил Балашов. — Я всё устроил, завтра к восьми утра сюда за вами приедет мотор.

— Мотор?..

— Авто.

— О, спасибо. Алексей Алексеевич, а что мне еще нужно знать? Говорю специально еще раз для Валериана Павловича: я действительно не помню ничего до пятого сентября. Жизнь моя началась именно в этот день, когда я проснулся с лютого похмелья в постели с толстенной графиней Клейнмихель, простите за интимные подробности.

— С кем?! — неподдельно удивился Васильев.

Я в двух словах рассказал ему свой первый блюз шестнадцатого года.

— Дело в том, Григорий Павлович, что вдовствующая графиня Келлер-Клейнмихель отнюдь не отличается описанной вами статью. Поверьте, я виделся и общался с нею не раз. Это милейшая, весьма живая старушка, недавно отметила юбилей: в этом году ей сравнялось семьдесят лет...

— Но тогда кто и зачем оказался в моей постели?

— Отличный вопрос, на который мы пока не знаем ответа, — отозвался жандарм. — Крайне скверно, милостивый государь, что вам отшибло память, но уверяю: Григорий Ефимович Распутин — никоим образом не исчадие разврата. Напротив, это вполне примерный семьянин, любящий своих детей, что бы там ни придумывала юсуповская клика.

— Семьянин? Детей?! У меня что, дети есть? И... жена?!

— Ну, да, — ответно удивился Васильев. — А как вы полагали, друг мой: будучи в крестьянах, дожить почти до полувека без того, чтоб жениться и продолжить род? Решительно невозможно! Вы благополучно женаты с одна тысяча восемьсот восемьдесят девятого года на женщине по имени Прасковья Федоровна. Господь послал вам семерых детей. Четверых, увы, забрал обратно, — полковник перекрестился. — Но дочери Матрена, она же Мария, и Варвара, а также ваш единственный наследник Дмитрий Григорьевич, слава Богу, живы-здоровы, третьего дня вернулись от маменьки из родной деревни Покровское в вашу квартиру на Гороховой и, заставив прислугу наконец выйти из повального запоя, пытаются выяснить, куда же вы исчезли.

Ну что, Григорий, как тебе этакий блюзец? Еще пять минут назад ты был бродягой с крайне сомнительной репутацией, а сейчас — р-р-раз! — и семьянин, да ещё примерный! Вчера, глядя на Вовку Набокова, ведь на полном серьёзе испытывал к нему вполне отеческие чувства. А теперь, когда внезапно выяснилось, что у меня аж трое детей, причем, скорее всего, довольно взрослых... Ээээ... В общем, мысль поехать в Царское село ловить немецкого шпиона или ещё каким-нибудь способом возложить свою дурную башку на алтарь Отечества более не кажется мне дикой.

— Я, признаться, до последнего не верил в вашу амнезию, — тихо, как бы извиняясь, произнес Васильев. — Но теперь яснее ясного вижу, что так оно и есть. Такое не сыграть, уж поверь моему опыту, Алёша.

— Я поверил почти сразу, — отозвался Балашов.

— Предлагаю противошоковое, — с этими словами жандарм поднял с пола свой саквояж, добыл из его недр штоф смирновки, три серебряных стаканчика и банку с

солеными огурцами. Я молча положил на тумбочку кулек с пирожками. Дорогое мироздание, в лице отдельных звезд мирового блюза и рока, ответствуй: ну, сколько можно пить?

Эта мысль, видимо, отчетливо читалась на моем лице, потому что Васильев назидательно произнес:

— Не пьянства окаянного ради, но исключительно душевного здоровья для, — и протянул стаканчик с водкой.

— Спаивание Распутина, а также появление в его постели неких особ, выдающих себя за кого-то иного, видится мне частью кампании по приведению действительности в соответствие со слухами, — как ни в чем не бывало, не замечая противоречия, продолжил Васильев после принятия противошокового. К слову, действительно слегка полегчало. — Точной информации нет и у нас, но выходит так, что с помощью дискредитации неуместного при августейших особах человека, — то есть вас, — какие-то силы пытаются скомпрометировать саму царскую семью. Этим совершенно точно занимаются немцы, и их интерес более чем понятен. И этим же почти стопроцентно достоверно занимаются Юсуповы и другая аристократия в интересах великих князей и, прежде всего, Александра Михайловича.

— Юсуповы? Позвольте, но я пробыл у них несколько дней, они знают всю мою историю и, более того, дальнейшую историю России!

— Простите, Григорий Павлович, вот отсюда давайте подробно. С кем и о чем именно вы говорили? — жандарм, что называется, «подобрался». Вместо располагающего к себе дядьки-балагура передо мной сидел очень жесткий профессионал-силовик.

Стараясь не упустить ничего, я пересказал ему все разговоры с княгиней, Феликсом и Пуришкевичем, попутно изложив тезисы грядущей истории. Едва я замолчал, Васильев молча разлил, и мы так же молча, не чокаясь, выпили.

— Что меня в этой истории особенно удивляет, — задумчиво произнес жандарм, — так это то, что вы до сих пор живы. По логике, вас должны были скинуть в Мойку вечером первого же дня. Удобнейший же момент... Значит, я чего-то не знаю или не понимаю. Но это не беда: узнаю и пойму. Вот что, Григорий Павлович, друг вы мой бесценный. Христом-богом молю, вспомните! Выпейте, покурите и вспомните: что на самом деле погубило Государя? Я не институтка с соплями в сиропе, я вижу всё, что вокруг происходит, и, в отличие от многих иных персон, не желаю России страшной гибели. Вспомните!

Я выпил. Выкурил папиросу. Вспомнил страшное кино про гибель царской семьи. И понял.

— Государь. Примерный. Семьянин. Это. Его. И сгубило, — вот так, медленно, по одному слову. — Если кто угодно будет иметь хотя бы тень власти над его семьёй, он будет иметь власть над Императором.

Агностик Балашов перекрестился и, налив лишь себе, долбанул сто граммов без закуски. Полковник выдохнул, вдохнул и разразился отборной матерщиной.

— Опасно вам там будет, — покачал головой Алексей Алексеевич. — Если Юсуповы сообразят, какой шанс они упустили... У вас есть револьвер?

— Я музыкант. Я не умею стрелять.

— Плохо. Хотя, если вас всерьез примутся убивать, одним револьвером не отобьетесь, тут и пулемета может не хватить.

— Господа офицеры, проблем чрезмерно много, в голове разом не помещаются.

Давайте есть слона кусочками. Начнем с немца. Он вам нужен непременно живым?

— Вообще-то, конечно, желательно: гауптман много знает. Но если не получится, я плакать не буду, — ответил Балашов.

— Хорошо. Не имею представления, каким образом буду его нейтрализовывать, положусь на импровизацию. И мне будет нужна связь. Желательно, с вами обоими. Это можно устроить?

— Да, вполне, — кивнул Васильев. — Запоминайте, записывать не надо... — и мне продиктовали приметы людей, которые передадут весть моим нынешним собеседникам.

Полчаса спустя, когда все детали были согласованы, офицеры принялись прощаться.

— Валериан Павлович, не откажите в просьбе, — попросил я, доставая бумажник. — Вот деньги, около двух тысяч. Заработал сегодня музыкой. Прошу, найдите способ передать их моим... моим детям.

— Непременно исполню, поклонился полковник.

— Не забудьте: мотор в восемь утра, — напомнил Балашов.

В восемь утра и впрямь у парадного меня ждало авто зеленого цвета. Герб фирмы-производителя смахивал на православный крест, а шильдик гласил: Lorraine-Dietrich.

— Что ж, ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству[2], — усмехнулся я вполголоса.

В машине, кроме шофёра, находился знакомый мне по Поцелуеву мосту штабс-капитан. На сей раз он был в кофейного цвета костюме, котелке и с подкрученными усами. А на заднем сидении сидел сам Балашов.

— Доброе утро, — приветствовал меня подполковник. — Что-то беспокойно мне, решил проводить. До Царского. Садитесь, Григорий Павлович.

Я примостился рядом с ним, кофр с гитарой — на колени. Тронуться не успели: из арки, пританцовывая, вышел то ли поддатый, то ли накокаиненный молодчик весьма лихого вида.

— Ух ты! — восхитился он. — Господа хорошие! На ахтымобиле! Да с утра пораньше! А позолотите ручку, господа, а? — он подходил все ближе. В паре шагов от Балашова с разбойника слетела вся игривость, а в руке блеснул нож.

— Лопатники гоните. Сюда. Быстро!

— Д-да-а-а... Сей-й-чаас... — заикаясь, заблеял Балашов и полез во внутренний карман.

Револьвер он выхватил моментально. Грохнул выстрел, налетчик повалился с дырой во лбу.

— Дворник! Дворник! — зычно крикнул подполковник.

— Я здесь, ваше превосходительство, — из дворницкой вылез перепуганный татарин.

— Падаль сдай в полицию, нам некогда. Будут спрашивать, кто шумел — все вопросы в штаб жандармов, к полковнику Васильеву. Ясно тебе?

— Так точно!

— Ну, поехали тогда.

Из газеты «День» от 12 сентября 1916 года

ТАИНСТВЕННОЕ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ МУЗЫКАНТА

В Петрограде самым загадочным способом исчез музыкант, исполнитель американских блюзов Г.П. Коровьев. Как рассказал нашему корреспонденту известный московский актёр и певец А.Н. Вертинский, в последний раз он видел друга на Фонтанке среди дня 11 сентября.

после чего тот внезапно исчез. Самостоятельные поиски результата не дали, и тогда актер обратился в полицию. Но в Адмиралтейской полицейской части г-ну Вертинскому было сказано, чтобы он прекратил интересоваться судьбою своего друга во избежание пагубных последствий. Г-н Вертинский особенно сокрушался тем, что Коровьев не услышит собственных песен, которые выходят на следующей неделе на пластинках Русского акционерного общества граммофонов.

[1] Сергей «Чиж» Чиграков, «О любви». С одной корректировкой под 1916.

[2] Отсылка к роману И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой телёнок»

Часть вторая. Я люблю буги-вуги!

Глава 11. Шесть пулевых, улыбка енота и трελά σκυλιά [1]

Уже на самом выезде из города нас перехватил жандармский офицер, оказавшийся курьером от полковника Васильева.

«Напрямую не идти ни в коем случае! Обратиться к фрейлине ЕИВ Анне Александровне Вырубовой, адрес в Царском: (...). Удачи, господа! В.В.», — гласило послание Валериана Павловича.

Балашов скорчил недовольную мину:

— Без него бы не догадались... Хотя да, не догадались бы, — со вздохом признался он через минуту. — Что-то я увлекся. — И, помявшись, спросил меня вполголоса: — Григорий Павлович, пока едем, расскажите еще про будущее? Основные моменты внешней политики хотя бы.

— Будущего нет, — покачал я головой. — Мне понадобилось некоторое время, чтобы это понять, но теперь я точно знаю: будущего нет. И если то, что уже случилось со страной и всеми нами, случится снова, отличий все равно будет немало. Потому надо сделать так, чтобы этих отличий стало еще больше. Как можно больше.

— Что вы имеете в виду?

— Давайте будем непредсказуемы? — предложил я. — От нас — ладно, не от нас, от Васильева, к примеру, ожидают, что он всего-то очередного чижика съест, а он — рраз! И устраивает масштабное кровопролитие. Меня спрашивают страждущие: «О, святой старче Распутин, как мне, сирому и убогому, достичь благодати и вкусить манны небесной?» — а я отвечаю: «Сорок два!» — ну, и так далее, в том же роде. И самое главное, Алексей Алексеевич. Никакого уныния! Уныние — тяжкий грех, вовеки не отмолите, это я вам как Распутин говорю! — и, насладившись смятением и скепсисом на лице собеседника, я демонически заржал.

На мой ржач обернулся недоуменный Денисов, но подполковник махнул рукой, и его младший коллега успокоился. Остаток пути, впрочем, проделали молча. Только на въезде в Царское Село Балашов словно очнулся от дрёмы.

— Сейчас будут Египетские ворота. Вот возле них мы вас и высадим — едва ли кто нас заметит, а лучше избежать лишних кривотолков.

Впрочем, у тех самых ворот нас было кому заметить: толпа не толпа, но человек с тридцать там кучковалось. Тусили они там не просто так: перед собравшимися стоял и говорил... Вот это удача!

— Ну, давайте прощаться, — протянул руку контрразведчик. — На рожон не лезьте, помните: ваша основная задача — опередить и, в идеале, нейтрализовать фон Нойманна.

— А чего его опережать-то, — ответил я. — Если не ошибаюсь, вот он, ораторствует.

С площади послышался смех, и чей-то ехидный голос громко выкрикнул: «Что, Гришка, обрили тебя немцы?».

— Да ладно... — произнес Балашов с такой интонацией, что я почувствовал себя в родном XXI веке. — Впрочем, давайте посмотрим.

Тут громыхнула пара револьверных выстрелов, в толпе завизжали. Балашов и Денисов рванули вперед.

...До отбытия оставалось немногим менее двух дней, и я решил провести их в Царском. Сентябрь — хорошее время для посещения Царского Села: шумные столичные дачники уже перебрались в город, а местные никогда не отличались ни шумностью, ни назойливостью. В тот день, проснувшись, по обыкновению, рано, я совершал утреннюю прогулку по аллеям и улицам, думая ностальгически о собратях на войне, неизбежно — об Аннушке, со смущенной тоскою — о Лёвущке. Сами по себе в голове возникали стихотворные строки, чтобы, вспыхнув на миг, вновь раствориться без остатка в мировом эфире. Так и дошёл до самых Египетских ворот, где внезапно обнаружил целый митинг. Собравшиеся относились, скорее, к мелкой обслуге, было и несколько ремесленников — так, я узнал подмастерье сапожника Геворка, у которого недавно поправлял сапоги. Наибольшее удивление вызвал оратор на этом митинге, ибо это был Распутин. Облаченный в монашеский подрясник, с изрядным крестом на пузе. Длинные волосы расчесаны на прямой пробор и стянуты шнурком, борода клочковатая и неухоженная. Облик его был несколько нарочит и карикатурен, доверия у меня ни малейшего он не вызвал. Тем более, что с Распутиным я виделся за несколько дней до того при экстраординарных обстоятельствах, вот как это вышло <...>.

Таким образом, я никак не мог принять подлинность пытавшегося завести довольно, впрочем, индифферентную толпу «святого старца». Однако же, стоило послушать, что этот клоун вещает.

— ...и тогда мы всем миром матушке-императрице челом ударим, и прекратит Государь по слову ее войну эту проклятую, и вернутся солдатушки с фронта, а матушка наша всех и кажинного землицей-то одарит! — ораторствовал «Распутин». Ему внимали не без интереса, но, с другой стороны, безо всякой присущей подобным сборищам ажитации.

Тем временем в облике Распутина я обнаружил одну презабавнейшую деталь, о которой, на беду свою, поспешил ему сообщить.

— Милостивый государь, — громко произнес я. — У вас, извольте знать, ус отклеился.

Ряженный вперил в меня тяжелый взгляд нарочито выкаченных глаз.

— Ага! Отродье офицерское, сатанинское! Русь святую кровушкой залить восхотел? — заорал он.

Но тем временем и второй ус последовал примеру первого, и в толпе послышались смешки, а после и дружный гогот — с хлесткими подначками, как исстари заведено в нашем народе. На псевдораспутина это оказало странное действие: он извлек откуда-то два револьвера, и, завывая проклятия, принялся с двух рук палить в меня. В секунду я был дважды ранен: в руку и в голень, и, уже падая, увидел, как от подъехавшего авто бегут два франтовато одетых господина с револьверами в руках.

— Нойманн, стоять! Брось оружие! — кричал Балашов. Остатки «толпы» стремительно разбежались во все стороны.

Фальшивый старец немедленно перенес огонь на подполковника. К счастью, промазал. Денисов припал на колени, ухватил «наган» обеими руками и максимально быстро разрядил весь барабан. Нойманн упал без движения. От ворот бежали двое караульных, срывая с плеч винтовки с примкнутыми штыками.

— Что-то нерасторопны вы, братцы, — покачал головой подполковник, предъявляя им документы.

— Виноват, ваше высокоблагородие! — хором гаркнули солдаты. — Но ничто же не предвещало... — жалобно добавил один из них.

— Да?! А стихийное сборище в двух шагах от царской резиденции — это вам фунт изюму?! Бегом марш на пост! О происшествии доложить по команде!

— Есть!

Контрразведчик подошел к валявшемуся «Распутину».

— Шесть пулевых. Изрядно стреляете, капитан, — произнес Балашов, сосчитав попадания, включая аккуратную дырку в виске шпиона. Парик с того свалился, стал виден ежик светлых волос. — Спасибо, Вадим Васильевич.

— Рад стараться, — привычно ответил Денисов и побежал к подстреленному офицеру. — Прапорщик, живой?

— Рука, нога. Остальное в норме, господин?..

— Штабс-капитан Денисов, регбюро Генштаба, — и крикнул водителю: — Ерофеев! Бинты тащи! Быстро!

Через полминуты подбежал водитель с бинтами, и с ним пришел еще один штатский.

— Григорий Павлович, — слабо ухмыльнулся Гумилев, — я был уверен, что это не вы в меня стреляли, — и потерял сознание.

Поэта перевязали, Денисов с водителем перенесли его в автомобиль.

— Откуда он вас знает? — спросил Балашов.

— Доводилось встречаться. Это Гумилев Николай Степанович, прапорщик Александровских гусар, а ко всему — известный стихотворец.

— Да, знаю такого, то-то лицо знакомое. Но, постойте-ка, вам теперь ведь нет нужды идти туда? Нойманн-то всё...

— Нужды нет, но есть необходимость. Вспомните, что я вам говорил. Логика подсказывает, что мне здесь делать нечего? Отлично, значит именно тут я и останусь. Время не терпит — раненого нужно немедленно в госпиталь.

— Видите вот эти здания в нарочито старинном стиле? Это и есть госпиталь, — до указанного им комплекса оставалось метров двести. — Но вы правы, давайте прощаться. Да, как начнутся улицы — сворачивайте влево на любую. Потом в первую направо — и до конца.

Авто с трупом немецкого агента в багажнике и раненым гусаром на заднем диване укатило в госпиталь, прямо навстречу бегущему отряду вооруженных людей. А я с инструментом и саквояжем с минимальными пожитками пошел искать нужный мне дом. Никуда не торопясь, гулял по Царскому Селу, припоминая, что в далекой юности, году так в 1989, бывал здесь, причем без экскурсии, — но, конечно, наибольшее внимание уделял парадному Екатерининскому дворцу с регулярным парком, и в меньшей степени дворцу Александровскому, который в ту пору пребывал в крайне запущенном состоянии, равно как и парк вокруг него. Про самую жилую часть, понятно, тогда и не думал, а вот сегодня было просто приятно насладиться погожим деньком в этом провинциальном малолюдном городке.

Эту медитативную прогулку нарушил своим печальным видом мальчишка-папиросник, попавшийся навстречу. Парень брел с таким лицом, будто всю родню схоронил, что, по нынешним временам, увы, более чем вероятно.

— А что, дружок, высший сорт есть? — окликнул я его.

— «Дружка[2]» нет, «Иры» тоже. «Герцеговина Флор» по восемьдесят копеек за двадцать штук, — мрачно ответил разносчик.

— Ну, давай тогда «Герцеговину», всю, что есть.

— Есть на четыре рубля, — отозвался он, доставая из заплечного короба папиросы в коробке.

— Ну, тогда держи, — я протянул ему пятерку. — И сдачи не надо.

— Спасибо, дядь, — шмыгнул носом мальчишка.

— Э, брат, гляжу, не весел ты.

— То дела домашние, — окончательно, если такое только возможно, посуровел он.

— Дела-то, может, и домашние, но унывать нельзя, никак нельзя. Страшный грех это.

— Дядь, ты поп., что ли?

— Я?! — вот уж удивил! — Дружище, разве ж я похож на попа? Да и будь я попом, неужто папиросы б покупал?

— Отец Сергей покупает, — пожал плечами папиросник. — И отец Илларион тоже. Всё им «Иру» подавай, понимаешь.

— Ну, да не будем обсуждать нравы духовного сословия. Давай так. Ты местный сам-то?

— Ну да...

— Так вот. Предлагаю выгодный обмен. Я тебе пою песню, а ты рассказываешь мне, как найти нужный мне дом. Идёт?

— Идёт, — во взгляде паренька появились удивление и заинтересованность.

Я достал гитару. Бегло проверил строй, подкрутил пару колков.

От улыбки хмурый день светлей,

От улыбки в небе радуга проснётся...

Поделись улыбкою своей,

И она к тебе не раз еще вернется[3].

— Никогда не слышал! Вот это дааа!

— Дяденька, а ты есё споёшь? — оказывается, пока я пытался улыбнуть хмурого торговца никотином, к нам подошли еще два ребенка, мальчик лет восьми и девочка хорошо ели пяти.

— Хорошо! Слушайте! — и я спел про Африку, где, как известно, горы воот такой вышины, а также непременно есть зеленый попугай.

Пока пел, аудитория снова прибавилась — и детишки подбежали, и пара взрослых полошла. Так что дал я целый концерт, где прозвучали, наверное, все невинные детские песни, сидевшие в моей голове — куда более обширное пионерское наследие по понятным причинам пришлось оставить за кадром. Главным хитом стала песня про Антошку со всеми его тилитилями и траливалями: в третий раз ее пели все без исключения, хором. А потом пришел городской и, смущенно извиняясь, попросил балаган прекратить, потому как рядом госпиталь, где «господа раненые страдать изволят». Я подивился такой формулировке, но перечить не стал. Тем более, что детвора и так уже была вполне удовлетворена, перебирать не стоит.

— Ну, я свое обещание выполнил, — укладывая гитару в кофр, сказал я мальчишке с папиросами. Грусть его развеялась, лицо светилось радостью. — Теперь Расскажи-ка мне, как пройти на угол Средней и Церковной?

— Ой, так вам тётенька Аннушка нужна? — удивился паренек. — Так это просто...

Дело кончилось тем, что к «тётеньке Аннушке», которая, оказывается, почиталась здесь

как человек исключительной доброты, и дети, и взрослые проводили меня всей толпой. Но довести до конца свою миссию не сумели: я обратил внимание, что уже некоторое время нас сопровождает несколько казаков, довольно бурно дискутируя на ходу. У меня быстро появились нехорошие предчувствия относительно предмета их спора, и, когда они решительно подошли к нашему детсаду на прогулке, убедился в своей правоте.

— Эгей, детишки, а что это вы тут делаете?

— А мы дядю Гришу к тёте Аннушке ведём!

— Дядя Гриша хороший!

— Он песни поёт!

— Ну, ну, угомонитесь, пострелята. Бегите по домам, нам ваш дядя Гриша сначала в другом месте нужен. А потом мы его сами доведем.

— Вы тоже хотите песен послушать, дядя казак?

— Очень хотим, ребяташки, — подтвердил казак, и детишки передали меня царским охранителям.

— Молчать. Идти с нами. Сумки сюда, — сквозь зубы процедил «дядя казак», едва мы отошли подальше от моих провожатых.

— Закурить можно?

— Молчать, сказал.

Довольно скорым шагом, в полном молчании меня вывели из поселка. Пройдя по дороге между госпиталем и дворцом, в скором времени свернули влево и углубились в парк. Несколько раз по пути встречались посты охраны, но никто казакам вопросов не задавал. Наконец, в достаточно укромном и полностью безлюдном месте процессия остановилась. Старший развернулся ко мне и резко ударил под дых. Еще двое мгновенно повисли у меня на руках.

— Сейчас ты, падла, за все ответишь, — прошипел казак и еще дважды ударил меня. — И за шагни с немцами, и за брата моего, в Шушарах расстрелянного. За сколько серебрянников Россию продал, иуда?!

— Прекратить! — хлестнул властный женский голос. — Что здесь происходит?!

К нам присоединилась... сестра милосердия. Не видел, откуда она появилась, но шла стремительно, и во всей ее фигуре, несмотря на одеяние, сквозила именно властность и привычка повелевать.

— Что сделал этот человек? Он мне, как будто, знаком.

— Магушка, не мешай, — попросил казак. — Он же немцу Россию продал ни за грош, министров своих повсюду распихал, брата моего убил... Нету у империи врага злее Гришки Распутина!

— Ну-ну, продолжай, продолжай. И Россию он продал со мной вместе, не так ли? И государя мы с ним погубить удумали, и править самовластно, так ведь? А про непотребное что ж не упомянули, раз начали грехи перебирать? Ну? Не слышу!

Императрица решительно встала рядом со мной.

— Казаки, если уж даже вы поверили в эту ахинею, то мне точно жить незачем. Давайте, стреляйте обоих.

— Но...

— Хорунжий, отставить! — на сцене появилось новое действующее лицо: к нам быстрым шагом приближался офицер. — Ваше императорское величество, сотрудниками армейской контрразведки у Египетских ворот при попытке вооруженного сопротивления

застрелен агент немецкого генштаба гауптман Иоганн-Готлиб фон Нойманн, пытавшийся выдать себя за известного вашему величеству целителя Григория Распутина. При сем ранен оказавшийся рядом случайно гусарский прапорщик Гумилев, он уже помещен в Михайловский госпиталь. По данным контрразведки, происшествие в Шушарах устроил именно немецкий офицер.

— Благодарю, Сергей Иванович, будет полезно узнать всё это дело целиком, — кивнула императрица и приказала, обращаясь к казакам: — Самовольные дознания прекратить. Гостя, — она выделила это слово, — бережно сопроводить во дворец и устроить в гостевых комнатах, — ей никто не возразил, и последнее она сказала лично мне: — Милостивый государь, жду вас сегодня к чаю.

И Александра Федоровна поспешила обратно в госпиталь.

Едва позавтракав, он вернулся к пианино, которое нещадно мучал добрых полночи. К исходу часа, по мнению музыканта, что-то всё-таки получилось, и тогда он поспешно вскочил, длинным прыжком переместился за стол, выбрал из нескольких исчерканных листков один. Перечитал внимательно, зачеркнул три строчки, написал еще несколько, вернулся к инструменту. Заиграл энергично.

Это стук. Это свет. Это тьма. Это крик.

Это сон без сна, это как привык.

Это как сумел — то ли здесь, то ли там,

Это стук колес по вискам, по костям.

Мы молимся боли, словно богине —

Раненый на морфии, сестра на кокаине.

Санитарный поезд, санитарный поезд...

Это взрыв. Это пуля. Это бег. Это грязь.

Это бред. Забытье. Это смерть через раз.

Шорохи под кожей, стук колес по костям —

Расскажи мне, Боже, где я — здесь или там?

Но лучше сдохнуть в поезде, чем на чужбине —

Раненый на морфии, сестра на кокаине.

Санитарный поезд, санитарный поезд, санитарный поезд, санитарный поезд [4] ...

— Саша, хорошо как! Но чудовищно натуралистично, — с некоторой укоризной произнес женский голос.

— Да, хорошо... наверное, — вздохнул Александр Николаевич. — Но всё же не то. Совсем не то.

— Смотри, твое объявление вышло в газете.

Вертинский взял в руки свежий номер «Русского инвалида», прочел вслух:

— Разыскиваются сведения относительно Летова Игоря Федоровича, возможно поступившего в войска из Омска либо Томска либо соответственных губерний. Сведения просьба телеграфировать на московский почтамт г-ну Александру Вертинскому, до востребования, — сложил газету, снова вздохнул. — Да, скоро в Москву.

— То есть как это «сбежал»? — взъярился князь Юсупов. — Кто ему позволил?!

— Ээээ... Вы не распорядились насчет держать под замком, ваше сиятельство. К тому же, он сколько раз отсутствовал в городе — и возвращался.

— На квартире его смотрели?

— Точно так-с, нет его там. Зато полиции у дома — хоть отбавляй, — пожаловался слуга. — Говорят, какой-то лиходеи с утра хотел военных ограбить.

— Да ну? — не поверил князь.

— Именно что-с!

— И как?

— Проедсказуемо-с: из револьвера в лоб с пяти шагов...

— Мда. Но запомни: он нам крайне нужен. И, желательно, пока живым. Но если живым не получится — главное, чтоб не ушел никуда. Вечером, попозже навести квартиру еще раз.

— Будет сделано-с!

Пуришкевич встал из кресла, взял графин, разлил по бокалам коньяк.

— События становятся все страннее. Мои люди провели рискованную акцию, но своего не добились: Распутин от них ушел. Но штука в том, что его там вообще не должно было быть, и, вроде бы, в это время он вообще у вас в саду сидел. Ничего не понимаю.

— Владимир Митрофанович, вся эта мистика у меня в печенках сидит, вместе с его предсказаниями и анархистскими разглагольствованиями про "социалистическую империю". Но план, слава богу, давно есть, и уже исполняется. Что там с вашим водевилем про ревнивую императрицу?

— Люди уже выехали в это, как его, Покровское, затруднений там не вижу.

— Отлично, сударь, отлично. Ну, за наш успех!

Скромная комнатка Коровьева на Крюковом решительно не предназначалась для такого количества посетителей. Но имевший в своем распоряжении несколько куда более комфортабельных конспиративных квартир полковник Васильев отчего-то решил проводить потайное совещание именно здесь. Сам Валериан Павлович снова оккупировал стул, того же ведомства подполковник Беклемишев демократично сел на тумбочку, а на кровати умудрились уместиться ротмистры Потоцкий и Басманов-второй, да двое представителей контрразведки: подполковник Балашов и штабс-капитан Денисов. Васильев, как старший по званию, председательствовал. Представив присутствующих друг другу, он начал:

— Итак, господа офицеры. Прежде всего, давайте определимся, на каком иностранном языке можем говорить мы все? Мы во внезапном месте, но давайте исходить из того, что уши есть у любых стен.

Посыпались доклады. В итоге выяснилось, что всем знакомы латынь и греческий. Подкинули монетку, и полковник продолжил значительно медленнее, вспоминая слова языка потомков Гомера и Эсхила. Непредусмотренные древним языком термины он озвучивал на испанском или английском.

— Итак, я разговаривал по отдельности с большинством из вас. То, о чем мы говорили, на деле оказалось явлением куда более серьезным. И времени, как оказалось, почти не осталось. Собственно, даже без «почти» — оно уже убегает в отрицательные величины. Все новые и новые данные подтверждают печальную картину: в привычном виде империя существовать более не может, и дни ее сочтены. Сразу несколько объединений разнонаправленных сил готовят мятежи. Эта разнонаправленность в сочетании с прочими факторами может привести к тому, что государство просто разорвет — что, конечно же, недопустимо и чего необходимо избежать, как я считаю, любой ценой. Господа офицеры, главное решение, организационное решение, тот импульс, который начнет всё — его надо

принять здесь и сейчас. Отчизна, Родина, Империя — она превыше всего. И если для неё нужно отдать жизнь и поступиться дворянской честью — мы обязаны это сделать, господа.

— Осмелюсь напомнить, что для большей массы российского дворянства мы — парии, — встрял Беклемишев. — Они скорее пожмут лапу любому псу, кроме, разве, бешеного, нежели руку жандарму. Но на кону судьба России, и я согласен с тем, что ради нее необходимо отринуть любые условности и пойти на всё. Я безусловно с вами, Валериан Павлович.

Остальные вразнобой высказались в том же ключе.

— Отменно, — подытожил Васильев. — Тогда приступаем к разработке операции... операции «Бешеные псы». Поспешности стоит избегать, но и любое промедление губительно, так что зазор невелик. Начнем сверху вниз. Итак, их высочества великие князья...

В дверь постучали.

— Да? — как ни в чем не бывало спросил полковник.

— Григорий Павлович, от князя Юсупова я! Их сиятельство беспокоиться изволят-с, просят непременно прибыть!

— Входи, мой дорогой! — бодро позвал жандарм.

Дверь отворилась, в комнату зашел невысокий невзрачный мужчина — и замер, зачарованно глядя на пять направленных на него револьверов.

— Любезный, — негромко произнес Балашов. — Закрой-ка дверь. И без резких движений.

[1] Бешеные псы — *греч.*

[2] Марка папирос в дореволюционной России, отсюда нечаянный каламбур.

[3] Песня «Улыбка». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского. Дочь автора встретила как-то группу китайских студентов, которые на полном серьезе говорили, что и эта песня, и мультфильм «Крошка енот», где она впервые прозвучала — ключ к пониманию «загадочной русской души». После чего хором исполнили «Улыбку».

[4] Текст автора, появившийся в процессе написания этой главы.

Швыбзя, Тютя и другие удивительные существа

Чем занять себя дорогому другу Гришке Распутину в ожидании файв-о-клока у императрицы, имея в виду, что часы показывают два пополудни? О, было бы желание, а занятие същется.

Для начала постарался прояснить вопрос с провожатыми: чем это таким я успел насолить казакам, что они всерьез вознамерились отправить меня к Джимми Хендриксу, опередив в этом вопросе незабвенного Пуришкевича? Вопрос, сами понимаете, не праздный: жить отчего-то хочется, и чем дальше, тем больше. Здесь скучно и, будем честны, страшно, но... Знаете, мне отчего-то нравится быть тут — где Саше Вертинскому снится бесконечный санитарный поезд, а храбрый Коля Гумилев одинаково хорошо действует и добрым словом, и револьвером. Мне на первую юность досталось довольно поганое время, да и на нынешнюю — а стоит вспомнить, что «родился» я тут всего-то неделю назад! — и на нынешнюю «юность» время выпало как бы не еще хуже. Но рядом с такими ребятами, как два эти поэта, как Балашов, как жандармский полковник, хочется жить и делать что-то хорошее, а не бухать с перепугу четырнадцать лет кряду, как я после крушения страны.

— Господа, пока вы меня провожаете, давайте расставим точки над «и», «ё» и другими буквами, где зачем-то могут понадобиться точки, — предложил я казакам. — Возможно, я даже соглашусь с вами, что повинен смерти, но хорошо бы знать, за что именно.

— Давайте я отвечу на ваш вопрос, сударь, — начал офицер. — Полковник Оладьин, честь имею. Суть проста: наслушавшись газетных сплетен, казаки их императорских величеств лейб-конвоя самовольно, не ставя старших по команде в известность, решили, ни много ни мало, спасти Империю, расправившись с главным виновником всех бед — то есть вами. Для этой цели они приехали в Петроград... — и он изложил мне вполне ковбойскую историю про лихих казаков и пулеметную засаду в Шушарах. — Так что зуб на вас они наточили действительно огромный, не зная ровно две вещи: первое, что охотились они не на вас, а на немецкого офицера, и второе, что ничего из того мракобесия, что приписывают вам, милостивый государь, в реальности не происходило.

— Как же не происходило, господин полковник! — взвился хорунжий. — Все ж газеты пишут, и в обчестве все разговоры только об том и идут!

— Хорунжий Подобед, вы ведь постоянно несете службу при особах их императорских величеств?

— Так точно!

— Тогда ответьте мне на два вопроса. Первый: сколько раз и когда именно господин Распутин бывал в сем году в царском дворце?

— Один раз, господин полковник. В марте месяце, как цесаревич болел.

— И второй: уезжала ли государыня в Петроград так, чтобы вы не знали, где и с кем она встречается?

— Никак нет, господин полковник! — бодро отрапортовал казак, и тут в его глазах мелькнуло понимание. — Ваше высокоблагородие! Так это что же получается?!..

— А то и получается, господин хорунжий, что вместо того, чтобы просто минуту подумать, сложить, так сказать, два с двумя и ожидаемо получить четыре, вы угробили пять человек, да в итоге самой императрице угрожали! И что теперь с вами делать? — на

редкость спокойно для такой ситуации спросил полковник, и повисла тишина, нарушаемая лишь шорохом наших шагов.

— На всё воля ее императорского величества, — упавшим голосом ответил казак.

— Вот именно, — подвел Оладьин итог беседе и открыл передо мной дверь во дворец. — Проходите, Григорий Ефимович. Сейчас передам вас по команде местным распорядителям. Отмечу лишь, что видел вас некогда, и вы с тех пор сильно изменились.

— *Tempora mutantur*, — пожал я плечами. — *Et nos mutamur in illis*[1].

— Мда-с, — протянул полковник, вероятно, припоминая прежнего Распутина.

«Местный распорядитель» определил меня в недурственные, хотя, наверное, скромные по местным меркам, апартаменты, принес легкий перекус, пепельницу и кофейник. Узнав, что свобода моя никоим образом не ограничена, я, перекусив, взял гитару и вновь отправился в парк, попросив дворцового человека предупредить меня, когда будет без четверти пять.

Вот странно. «Детский концерт» я отыграл — часа же еще не прошло, а руки тянутся к инструменту. Ну, а если тянутся, так чего б не сыграть? Скамейки в парке изредка встречались. Не так часто, как в мое время — ну так это и не общедоступная «рекреационная зона», а частное владение, поэтому «малые архитектурные формы» на каждом шагу здесь были бы излишни. Найдя лавку, сел и заиграл — без слов, просто для себя, вокруг никого, — не имея в виду ничего конкретного, перескакивая с *Shine on you crazy diamond*[2] через *Since I've been loving you*[3] на *I put a spell on you*[4] и обратно. Тут чьи-то нежные ладошки закрыли мне глаза.

— А спе-е-еть? — промурлыкал девичий голос.

— Это можно, — ответил я. — Желаете чего-нибудь романтического?

— Вот уж нет! — фыркнула невидимая девушка. — Оставьте сопли в сиропе для кисейных барышень с тонкой душевной организацией. Тютя[5]! Иди сюда, нам сейчас песню споют! — Тут я снова обрел способность видеть, хотя собеседница на глаза пока так и не показалась.

— Ну, без романтики, так без романтики, — согласился я, и, покопавшись в памяти, начал:

Верю я: ночь пройдет, сгинет страх.

Верю я: день придет — весь в лучах.

Он пропоет мне новую песню о главном,

Он не пройдет, нет — лучистый, зовущий, славный

Мой белый день![6]

— Прекрасная песня, наш дорогой друг! — воскликнула девушка и захлопала в ладоши. К ней присоединилась еще одна слушательница, тоже за моей спиной. — Но крамо-о-ольная...

— Чаще всего крамола не в устах певца, а в ушах слушателя, ваше императорское высочество. Ну, это если «Марсельезу» не иметь в виду.

— А чего так официально-то? — несколько обиженно произнесла девушка, выходя передо мной. — «Высочество»... Это ж я, Швыбзя[7]!

— Вы первая начали, милая Швыбзя. Ну, к чему этот пафос? «Наш дорогой друг!» — передразнил я ее.

— А как надо-то? — окончательно растерялась Швыбзя.

— «Дядя Гриша» — вполне достаточно, — заверил я принцессу.

— Но, дядя Гриша, — возразила вторая девушка, появляясь передо мной, — вы же поёте про «сгинет страх»! Это значит, что сейчас плохо и страшно, а будет хорошо, надо только верить...

— Безусловно, можно трактовать и так, дорогая Тютя, — согласился я. Убей не помню, как звали дочерей Николая, так что придется оперировать ставшими мне известными домашними прозвищами. — Но конкретно в тексте речь явно идёт о душевно расстроенном человеке, который просто боится ночной темноты и выдумывает себе всякое, уж не знаю, зачем. Поверьте, встречал таких людей, и не раз. А досужий слушатель любую историю в своей голове может повернуть как угодно — от посягательств на устои до чего-нибудь совершенно непристойного. К примеру, один мой приятель написал как-то песню про мо... парижское метро. Вы знаете, что такое метро?

— Да, конечно.

— Ну, так вот. Париж, как вы тем более знаете, нередко сравнивают с библейским Вавилоном. Так он и спел: «У нас, в Вавилоне, лучшее в мире метро!», имея в виду ровно то, что спел. А его обвинили в нагнетании панических настроений в ожидании налетов германских цеппелинов — вроде как, метро — наилучшее убежище от бомб[8].

— Вот ведь чушь какая, — передернула плечиками Швыбзя.

— Именно, что чушь. Так и я спел вам про то, что ночью спать надо, а не терзать голову придуманными ужасами, и, заметьте, никакой крамолы.

— Швыбзя, круг преследователей сужается, — предупредила Тютя, имея в виду, что к нам с разных сторон приближаются охранники и всякие положенные царевнам мамки-няньки.

— Вижу, — процедила та. — Дядя Гриша, а вы, верно, не сразу уедете?

— Не знаю, — честно ответил я. — Ваша матушка изволила пригласить меня на чай. А там — как прикажет.

— Тогда увидимся, — кивнула девушка, и, взяв сестру за руку, побежала навстречу свите.

А я, не обращая внимание на всю эту суету, вновь заиграл. Мне надо очень многое обдумать.

Девушки, взявшись за руки, шли ко дворцу. Сопровождающие держались на почтительном расстоянии.

— Швыбзя, я ничего не понимаю, — задумчиво проговорила Мария. — Это не наш друг. Но... это он!

— Я читала в газетах, что он сильно изменился, и, возможно, сошёл с ума, — задумчиво ответила Анастасия. — Но ты права: это будто и не он вовсе. Не поверишь: мне с ним совершенно не хочется шалить! И... я стесняюсь, — добавила она еле слышно.

— Ты?! Точно не поверю! Но да, разве похож он на сумасшедшего?

— В том и дело, что нет. И песня эта... Красивая, да. Но и бунтарская. А наш друг бунтарем никогда не был прежде. Ты как хочешь, Тютя, но здесь какая-то тайна. И я её раскрою! Ты со мной?

— Как всегда, — с улыбкой вздохнула старшая сестра. — Располагайте мною, ваше императорское высочество!

Едва казаки с чудесным дядькой-песенником отошли шагов на двадцать, Васька скинул

короб, лоток, и, оставив двух пацанят сторожить все это богатство, что духу припустил к тому самому дому, что на углу Средней и Церковной. Вот и дверь.

— Тётя Аннушка, тётя Аннушка! — забарабанил в преграду мальчишка.

Дверь открыла горничная.

— Что вам угодно, молодой человек?

— Там к тёте Аннушке дядя Гриша шёл, который с гитарой, он нам по дороге песни пел сказочные, а потом пришли казаки и увели его в сторону дворца! — выпалил Васька на одном дыхании.

— Соня, что там за шум? — послышался голос из глубины дома.

— Подожди-ка здесь, — велела Ваське горничная, прикрыв дверь. — Минуту, Анна Александровна!

Примерно через эту самую минуту горничная вернулась, погладила Ваську по голове и дала целый пятак.

— Спасибо тебе большое. Ступай.

Вырубова задумчиво смотрела в окно.

— Одеваться? — спросила Соня.

— Пожалуй, нет. Свари мне кофе, пожалуйста. Думаю, просто нужно немного подождать.

Она оказалась права: и часу не прошло, как прибыл посыльный от ее величества, принес по-английски написанную записку: «Дорогая Энн! Жду тебя нынче к чаю. А.»

Солнце било в глаза, слева то тут, то там блестела старица Туры. Копыта грохотали, пыль клубилась над трактом; кучер в коляске нахлестывал коней. Но, хотя у беглецов и было два часа форы, погоня приближалась: пятеро конных мчали галопом, неуклонно сокращая расстояние.

— Ваше... благородие... — задыхаясь, крикнул казак скакавшему впереди поручику. — Стреляй! Кони вот-вот падут!

Поручик понимал, что гонка не может длиться вечно. Остаться на проезжем тракте в полусотне вёрст от Тюмени — не та беда, но коней жалко. И, главное, не упустить бы убийц!

Вытащил револьвер. Первый выстрел — в «молоко», второй — туда же. Пассажир коляски ответил шестью выстрелами, все, по счастью, прошли мимо. Поручик попытался прицелиться, подловил момент, выстрелил. Попал в лошадь, животное вскрикнуло и сбилось с аллюра...

Уже почти настигнув беглецов, поручик выстрелил в руку тому, кто отстреливался — тот как раз перезарядил револьвер и собирался продолжить отстреливаться, но теперь шансов у него стало куда больше. Казачий урядник, догнав замедляющуюся коляску, вытянул нагайкой возницу по лицу.

— Вылазь... душегубы. Приехали!

Швейцар в доходном доме на Фонтанке, увидев, кто идёт, распахнул дверь, согнулся в поклоне:

— Доброго вам дня, Фёдор Иванович!

— Благодарствуй, братец! — одарил его гривенником Шаляпин и прошествовал в парадное.

— Сергей Васильевич дома, второй день петъ изволят-с! На всю Фонтанку слышать! —

доложил ему вслед отставной унтер, ныне вполне безбедно служащий при дверях.

— Чего это Рахманинов у меня хлеб отнимать затеял? — недоуменно пробормотал Фёдор Иванович, поднимаясь по лестнице.

А в квартире у композитора дым стоял натуральным столбом — войдя в творческий раж, тот курил едва не со скоростью пулемета. И да, он пел! Раскатистым своим басом, слова, правда, сочинял на ходу, не иначе.

А нынче встал я спозаранок,

И мне с похмелья мир не люб.

У Розенштайнера в ломбарде

Я заложил последний зуб —

Всё это правда, мама, но я к иному не стремлюсь.

Как уважать себя заставлю — тебе останется мой блюз!

Далее последовало могучее крещендо, и Рахманинов бросил клавиши.

— Ага! — взревел интеллигентнейший композитор голодным людоедом. — Фёдор Иваныч! Вот вас-то мне и надо!

Шаляпин обомлел. Рахманинов слыл натурою, порой, увлекающейся, но таким он его ещё никогда не видывал.

— Сергей Васильевич, что это с вами?..

— Здравствуйте, дорогой мой! Сейчас всё расскажу.

— Только, умоляю вас, выпустите из комнаты этот дым — вечером в Мариинке царя Бориса давать, петь же нечем будет!

— А, да! — распахнул Рахманинов окно. — Идёмте-ка пока в гостиную. Так вот, позавчера выпал мне случай побывать у князя Юсупова в саду, где давали необычайный концерт. Гитарист — не слишком, впрочем, виртуозный, — никому прежде неизвестный, по дурацкой фамилии Коровьев, играл новую американскую музыку. «Блюз» называется. По сложности — ну, на уровне частушек, что мужики да бабы по деревням поют. Да, по сути, изначально-то это как раз частушки и есть, но на заморский манер. Если наши стараются что-нибудь такое позабористее сочинить, то там как-то всё больше убиваются по тоскливой жизни своей. «Ой, я родился нищим, кривым и косым, денег нет, хожу босиком, работы нет, жена дура, зато четырнадцать детей и все живем под мостом», как-то так, насколько я понял. Но так он — я про Коровьева — интересно и со вкусом подал эту простейшую музыку, что, веришь ли, я загорелся. Теперь думаю, как половчее вплести в наше, местное. Он, Коровьев, кстати, очень верно сказал: к нам в Россию какую скукотень ни занеси — мы ее непременно раскрасим, и чудо-вещь будет. Мы с полчаса, пожалуй, вдвоем с ним музицировали, а потом еще поговорить успели, пока не налетели литераторы и не утащили его водку пить.

— Любопытно, — Шаляпин заинтересовался. — А я-то здесь зачем?

— Да вот, Фёдор Иванович, хочу попробовать этот самый блюз исполнить в нашей классической традиции, да с голосом, но не абы каким, а настоящим, ставленным, академическим. Поможешь?

— Ну... наверное, можно попробовать.

— Пойдём, пойдём!

— Да там...

— Выветрилось уже, точно говорю! — Рахманинов ухватил Шаляпина за руку и буквально силком утащил за собой к роялю. Дышать и впрямь стало легче. — Я буду играть,

а ты пой давай. Вот на такой примерно, — он наиграл, — мотив.

— Да что петь-то? Слова где, Сергей Васильевич?

— Слов нет пока, из головы сочини. Тут ведь главная идея какова: это песня про то, как хорошему человеку плохо. Ты, Фёдор Иванович, человек не просто хороший, а, без лести скажу, великий. Так что давай-ка пой про то, как тебе плохо.

Не сразу и небыстро, но втянулся певец, поймал кураж.

А у Рахманинова тучи

Клубятся в комнате его.

Дышать я дымом не приучен,

Да и не вижу ничего.

Теперь покой мне только снится, не подведу ли нынче хор?

Как я спою царя Бориса, словлю ли мордой помидор?..

И долго ещё над Фонтанкой разносились раскаты хохота двух гениальных хулиганов.

До бесконечности куковать в парке я не собирался, и потому вернулся в предоставленное мне жилище, по пути раздобыв газету. Оказался «Русский инвалид», и в ожидании высочайшей аудиенции я прочел его от корки до корки. Нашел там и Сашино объявление — он с упорством, достойным лучшего применения, всё искал человека, который родится еще только через половину столетия. Вот же подсел человек на Летова! Подумав, спросил письменные принадлежности, и записал еще несколько песен. Нотами — только мелодию. Чай, Вертинский сам себе молодец, аранжировку уж как-нибудь напишет. Покончив с этим делом, попросил лакея отправить это всё в Москву Вертинскому до востребования и решил сбегать на перекур, но тут приключилось пять часов, и за мной пришли. Подумав, пошёл с гитарой.

Императрица вышла из образа сестры милосердия, и принимала меня в «штатском», то есть в платье. Кроме нее в комнате находилась незнакомая мне женщина и — сюрприз! — та самая зрительница, что не сводила с меня глаз, будучи на концерте в инвалидной коляске. Теперь она сидела в обыкновенном кресле, но рядом стоял костыль. Сложив два и два, догадался, что, скорее всего, это к ней я шел от Египетских ворот, пока меня не повинтили не в меру инициативные казаки.

— Ваше императорское величество, — поклонился я. — Анна Александровна, сударыня...

— Меня зовут Юлия, Юлия Ден, Григорий Ефимович. Мы были представлены, — в ее голосе прозвучала укоризна.

— Лили... — тихонько произнесла Вырубова.

— Присаживайтесь, наш друг, — кивнула императрица. Лакей разлил чай. — Присаживайтесь и расскажите, кто вы и что с вами случилось?

— Благодарю, Ваше величество. Прежде всего, прошу прощения за, возможно, излишне вольное послание, что отправил вам пятого числа. Признаться, был не вполне в себе от стремительности перемен, произошедших со мною.

Императрица посмотрела на меня с крайним удивлением.

— Григорий Ефимович, вам писала я, — сказала Вырубова. — Я была тогда во дворце, и, когда позвонили с Гороховой и наплели про вас бог весть что, написала записку и отправила с курьером. Можете себе представить, что я испытала, получив в ответ пространное письмо на английском, причем курьер божился, что видел, как вы написали его

самолично!

— Что за письмо? — спросила Александра Фёдоровна.

— Я думаю, мы до него дойдем, но не угодно ли вам узнать с самого начала, что же со мной произошло? — я понял, что Вырубову пора выручать: времена тяжелые, ещё подумает матушка-царица, что та за ее спиной интриги плетет...

— Да, МЫ слушаем. — Вот теперь передо мной точно императрица. Держись, Гриня.

— Я проснулся утром пятого сентября в состоянии полного непонимания, где я, и, главное, кто я. Слуги помогли определиться: я — Григорий Ефимович Распутин, нахожусь в Санкт-Петербурге, в квартире на Гороховой. Но и всё на этом. Кем я был, что делал, кого любил, с кем дружил, с кем враждовал — всё это навсегда исчезло из моей памяти. Зато я оказался музыкантом, умеющим играть песни на американский манер, и, к тому же, знающим немало таких песен. Вот, например, послушайте, ваше императорское величество.

Сотвори мысли мои из листьев,

Сделай одежды мои из дождя,

Уложи меня в быструю лодку,

Толкни на середину реки.

Пусть, я забуду названья предметов,

Пусть, я забуду имя своё,

Моя душа, подобно туману,

Пусть отлетит от воды[9]...

Я, повторюсь, не имел представления о предыдущей жизни, но то, что я о себе узнал в течение первого полудня в этом новом качестве, повергло меня в ужас. Не стану пересказывать всю ту гадость, что пишут о Распутине газеты, скажу лишь, что мне отчаянно не хочется верить, что это всё было со мной. Но, коль скоро желание господина Пуришкевича убить меня выглядело совершенно искренним, пришлось принять за правду, что в газетах не очень-то и привирают. И поэтому, получив письмо с «тем самым», как его охарактеризовала прислуга, курьером, я был убежден, что оно от вас, ваше императорское величество, и ответил, что ноги моей больше во дворцах не будет, после чего пустился в бег. Мне хотелось одного: просто петь для людей. Да и сейчас хочется того же, честно говоря: всё равно я больше ничего не умею.

— Но почему по-английски? — вырвалось у Вырубовой.

— Очень просто, — посмотрел я на нее. — Не будучи искушен в современной орфографии, я боюсь перепутать «ер» с «ятем», совершенно не имею представления, в каком случае какую «и» нужно писать и так далее. Ненавижу писать безграмотно. С английским проще: его я знаю вполне прилично.

— С каких это пор? — быстро спросила императрица. Что характерно, по-английски.

— Понятия не имею, — ответил на том же языке. — Вероятно, с пятого сентября сего года.

— А что насчет ваших былых способностей?..

— Мне ничего не известно о них, ваше величество, — ответил я честно. — Вполне допускаю мысль, что в нужный момент они проявятся. Но не менее вероятно и то, что кроме как песни петь, я ничего больше действительно не умею. А обманывать вас, государя, да вообще кого угодно — считаю невозможным.

— Ступайте, пожалуй, — произнесла Александра Фёдоровна уже по-русски, держась обеими руками за голову. — Мне нужно как-то обдумать это всё. Только ещё один вопрос.

Вы в бога-то верите?

Я встал, поклонился императрице и дамам.

— Нет, — ответил и вышел. О том, что нет никакой нужды верить в того, с кем знаком лично, я предпочел умолчать.

[1] Времена меняются, и мы меняемся в них (лат.) — расхожее изречение, доставшееся в наследство от Римской империи.

[2] Песня группы Pink Floyd

[3] Песня группы Led Zeppelin

[4] Песня Screamin' Jay Hawkins

[5] Домашнее прозвище в.к. Марии Николаевны

[6] Песня «Верю я», автор текста — Игорь Сукачев. Песня стала знаменитой в середине 1980-х годов благодаря группе «Браво».

[7] Домашнее прозвище в.к. Анастасии Николаевны

[8] Реальная история, приключившаяся с автором в начале марта 2022 года. В оригинале, понятно, пелось про Москву.

[9] Песня «Другое небо». Автор текста — Евгений Варва. Исполняет группа «Станция Мир» + Вовка Кожекин + Иван Жук

Блины, тарарам и четверть фунта с сыром по-петроградски

Проснулся я не то, чтобы зверски голодным, но так, вполне. Вообще, надо бы поответственнее относиться к вопросам собственного питания — а то пока все как-то через пень-колоду получается, а я ведь не мальчик, такие эксперименты над организмом устраивать. Так что, приведя себя в порядок, осведомился у лакея, где и чем я смогу позавтракать. Выделенный мне в услужение добрый малый по имени Тимофей вывалил список из французских терминов и выразил готовность принести все, что душа пожелает. Душа, однако ж, знакомиться со всякими бланманже и деволями отказалась наотрез, но возжаждала блинов, потому я попросил просто проводить меня на кухню. Даже если это потрясает какие-нибудь основы — и хрен с ними.

Оказавшись на кухне, проникся, как тут все слаженно и увлеченно работают, изготавливая вот это самое французское на завтрак обитателям дворца, и принял решение обеспечить себя блинами самостоятельно. Я не фанат готовки и уж тем более не кулинарный блогер, просто всю сознательную жизнь живу один и готовить умею. Поэтому просто отловил поваренка и попросил принести мне сковородку, все потребное для выпекания блинов и обеспечить хоть на четверть часа доступ к плите — мне ж не на роту блинов напечь, а только для себя, любимого. Поваренок, подивившись господской прихоти, умёлся, а я завертел головой в поисках свободного передника: уделать костюм мукой и брызгами масла не хотелось. Тут что-то уткнулось в мою поясицу, а голос сзади прошипел:

— Очень медленно поворачивайся. Без резких движений!

Держа руки на виду, скрупулезно выполнил указание и обнаружил перед собой незнакомца в поварском переднике и колпаке. Только вместо шумовки или скалки он держал в руке небольшой пистолет, который теперь упирался мне в живот.

— Вот и амбец тебе, «святой старец»! — торжествующе изрек как бы повар.

Моё становление, как личности, прошло в эпоху видео. Сколько боевиков, детективов и триллеров я за свою юность пересмотрел — мама дорогая. И вынес из них четкое убеждение: в такой ситуации непременно надо поговорить. И чем дольше, тем лучше. В идеале — пусть злодей, истекая слюной, полчаса рассказывает, как он счастлив наконец-то добраться до такого беззащитного героя.

— Долго ловил-то? — спросил я.

— Долго, Гриша, долго! Все мы тебя искали и ловили, но удача улыбнулась мне — я знал, что ты под немкин подол вернешься, потому сюда и устроился. А ты... Ты, мразь, гнида, тварь! Ты... Я тебя...

Увидев, что эмоции перекрыли счастливому злодею остатки словарного запаса, я постарался вернуть инициативу.

— Долго, говоришь? Так и что с того? Вон, Илья Муромец, например, вообще тридцать лет и три года на печи сидел, все силу копил. Зато потом как слез с печи — тут уж никому мало не показалось. Кстати, ты знаешь, в чем отличие Ильи Муромца от Питера Пэна? Казалось бы — как много у них общего! Оба они наделены от природы волшебной силой, но оба живут в режиме ожидания. Не факт, что он продлится у них по-разному, — мы просто не знаем, начал ли Питер Пэн взрослеть через тридцать три года, — а вот Илья Муромец очень даже стал. Благодаря переходим каликам — это русская разновидность феечек, если

условно, — он мгновенно повзрослел ментально и духовно до своего реального возраста. Вполне возможно, что через тридцать три года после знакомства фея Диньдинь шепнет Питеру на ушко что-нибудь этакое, и он немедленно станет, например, адмиралом Ройал Нэви или, скажем, премьер-министром Британии, а? Но всё-таки, одно фундаментальное отличие между ними есть: Питер Пэн умеет летать, а Илья Муромец — нет, к сожалению! Да, к сожалению, потому что в парадигме рассматриваемого гипотетического катарсиса...

— Барин, вот ваша сковородка! — протянул мне подбежавший поваренок орудие приготовления завтрака. Повар-злодей очнулся от обалдения, в которое я успел его вогнать, и надавил на спусковой крючок своего «браунинга». За следующую секунду, пока он соображал, что перед стрельбой надо бы снять пистолет с предохранителя, я выхватил у поваренка сковородку и со всей дури пробил нападавшему по кумполу. Тот упал, выронив пистолет, который, разумеется, почему-то выстрелил. Вроде, никого не задело. Поваренок от неожиданности не удержал в руках все остальное, что принес мне, так что поверженного злодея засыпало мукой, поверх которых растеклись два разбитых куриных яйца. Надо отдать должное казакам: прибежали они быстро, фальшивый повар едва начал шевелиться. Вникнув в ситуацию, его они забрали с собой, не забыв про пистолет, а мне велели идти к себе и до особого распоряжения не высовываться. Я послушно поплелся обратно, по пути, правда, успел наскоро перекурить.

Хвала поварам — они не обрекли меня на голодную смерть! Едва полчаса прошло, а Тимофей принес мне стопку свежайших блинов, к ним прилагались плашки с красной икрой и медом, небольшой графинчик водки и кофейник. Водке, несмотря на утро, я обрадовался: кураж слетел, и уже ощутимо потряхивало, так что противошоковое — в самый раз. Едва успел подкрепиться и налил первую чашку кофе, как пришел давешний полковник.

— Присаживайтесь, ваше высокоблагородие. Доброго дня вам, господин полковник.

— Благодарю, — кивнул Оладьин, садясь на диван. — Позвольте поздравить вас с днём рождения.

— И вам не хворать. Только не кажется ли вам, что охрана исключительной важности объекта — обиталища августейшего семейства — как бы это сказать помягче... оставляет желать много лучшего? Я не о себе сейчас — застрелят — значит, так мне и надо. Но здесь же императрица, наследник, великие княжны, да и сам наш царь-батюшка. Насколько мне известно, предпочитает обитать именно тут. Как же так-то, а?

— По больному бьёте, — вздохнул Оладьин. — Но поделом, конечно. Напал на вас участник небезызвестного «Союза Михаила Архангела». Охрана уже усилена, и будет усилена ещё сильнее. Из Петрограда выехали жандармы, будут проверять весь персонал теперь. Я, собственно, зачем пришёл-то... Не поверите — извиниться. Хоть и не я, между нами, отвечаю за местную охрану, но на душе, признаться, погано.

Я вздохнул и налил ему водки.

— Выпейте, полегчает. Мне вот полегчало. Ну, почти. А теперь послушайте один коротенький вальсок, а потом пойдём покурим.

На рассвете — огненный вал,

До полудня — случится атака,

Кто там в карты вчера проиграл,

До отбоя неважно, однако.

Нам японцы в маньчжурских стенах

Приоткрыли иные миры,

Где смерть легче пера,
А долг тяжелее горы.
По колено в болотной воде,
По Мазови, проклятой Богом,
От беды — сквозь победу — к беде,
По приказу, без сна, без дороги...
Но мы правила этой игры
Зазубрили ещё в юнкерах,
Где долг — тяжелее горы,
А смерть — куда легче пера... [1]

— Спасибо, — просто сказал полковник Оладьин.

— Идёмте курить, — ответил я.

А на перекуре нас настигли сногшибательные известия. К полковнику подбежал молоденький подпоручик и, козырнув, молча вручил ему газету. Полковнику хватило секунд десять, после чего он затейливо выругался и передал «Петроградский листок» мне.

Династия князей Юсуповых пресеклась!

Ужасное несчастье произошло минувшей ночью. По неизвестной пока причине на набережной Мойки до тла сгорел дворец князей Юсуповых. В четвертом часу утра дежурный на каланче Адмиралтейской части увидел зарево в направлении Исаакиевского собора. Немедленно были высланы пожарные под общим командованием брандмейстера А. Сухаго. Прибыв на набережную Мойки, они, к ужасу своему, узрели Юсуповский дворец, объятый пламенем от края и до края. До глубокого утра продолжалась беспримерная борьба с огненной напастью, на помощь присоединились команды иных частей Петрограда. По завершении тушения, ко всеобщей скорби, были обнаружены тела нескольких погибших. Как рассказал корреспонденту нашего листка представитель Адмиралтейской полицейской части, пожелавший остаться неизвестным, среди прочих удалось опознать тела великого князя Дмитрия Павловича, княгини З.Н. Юсуповой, ее сына князя Ф.Ф. Юсупова, а также депутата Думы В.М. Пуришкевича. Богатейшая аристократическая династия Империи увы, пресеклась теперь уже окончательно! Изю всех Юсуповых остались лишь старый князь, он же граф Сумароков-Эльстон, и супруга младшего князя, дочь великого князя Александра Михайловича, Ирина. Оба они пребывают в своих крымских имениях. Полиция проводит расследование этого ужаснейшего происшествия...

Я вернул газету Оладьину и прикурил новую папиросу от почти догоревшей. Говорить ничего не хотелось. Ему, видимо, тоже: молча козырнув, полковник меня покинул.

Кто бы они ни были на самом деле, что бы они ни готовили — лично мне и всей России — никто не заслуживает такой кошмарной смерти. И вообще, как-то много ее вокруг меня. Два трупа на моих глазах вчера, самого едва не убили вот только недавно... Но, как ни странно, появилась уверенность, чем я займусь уже сегодня. Раз вокруг пляшет смерть — значит, пора утверждать жизнь, каким бы школьным пафосом ни разило от этой мысли. И, приняв решение, я докурил и поспешил вернуться к себе, где немедленно взялся за гитару.

Балашов затушил очередную папиросу, устало посмотрел на штабс-капитана.

— Вадим Васильевич, сказать по правде, ты мне здесь очень нужен: сейчас, когда внезапно завертелась вся эта карусель, и в Петрограде стало чрезмерно весело, по нашей линии работы — ну просто непочатый край. А нас мало, слишком мало. Но кроме тебя,

послать тоже некого: у наших жандармов тоже вопиющая нехватка людей, а фронт ещё шире. Так что собирайся-ка ты, и дуй с вещами на Гороховую. Самое главное — срочно увезти оттуда детей. Желательно, в Царское. Пока в гости к Вырубовой — она единственная, кто более-менее спокойно переживет такой сюрприз, но лучше снять там дом. Полковник обещал прислать своего человека для охраны, но сможет только завтра-послезавтра. В любом случае, оставайся с ними всеми и, главное, с Музыкантом, до особого распоряжения. Вот, держи деньги на оперативные расходы. Да, детей надо залегендировать, Коровьевы они все, никакие не Распутины. И то правда, люди-то взрослые, проблем не должно быть, но печальные новости им всё равно пока не сообщай. По крайней мере, до тех пор, как осядете в Царском. Всё ли понял?

— Так точно. Разрешите выполнять?

— Да не тянись ты, капитан. Удачи тебе. Ну, с Богом.

По Загородному проспекту от Витебского вокзала, ничуть не скрываясь, собирая удивленные взгляды прохожих, уверенной походкой шли десятка два молодых иудеев. Все одеты по местечковой моде: рубахи навывпуск, новые лапсердаки, широкополые шляпы, пейсы — словом, полный набор канонического еврейского образа. Половина в очках. Смелые сыны Израилевы бодро общались между собой.

— ... тогда к ребе Боруху пришёл Нахамкес со 2-й Купеческой, и спросил совета, как ему лучше хранить деньги: зарыть в укромном уголке или таки положить в банк под проценты. И эту же секунду вбегает к нему Циля, дочка старого аптекаря Менделя: «Ребе! Я замуж выхожу! Как мне на первую ночь идти — в рубашке или без?» Ребе Борух погладил егозу по голове и говорит: «Дитя моё! Что в рубашке, что без рубашки — всё равно невинности не сохранить. К слову, Нахамкес, вас это таки да тоже касается!»

— ...когда мой почтенный родитель покидал этот грёбанный мир, он говорил: «Мойша! Если ты хочешь заварить вкусный чай — таки сыпь побольше чая!»

— Так, братья, пришли. Шломо, постучись.

Дверь открылась. Выглянул здоровенный детина типа «кровь с молоком», увидев толпу хасидов, впал в ступор.

— Таки тётя Хая просила привет передать, — пояснил Шломо. — Всем вам, каждому по привету.

Онемевшего бугая втолкнули обратно, после чего визитеры быстренько втянулись внутрь. У дверей особняка задерживаться не стали, пошли тихонько вверх по лестнице — уже с револьверами и пистолетами в руках. Привратник, всё с тем же удивленным выражением на лице, остался молча сидеть неподалеку от двери. Из-под него медленно растекалась красная лужа...

В большой гостиной на втором этаже сидело руководство «Союза Михаила Архангела» в полном составе, сильно грустило по поводу безвременной кончины господина Пуришкевича и пыталось выработать хоть какой-то план действий на сколько-нибудь понятный срок. Они тоже несказанно удивились, когда распахнулись двери и ввалилась куча хасидов с оружием в руках.

— Таки здравствуйте! — грассируя, жизнерадостно произнес один из визитеров и открыл огонь.

В минуту всё было кончено. Еще через две в гостиную вернулись те, кому выпало обыскать дом на предмет укрывшихся фигурантов.

— Так что, господин ротмистр, разрешите доложить: всё чисто, никого нет, — вытянулся во фрунт молодой еврей в очках и с рыжими пейсами.

— Какой, в тухес, тебе тут ротмистр, щемазл! — прошипел тот, к кому был обращен доклад, обвёл взглядом комнату, кивнул. — Уходим, быстро!

Прошло не меньше пяти минут, как стихли шаги на лестнице, когда дверца шкафа в углу гостиной открылась, и оттуда осторожно вылез бледный, как мел еще один представитель того же гонимого народа, только одетый, напротив, по самой что ни есть петроградской моде: черный костюм с кожаной жилеткой, кожаный же картуз. Стараясь не наступать в лужи крови, этот бледный нашёл путь к черному ходу и поспешил покинуть здание.

Изрядно попетляв по городу, этот везунчик — а как же ещё назвать человека, уцелевшего в бойне на Загородном? — пришел в большой жилой дом Азовско-Донского банка, что на Песочной. Его здесь определенно знали, потому как без каких-либо проволочек пропустили в святую святых — квартиру самого председателя совета банка.

А в квартире той с вечера загостились два примечательных господина. Первым из их был Павел Николаевич Милюков, — пожилой, представительный джентльмен, лидер Конституционно-демократической партии. Второй же гость возглавлял партию «Союз 17 октября, выглядел он чуть помоложе Милюкова, и звали его Александр Иванович Гучков. Гостеприимный хозяин их, Михаил Михайлович Фёдоров, тоже являлся не последней величиной на политическом небосклоне: начав карьеру у кадетов, теперь он обретался среди прогрессистов — партии, выражавшей интересы крупного капитала. В описываемый час господа политики, воздав должное умениям хозяйского повара, вернулись к обсуждению животрепещущего насущного вопроса — организации захвата власти. Не обошли вниманием и пожар на Мойке. Тут как раз звякнул звонок, и хозяина попросили в прихожую.

— Да, что здесь... А! Здравствуй, Яша. Что-то ты бледен, мой друг, — поприветствовал Фёдоров визитера.

— Михаил Михайлович. Только что. На Загородном. Перебили всё руководство «Союза Михаила», — задыхаясь от волнения и бега, сообщил визитер.

— Бог ты мой! И кто же это сделал?!

— Жандармы, переодетые евреями.

— Как такое может быть?!

— Не видел бы сам — не поверил бы. Ввалилась толпа в лапсердаках и с пейсами — и перестреляла всех.

— Но с чего ты решил, что это жандармы? — удивился Фёдоров.

— Дисциплина и организация. И один из них, забывшись, назвал другого ротмистром.

— Идём со мной, расскажешь это моим гостям, это очень важно, — и банкир пригласил вестника в гостиную. — Господа, позвольте представить вам моего сотрудника, это Яков Генин. У него есть известие, которое мы обязаны учесть.

— Здравствуйте, господа, — снял Яша картуз. — Сегодня жандармы...

Но тут дверь распахнулась, и вошли еще два господина — вальяжные, в безукоризненных английских костюмах. Обликом, манерами они совершенно не отличались от банкира и его гостей.

— Сидите, сидите, — успокаивающе замахал руками один из них: высокий, по-пушкински кудрявый, с бакенбардами, вышедшими из моды ещё в начале прошлого царствования. — Можете даже прилечь. Здравствуйте, господа. Простите, что без приглашения и доклада, но мы тут ненадолго, хотя, безусловно, по делу.

— Сударь, вы кто? — строго спросил Фёдоров.

— Ах, Михаил Михайлович, поверьте, это не имеет для вас — как и для всех присутствующих — ровно никакого значения! Точно так же совершенно неважно, от кого мы. Гораздо важнее — зачем мы здесь.

— И зачем же? — неприязненно спросил Гучков.

— Затем лишь, чтобы напомнить прописную истину: злоумышлять противу существующей власти — нехорошо-с! Ибо несть власти, аще не от Бога, и, злоумышляя на Помазанника, вы тем сами бунтуете супротив самого Создателя. А что Он по этому поводу говорит? А очень просто Он говорит. Открываем книгу пророка Иезекииля, и там читаем: «Когда Я скажу беззаконнику: «смертью умрешь!», а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет в беззаконии своем, и Я взыщу кровь его от рук твоих. И совершится гнев Мой, и уголю ярость Мою над ними, и удовлетворюсь; и узнают, что Я, Господь, говорил в ревности Моей, когда совершится над ними ярость Моя!»

Толстые стены надёжно заглушили звуки выстрелов.

— Какие у вас дальнейшие планы? — спросила императрица. Она снова была в госпитальном облачении.

— Хотел бы посетить госпиталь, навестить знакомого, гусарского прапорщика Гумилёва. Если будет на то дозволение, хотел бы сыграть для раненых.

— Я как раз хотела просить вас об этом. В семь вас устроит?

— Да, ваше императорское величество, вполне. Как раз успею собрать репертуар.

— Благодарю вас, Григорий Ефимович.

— Только очень прошу, Ваше Императорское величество. Давайте всё же «Павлович» и «Коровьев»? У Распутина, стараниями газетчиков, всё-таки очень неоднозначная репутация...

— Хорошо, как вам будет угодно, сударь.

Остаток дня пролетел незаметно: когда увлеченно работаешь, время не ощущается. А я, стремясь выбросить из головы утреннее приключение и новости, нырнул в работу с головой, подбирая и вспоминая песни для вечернего концерта. Но вот пора. И, по случаю дождя одолжив у лакея зонт (мой остался у Юсуповых и, видимо, там же и сторел), пошёл я в госпиталь.

Утреннее происшествие наконец-то встряхнуло сонное царскоселье. Пока дошел до госпиталя, меня остановили и проверили четырежды, но ни малейших возражений я по этому поводу не выказал.

Гумилева нашёл в относительно добром здравии и в совершенно бодром духе: он увлеченно покрывал листы бумаги явно стихотворными строчками. Мне он удивился и обрадовался.

— Какими судьбами, Григорий Павлович?

— Ну, Николай Степанович, я никак не мог не навестить вас тут. И в благодарность за всё вами сделанное, да и просто нельзя не оказать внимание симпатичному мне человеку.

— Ладно, — рассмеялся поэт, — политесы совершили, перейдем к насущному. Есть ли у вас папиросы?

— Как не быть — специально вам коробку «Герцеговины» принес.

— О, теперь вы — мой спаситель! — просиял Гумилёв. — Курить, срочно курить!

Нужно только позвать сестру с креслом-каталкой — ходить мне пока не велено.

— Зачем впутывать женщин в сугубо мужской перекур? — ответил я. — Меня не затруднит, ждите.

Дождь совсем разошёлся, поэтому курили мы под навесом в компании нескольких «ходячих» пациентов госпиталя. Поговорить поэтому толком не вышло, да и не знал я, честно говоря, о чем говорить с этим действительно интересным человеком. Об Африке его расспросить, разве? Вроде, он туда когда-то ездил. Но на концерт его я пригласил, и сам же отвез на той же каталке.

Блюз господам офицерам зашёл, что называется, как к себе домой. Русский рок — тоже. Аплодировали мне бурно, кричали «Браво!» — всё, как я люблю.

— Господин артист, — спросил стоящий у «сцены» офицер лет сорока. — Как бывает, когда хорошему человеку плохо, мы поняли. А как тогда, когда ему хорошо?

— Отличный вопрос, сударь! — ответил я, отпивая воду из заботливо принесенного кем-то стакана. — Обратимся, с вашего позволения, к опыту тех же самых североамериканских негров. Как ни удивительно, но и в их жизни, судя по всему, случаются радостные дни, и тогда они поют и танцуют в стиле, который сами же называли «буги-вуги». Я имею приблизительное понимание, как это танцуют, но прошу меня извинить: некоторые движения этого танца могут показаться вульгарными или даже вовсе непристойными, поэтому постараемся обойтись пока без них. Если вам станет настолько весело, что ноги сами тянут в пляс — раскачивайтесь из стороны в сторону согласно ритму песни. И ещё один момент. Тут у меня за спиной я вижу пианино, оно могло бы нам пригодиться. Есть в зале храбрец, искушенный в игре на этом инструменте?

— Готова вам помочь, милостивый государь, — подошла молодая сестра милосердия.

— О, благодарю, сударыня. Садитесь к инструменту, — и я за пару минут объяснил ей, что нужно делать. — Господа, боюсь, мне придется петь довольно громко, ибо фортепьяно кроет мою тихую гитару, как... э-э-э... как полковой оркестр — старого шарманщика. Поэтому, скорее всего, это будет завершающий номер нашего концерта: не мне тягаться в мощи голоса с Фёдором Ивановичем Шаляпиным, например. Ну, начали!

Субботний вечер, и вот опять

Я собираюсь пойти потанцевать.

Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок.

Я запираю свою дверь на висячий замок.

На улице стоит ужасная жара.

Но я буду танцевать буги-вуги до утра.

Ведь я люблю буги-вуги,

я люблю буги-вуги,

Я люблю буги-вуги, я танцую буги-вуги каждый день.

Но тут что-то не так — сегодня я одинок!

И вот я совершаю телефонный звонок.

Я звоню тебе, я говорю тебе: — Привет!

Я не видел тебя сорок тысяч лет.

И если ты не знаешь, чем вечер занять,

То почему бы нам с тобой не пойти потанцевать?

Ведь ты же любишь буги-вуги,

ты любишь буги-вуги,

Ты любишь буги-вуги, ты танцуешь буги-вуги каждый день.

В старом парке темно, мерцают огни.

Танцуем мы, и танцуют они.

И если ты устала, то присядь, но ненадолго:

В сиденьи на скамейке, право, нету толка.

Снова гитарист берет первый аккорд —

Погнали танцевать, пока не кончился завод!

Ведь мы любим буги-вуги,

мы любим буги-вуги,

Мы любим буги-вуги, мы танцуем буги-вуги каждый день.

... буги-вуги каждый день... [2]

Зал стоял на ушах! Раскачивались и приплясывали все, включая неходячих. Это, бесспорно, был триумф. Не потому, что они все хлопали и кричали, какой я молодец, но потому, что лица их светились радостью, горели жизнью. Финальный аккорд потонул в овации. Я поклонился, подал руку пианистке.

— Благодарю, мадемуазель. Вы очень мне помогли.

— Это вам спасибо! — счастливо улыбнулась сестра милосердия, и только сейчас я обнаружил в лице ее несомненное сходство с императрицей, Швыбзей и Тютей. — Надеюсь, мы ещё поиграем такое вместе?

— Разумеется, ваше императорское высочество.

А Швыбзя невзначай повстречалась мне в коридоре дворца, когда я шел к себе в комнату на заслуженный отдых.

— Завтра в десять, в парке, на той же лавке, — заговорщицким полушёпотом произнесла младшая принцесса. — Есть разговор.

— Договорились, — столь же тихо ответил я и мы разошлись.

Но в комнате меня ждала записка от Вырубовой.

«Григорий Ефимович!

Пришла страшная весть: в Покровском сгорел дом Распутиных, жену вашу убили. Дети все живы, их привез ко мне известный вам Вадим Денисов. Как позволят обстоятельства, приходите к нам — они остро в вас нуждаются. Анна».

[1] Текст автора

[2] Песня Михаила Науменко. Третий куплет значительно скорректирован автором с учетом описываемого времени: ну, какая дискотека с диск-жокеем в 1916 году?

О мохнатых шмелях, детях и разнообразии превратностей судьбы

Все формальности позади, и датский берег наконец-то тает за кормой. Впереди — тревожный путь до Эдинбурга. Остаётся лишь молиться, чтобы неизбежные на море случайности, военные неожиданности и прочие превратности судьбы всё же как-нибудь миновали пароход под нейтральным шведским флагом, на котором кружным путем из России домой возвращается благонадёжнейший с виду подданный Его Величества мистер Джереми Сатклифф. Мимолетного взгляда достаточно, чтобы понять национальную принадлежность холеного джентльмена — это ведь такие, как он, вставляли в британскую корону ее главную жемчужину, хозяйничали в Африке и гибли под Балаклавой во время «атаки лёгкой кавалерии». Но да не стоит о грустном. Бросив последний взгляд на удаляющуюся Данию, мистер Сатклифф прошёл к себе в каюту, по пути попросив стюарда принести шерри. В каюте же путешественник, отдохнув с четверть часа в кресле, дождался стюарда, после чего извлек из жесткого кофра настоящую испанскую гитару.

Как известно всем и каждому, любой джентльмен имеет полное и неотъемлемое право на причуду. Более того, джентльмен вовсе без причуд может прослыть скучным, а то и подозрительным. Но мистеру Сатклиффу это никоим образом не грозило, ибо он увлекался исполнением песен собственного сочинения на стихи уважаемых английских поэтов под аккомпанемент гитары. Неспеша настроив инструмент, англичанин пригубил шерри и начал:

*The white moth to the closing bine,
The bee to the opened clover,
And the gipsy blood to the gipsy blood
Ever the wide world over.
Ever the wide world over, lass,
Ever the trail held true,
Over the world and under the world,
And back at the last to you.
Out of the dark of the gorgio camp,
Out of the grime and the gray
(Morning waits at the end of the world),
Gipsy, come away! [1]*

Он пел и думал, чем же, черт побери, было вызвано внезапное изменение задания. Миссия готовилась давно и уже началась, когда по экстренному каналу пришло дополнение. Существенное дополнение, надо сказать! Ну, да, что бы Отечество ни приказало, капитан регистрационного бюро Максим Андреевич Рюмин приказ выполнит. Любой ценой. Так что до Эдинбурга, оттуда — в Ливерпуль, уже под другой личиной, и, увы, без гитары — а инструмент очень недурён! А в Ливерпуле на трансатлантический пароход сядет мистер Реджинальд Баффет, ещё более респектабельный подданный империи, над которой никогда не заходит солнце, и в неге первого класса поплывёт потихоньку в Нью-Йорк. «И откуда в Бюро только деньги на всю эту роскошь?» — подумал капитан.

Никогда в жизни не видел трех взрослых людей, которые вполне обоснованно считались

тут моими детьми. И не знал, что им сказать. Точно так же, та несчастная женщина, что погибла в Тюменской губернии, не имела ко мне ни малейшего отношения — я ее даже мысленно вообразить не мог. Но надо как-то утешить осиротевших людей, и при этом, очень желательно, не врать ни в малейшей детали. Обо всем этом я думал, шлёпая под зонтом по царскосельским лужам в сопровождении двух казаков.

Дело тут даже не в том, что никакой я не Распутин, — а я точно не он, спросите Хендрикса, в конце концов, он подтвердит! А в том, что у меня никогда за почти полвека жизни не было даже жены, чего уж говорить о детях. Нормальный музыкант — одиночка. Иначе ему не выжить, и рано или поздно он встанет перед душераздирающим выбором: или музыка, или всё остальное — семья, дети, ипотека, автокредит, отпуск в Турции, шашлык на даче. Я в свое время выбрал музыку. Жалел ли об этом выборе? Бывало, врать не буду. Иногда, особенно после сорока, накатывала такая специфическая хандра, не снимаемая ни подругами «без обязательств», ни, тем более, водкой: мол, скоро подыхать, а всё один. Но как-то удавалось выкручиваться — залабаешь три концерта подряд каверов похитовее в какую-нибудь пятницу, да ещё пару в субботу, потом три дня жизнь не мила настолько, что рефлексировать не тянет, зато при деньгах. Но всё же, всё же...

Впрочем, идти пришлось недалеко, так что времени на раздумья и самозапиливание особо не хватило — оно и к лучшему, пожалуй.

Дверь открыла горничная, та милая девушка, что возила на концерте Вырубову в коляске. Казаки сдали меня с рук на руки и ушли.

— Добрый вечер, мадемуазель?..

— Меня зовут Софья, — изобразила намёк на книксен девушка. — Добрый вечер, господин Распутин.

— Сонечка, простите за странный вопрос... Как зовут моих детей?

— Дмитрий, Варвара, младшая — Мария. Но вообще-то она Матрёна[2], - если Софья и удивилась вопросу, то виду не подала, молодец. — Проходите, холодно.

Дверь, комната. В кресле сидит Вырубова, на диване — трое. Младшая срывается и виснет у меня на шее:

— Тятя! Наконец-то!

— Привет, Матрёшка, — говорю. Вот ей-богу, само вырвалось. И обнял ребенка стол же машинально.

Двое старших смотрели на меня странно — впрочем, привыкать ли...

— Варя, Митя, здравствуйте.

— И вам здрасьте, — кивнул Дмитрий. — Мужик, а ты, вообще, кто?

— Вы что? — Матрёна оторвалась от меня, но вцепилась в руку. — Отца не признали?

— Матрён, а с чего ты взяла, что это наш отец? — спросила Варвара. — Ну да, лицом похож, но и только.

— А я говорил, говорил, что все эти бесконечные знакомства, мадера эта клятая, князя с графьями — не доведут до добра, — прорычал Дмитрий, вскакивая с дивана и глядя на меня вовсе уж враждебно. — И вот вам результат: исчез человек, исчез подвижник, целитель! И кто остался? Демон! Бес! Как мы жили! Как жили, пока ему в столицу не приспичило — как же, наследника лечить, с царями дружбу водить... Гордыня! Гордыня одолела! И что случилось? Во всей России нет газеты, чтобы наше имя с навозом не мешала! Пьянство беспробудное, разврат кромешный...

— Дима, это, в основном, газетные придумки, — тактично вставила слово хозяйка дома.

— «В основном»?! Пусть так, но не бывает же дыма без огня! Но и это полбеды ещё оказывается! А теперь узнаём, что даже несчастную душу отца нашего уморили, а вместо него сидит бес!

— Сам ты бес! — окрысилась Матрёна. — Это тятя! Я так чувствую...

— Спокойно, девочка моя, — приобнял я ее за плечи. — Всем тихо!

— А что это ты мне рот затыкаешь?

— Ты задал вопрос, я хочу на него ответить, но ты же не даёшь, — пожал я плечами.

— А, ну давай, попробуй, бес.

— С чего ты взял, что я бес, Митя? Я что, душу твою бессмертную за бесценок выцыганиваю? Али договор на кровавое подписание подсовываю? Молчишь? Так вот молчи и слушай, все слушайте. Вашего отца — того Григория Распутина, которого вы знали и, возможно, любили... действительно больше нет. Я не знаю, почему вышло именно так. Просто шёл к метро по улице, и был вокруг ноябрь. Что-то сильно ударило по голове, и следующее, что увидел — свет и Бог. А потом просто проснулся пятого сентября в квартире на Гороховой в этом теле, и теперь пытаюсь в нем жить. И жить так, чтобы стыдиться было нечего. Мне не нужно от вас ничего — совсем. И не бес я никакой, Дмитрий Григорьевич. Я занял место вашего отца — от него мне ни малейших воспоминаний не осталось...

— И маму не помнишь? — почти прошептала Варвара.

— Увы, нет. Я в былой жизни был один, и думал, что и здесь ничего не изменилось, но потом узнал о вас. Понимаю, что звучит странно, но, ребята, я готов стать вашим отцом и быть с вами в горе и радости до скончания века.

— Нашу мать убили. Убили, понимаешь? — прошипел Дмитрий. — Наш дом сожгли. Мы никто и ничто теперь! Я, грешный, думал, что осиротел лишь наполовину, а не нет, шалишь! Что?! Ну, что, что нам теперь делать?!

— Жить, Митя. Просто жить, делая, что должно, и случится, чему суждено.

— Отец так говорил, — еле слышно сказала Варя. Она плакала.

— Ребята, мне нечего вам предложить, кроме как принять ситуацию, как есть, и жить дальше. Вместе прорвёмся. Вместе — оно всегда легче.

— Папа, я с тобой, — обняла меня Матрёна.

— Матрёна! Как ты не видишь! Это же чужой! Совсем чужой! Это не наш отец!

— Это ты не видишь. А я — знаю.

— Тётя Аня, простите меня, пожалуйста. Но я не могу с ним оставаться в одной комнате. Завтра с утра уеду в город, а там в Покровское, мне нужно дом наново строить, — Дмитрий, старательно не смотря на меня, порывисто вышел. Варвара, тоже пряча глаза — следом.

— Соня, — позвал я. Горничная Вырубовой материализовалась мгновенно. — Будьте так любезны, принесите мне стакан воды, пожалуйста.

— Вам плохо? — спросила Вырубова.

Я кивнул, с благодарностью принял воду, отпил, и без аккомпанемента:

Вы стояли в театре, в углу, за кулисами,

А за Вами, словами звеня,

Парикмахер, суфлер и актеры с актрисами

Потихоньку ругали меня.

Кто-то злобно шипел: «Молодой, да удаленький.

Вот кто за нос умеет водить».

И тогда Вы сказали: «Послушайте, маленький,
Можно мне Вас тихонько любить?»[3]

— Матрёшка, можно мне тебя тихонько любить?

Девочка ещё сильнее прижалась ко мне.

— Я тебя не брошу, папа. Никогда.

— Анна Александровна, тогда пойдём мы, пожалуй. Матрёнины вещи... их мы заберем завтра.

— Но куда же вы?.. Дождь, холод... Впрочем, понимаю.

— Нам недалеко. И спасибо вам большое.

На сей раз никто нас не провожал, но дорогу я запомнил.

— Тебя убили в Париже или Лондоне? — спросила Матрёна.

— Нет, в Москве, на Ордынке, — в голове все прокручивалась недавняя сцена.

— Папа, а как там, в будущем?

Оп-па. Оч-чень своевременный вопрос! Где спалился-то?

— А с чего ты взяла, что я оттуда?

— Очень просто. Тебя убили, когда ты шёл в метро. А метро — это такая подземная железная дорога, нам царевны рассказывали. Она есть в Париже и в Лондоне такая тоже есть. А в Москве нет, и даже в Петрограде ничего подобного. Значит, ты попал из той Москвы, где метро уже есть, да ещё ноябрь — а сейчас едва середина сентября.

— Да, ты права... Как там, говоришь? Ну, мне там было неплохо, но за те сто лет, что отделяют то время от этого, произошло столько бед, что страшно даже подумать.

— Расскажешь?

— Да, но, прошу тебя, давай не сегодня?

— Понимаю... Не держи зла на Митьку. Мы все очень любили маму...

— Какое зло, что ты. Я его очень хорошо понимаю. А можешь сказать, почему ты назвала меня отцом? Ведь я же действительно совсем другой человек...

— Это неважно, я просто увидела... не знаю, как сказать. Сердцем, наверное, — и Матрена покрепче сжала мою руку.

И тогда я прочел:

Один француз чудил когда-то знатно:

Носился над песками, над волнами,

И в шутку произнес он, вероятно:

«Ты главное увидишь не глазами».

Нам эту чушь талдычили с пеленок

На русском, на французском и на идиш,

Да так, что твердо знал любой ребенок:

«Ты главного глазами не увидишь!»

Смысл этой фразы ускользал мгновенно,

Едва в окно кричат: «Серёга, выйдешь?».

И на уроках, и на переменах

Мы знали: чем посмотришь — тем увидишь.

Росли мы. Лицемерие, кокетство

Осваивали — вместе с алкоголем,

И поспешили позабыть мы детство

В чулане темном, среди пыли, моли...

Несли нас поезда и самолеты,
И ждали нас везде — куда ни выйдешь...
Но мы о том забыли, идиоты,
Что главного глазами не увидишь.
Едва не спившись, чуть не став скотиной,
Сойдя с ума и ни во что не веря,
Земную жизнь пройдя до половины,
Пересчитав утраты и потери,
Я начал понимать — пусть понемногу:

Мы властны над своими чудесами!

И выхожу один я на дорогу,
Чтобы тебя увидеть. Не глазами...[4]

— А что за француз такое написал?

— Еще не написал, лет через тридцать напишет. Но эту историю я тебе непременно расскажу.

Едва Валериан Павлович переступил порог Управления, дежурный офицер, козырнув, доложил:

— Господин полковник, вам следует немедленно прибыть на совещание к его превосходительству командиру корпуса.

— Благодарю вас, капитан, прибуду без промедлений.

Оставив шинель в кабинете, полковник направился в зал для совещаний. Там уже присутствовали большинство высших чинов корпуса, отсутствовали только сам командир — генерал-майор граф Татищев, — и ещё несколько офицеров. Но вот и задержавшиеся, вот и командир.

— Господа офицеры, здравствуйте.

— Здравия желаем, ваше превосходительство!

— Прошу садиться. Удивлюсь, если кто-то из вас гадает о причинах внеочередного совещания. Да, всё верно. Столицу накрыла волна натурального террора. Господа революционеры, не иначе, вознамерились устроить нам крупномасштабный кризис власти. Начнем по хронологии. Предыдущей ночью сгорел дворец Юсуповых. При сём достоверно погибли великий князь Дмитрий Павлович, сам князь Юсупов, княгиня Зинаида Николаевна и господин Пуришкевич. В подвале дворца отчего-то был склад динамита, взрыв коего практически уничтожил левую часть здания...

«Ну, об этом покойники сами позаботились, — подумал Васильев. — Интересно, сами-то они кого взрывать планировали?»

— ...При тушении пожара и особенно при взрыве пострадали шестеро пожарных Адмиралтейской части, один погиб. К слову, единственная зацепка в этом деле — пожарные. По многочисленным свидетельствам, их было очень много, гораздо больше, чем могли предоставить все ближайшие части...

«Да, тут нам свезло, — подумал полковник. — А вы попробуйте среди ночи раздобыть полсотни комплектов пожарной робы! Счастье, что ротмистр Зворыкин третьего дня прихватил одного интенданта на шашнях с большевиками. Интенданта того до второго пришествия не найдут, а если коллеги выйдут на склад, то к их услугам натуральная — там и была — типография со свежим тиражом газеты «Правда». Приходи и радуйся...»

— ...На Загородном проспекте в ходе натуральной бойни, устроенной, по показаниям очевидцев, бундовцами, погибло девятнадцать человек, входивших в небезызвестный «Русский народный союз имени Михаила Архангела». Здесь мотив предельно ясен, непонятно только одно: как столько боевиков запрещенной партии одновременно оказались в столице?

«Как-как... Единственный акт, который был без импровизации: грим и костюмы два месяца запасали».

— ...Великий князь Кирилл Владимирович скончался в собственном дворце захлебнувшись в пьяном виде рвотными массами. Нет никаких зацепок, что эта трагедия произошла с чьей-нибудь помощью, но согласитесь, господа: она укладывается в цепь чудовищных происшествий, случившихся одновременно либо подряд!

«Эх, проиграл я доктору Крассу ящик Шустовского, — подумал Васильев. — Но, ей-богу, за такой шедевр и десяти ящиков не жалко!»

— Далее. На аэродроме в Гатчине в результате взрыва на складе боеприпасов погиб великий князь Александр Михайлович и ещё три человека из интендантского управления ИВВФ. Имеющиеся улики однозначно указывают на работу немецких диверсантов, но, господа! Это все в одно и то же время!

«Алёши Балашова ребята работали. Эти шпионов да диверсантов как родную маму знают, хрен там кто чего найдет».

— ...В следующем эпизоде жертвами двух оставшихся пока неизвестными стрелков стали видный прогрессист Фёдоров и его гости — небезызвестные господа Гучков и Милюков, а также один служащий банка, которым управлял покойный Фёдоров, причем последний — иудейского происхождения. На месте расправы обнаружена оброненная кем-то визитная карточка американского банка «Кун, Лееб и К», который, по нашим данным, является одним из основных источников финансирования партии большевиков. Один из визитеров Федорова, по показаниям швейцара, похож на известного большевистского боевика Красина...

«Мда-с! Большевикам нынче я точно не позавидую, в особенности, как бы отошедшему от дел Красину. Но ещё не вечер, товарищи ульяновцы, вас тоже ожидает немало интересного».

«Одновременно пришла весть из Тифлиса, где обезумевший ординарец зарубил шашкой великого князя Николая Николаевича, после чего был застрелен охраной...

«Ну, там слегка наоборот произошло — сперва застрелили, потом зарубили, но вашему превосходительству знать это совсем не обязательно...»

— ...Депутат, глава фракции «трудовиков» в Думе, скандально известный присяжный поверенный Александр Федорович Керенский по неизвестной причине упал в воды Обводного канала, в коих и утонул. Пока, слава богу, всё- генерал перекрестился.

В зал торопливо вошёл адъютант, положил перед Татищевым донесение.

— ...А, нет, еще не всё, господа. Как только что стало известно, на своей квартире покончил жизнь самоубийством, застрелившись, председатель Думы господин Родзянко.

«А вот это точно не мы, — ошалело подумал Валериан Павлович. — Кто ж это его, болезного, под наш шумок? Или всё же действительно сам, с перепугу?..»

— Теперь, господа офицеры, извольте получить задания. Как видите, мы посреди ужасающего своим размахом кризиса, так что отдыхать придётся нескоро.

Последовало обсуждение некоторых эпизодов, раздача указаний, после чего генерал

отправил руководство Отдельного корпуса жандармов на работу.

— Валериан Павлович, — сказал Татищев. — Задержитесь, пожалуйста.

Зал опустел, Васильев строевым шагом подошёл к начальственному столу, вытянулся.

— Присаживайтесь, полковник, — устало произнес Татищев. — Так вот, Валериан Павлович. Вы у нас адъютант штаба, своего фронта работ у вас как бы и нету, но вы же видите — столько всего приключилось, что людей не хватает просто катастрофически. К тому же, насколько я знаю, вы дружны с подполковником Балашовым из Регистрационного бюро?

— Так точно, ваше превосходительство.

— И потому расследование гатчинского взрыва я поручаю именно вам. Будете работать в тесном сотрудничестве с людьми регбюро — по первому виду, это их епархия, и головы тоже с них снимут за великого князя. Но мало ли? Очень уж странная вся эта волна — тут тебе разом и бунд, и социалисты, и немцы. Очень вас прошу — максимально ответственно. Будет просто чудесно, если хотя бы этот эпизод — не нашего с вами ума дело, но, вы же понимаете.

— Разумеется, ваше превосходительство. Приложу все усилия.

— Приказ подписан, вот он и предписание — это для полковника князя Туркестанова, начальника Регбюро. Вопросы?

— Никак нет, ваше превосходительство. Разрешите идти?

— Идите, полковник. С богом.

Неласковый день выдался в середине сентября в Москве: по стеклам окон весь день немилосердно хлестали то ветки мучимой сильнейшим ветром старой липы, то струи дождя, то всё вместе, и выйти на прогулку по бульвару не хотелось совершенно. И то сказать — как теперь выйти-то? Шагу ступить невозможно: «Ох! Ах! Сама Вера Холодная! Соблаговолите автограф!» — никакой жизни.

Вера куталась в шаль и смотрела на дочку Женечку, игравшую с плюшевым медведем:

— Мишка, не грусти. Дождик пройдёт, солнышко вернется. Будем петь и танцевать — красиво, как тётя Соня умеет. Мишка, ну! Давай, не грусти. Ты для того, чтобы мне было весело. А как мне будет весело, когда тебе грустно? Вот, звонок! Это кто-то пришёл! Пойдём, узнаем! Агааа! Тётя Соня!

Сестра едва разулась, оставила в прихожей мокрющие плащ и зонт, воровалась в комнату.

— Вера! Вера. Смотри, что у меня есть!

В руках она держала граммофонную пластинку.

— Это Вертинский, самое-самое новое! Только со склада привезли. Давай послушаем, а?

— Давай, — улыбнулась Вера.

Достали и завели граммофон, поставили свежее приобретение.

«Здравствуйте. Я Александр Вертинский, и сейчас для Русского акционерного общества граммофонов — и, конечно, для всех вас — я сыграю песню «Мишутка» Игоря Летова...»

Плюшевый мишутка

Шёл по лесу, шишки собирал

Сразу терял всё, что находил

Превращался в дулю

Чтобы кто-то там...вспомнил
Чтобы кто-то там...глянул
Чтобы кто-то там понял
Плюшевый мишутка
Шёл войною прямо на Берлин
Смело ломал каждый мостик перед собой
Превращался в дуло
Чтобы поседел волос
Чтобы почернел палец
Чтобы опалил дождик
Чтобы кто-то там тронул
Чтобы кто-то там дунул
Чтобы кто-то там вздрогнул
Чтобы кто-то там...

...на стол накрыл
...машинку починил
...платочком махнул
...ветку нагнул...

Плюшевый мишутка
Лез на небо прямо по сосне
Грозно рычал, прутиком грозил
Превращался в точку
Значит, кто-то там знает
Значит, кто-то там верит
Значит, кто-то там помнит
Значит, кто-то там любит
Значит, кто-то там...

— Вера, ты плачешь?

— Да, Соня. И ты, я вижу, тоже.

— Мам, тётъ Сонь, не плачьте! Это же про моего Мишку! И нет его сильнее! А он с нами, и нам ничего не страшно!

— Конечно, малыш.

[1] Текст Редьярда Киплинга. Возможно, читателю проще воспринять русскую версию этой песни в исполнении Никиты Михалкова. Да-да, тот самый «Мохнатый шмель».

[2] Дочь Распутина действительно звали Матрёной, Марией она стала, когда начала общаться с великими княжнами — чтобы звучало не так простонародно. Судьба ее в реальной истории трудна и крайне интересна — кому любопытно, поиск в помощь.

[3] Песня Александра Вертинского, 1916.

[4] Стихи автора.

Гроза разбойников и землетрясений

Устроив Матрёну спать на своей кровати, раздобыл чаю и, сев у окна, погрузился в мысли, а были они невеселые. Я по-прежнему не испытывал ровным счетом никаких эмоций в отношении Варвары и Дмитрия, как людей — ну, не знал их полвека, и ещё столько же не знать, — но сама ситуация царапала своей неправильностью. Как-то очень быстро они меня отфутболили. Помнится, в одном славном старом фильме была чудная фразочка: «Ничего не сделал! Только вошёл!». Вот и я едва вошёл, а мне с порога и выдали, что и демон я, и бес, и все такое. Подумаешь, волосы и усы с бородой сбрил — это что, обязательные атрибуты человека, что ли? Без них — всё, демон? Не смешно.

А сильно похоже на то, что все они были в курсе того, что папенька их теперь и не папенька вовсе, а совершенно другой человек. Кто их мог просветить? Слуги с Гороховой? Возможно, но не факт. А ещё кто? Впрочем, что гадать — завтра аккуратно расспрошу Матрёну, чтоб не терзаться лишними вопросами. Но вот смысла всей этой мизансцены я в упор не понял. Зачем было тащиться, да с вещами, из центра Питера в Царское село, что по нынешним временам — не самое простое дело, электрички-то еще не изобрели, а поезда ходят куда как реже и сильно медленнее. Вот зачем они приезжали? Ради трехминутной пафосной сцены? Но нет худа без добра: привыкай, брат Григорий, к семейной жизни. У тебя теперь, знаешь ли, есть дочь. Не то, чтоб ребенок — девица почти на выданье, а уж по-крестьянским меркам — так и безо всяких «почти», а ведь мы, зараза, как раз крестьяне... Собственно, появление этой трогательной, похожей на заморского зверя утконоса девушки и есть истинная причина моего неспанья — элементарно не знаю, как правильно надо быть отцом, представьте себе. Ощущения странные, по большей части незнакомые, но в целом мне, пожалуй, радостно. И ещё одно неведомое прежде, но очень четкое ощущение: за свою Матрёшку я кого угодно порву на флаг недружественного союзника... Так, план простейший: короткими перебежками под зонтиком — до беседки, там покурить на сон грядущий (и побренчать, как без того, душа просит), а потом тем же порядком обратно — и спать. Тот ещё денёк выдался, уж который подряд, сбился со счёта — но ведь не скучно, ей-Джимми.

Вылазка удалась: по холодку, да после дождя — он как раз перестал — курится изумительно. Сыграл самому себе пару песен, разогнал мысли и хандру, и отправился почивать. Но не тут-то было.

При входе во дворец, никоим образом не смущаясь четырех дюжих молодцов у дверей, меня караулили две женские фигуры.

— Наконец-то, вот и вы! — полушепотом произнесла одна из них. — Нам срочно требуется ваша помощь. Идёмте же! — и, не дожидаясь какого-либо ответа, они почти бесшумно заскользили по коридору. Мысленно чертыхнувшись, последовал за ними: за край сознания зацепилась благочестивая такая мысль «а вдруг действительно помочь надо?», хотя богатый жизненный опыт ухмылялся и подкручивал несуществующий гусарский ус.

Разумеется, жизненный опыт оказался прав на все проценты: комната, куда меня привели, а, скорее, небольшой зал, был отнюдь не монашеской кельей: наличествовал широкий диван с подушками, перед ним — стол, богато уставленный винами, сладостями и фруктами.

— Я так понимаю, что помочь вам нужно съесть и выпить вот это вот всё? — хмыкнул я. Главное, что радовало: таинственные незнакомки точно не были старшими царевнами, ручаюсь, я их обеих знать не знаю.

— И это тоже, святой наш старец! — обе дамы скинули плащи, под ними оказались пеньюары — отнюдь не прозрачные, но в «неровном свете свечей» контуры под этими ночнушками угадывались вполне волнующие. — Приобщите нас своей благодати! — хохотнув, проказница провела язычком по губам, и именно этот проститутский элемент из дурной порнухи убил последние зачатки очарования, которое могло сулить подобное сомнительное приключение. Стало скучно. Просто скучно — я не ханжа, и, чего уж там, изрядный ценитель постельных забав. Да вот столько я на своем веку повидать успел, милые шлюшки, что...

— Благодати, говорите? Это можно, — доставая сигарбокс из кофра, сказал я. — Петь буду. А вы пляшите, пляшите. Приобщайтесь, так сказать. И, прикрыв глаза, запел:

Roxanne, you don't have to put on the red light,
Those days are over, you don't have to sell your body to the night.
Roxanne, you don't have to wear that dress tonight,
Walk the streets for money,
You don't care if it's wrong or if it's right.
Roxanne, you don't have to put on the red light,
Roxanne, you don't have to put on the red light[1].

— Так, — короткое слово, произнесенное не слишком громко, прозвучало, как выстрел. Я, не прекращая играть и петь, открыл глаза и, мягко говоря, удивился. Желавшие «приобщиться благодати» барышни, напрочь голые, жались, как нашкодившие школьницы, а перед ними стояла императрица в госпитальной форме. — Григорий Ефимович, можете прекращать: в обозримом будущем эти пташки едва ли полетят на красный свет. Обе вон! Как есть! Не одеваясь! — и, когда дурочки выскочили из зала, Александра Федоровна спросила: — И как вас угораздило на сей раз?

— Возвращался с перекура, у дверей меня поджидали вот эти барышни, попросили помочь. Я, движимый христианским сочувствием и прочими добродетелями, поспешил на помощь, но уже здесь понял, что речь идет о банальном соблазнении. Тогда я отказался, но, боюсь, в несколько излишне витиеватой форме — не учел, что они могут не знать английского.

— Зато я его знаю, — вздохнула императрица, — и понимаю, что превращать мой дом в вертеп вы точно не собирались — по крайней мере, сегодня.

— И завтра не соберусь, — в тон ей ответил я. — Семьянин, потому что.

— Доброй ночи, Григорий...

— ...Павлович, ваше императорское величество. К добру ли, к худу, но Распутин действительно умер, что мне сегодня наглядно продемонстрировали его старшие дети. Младшая, правда, наоборот — вцепилась, как клещ... Так что не в вертеп злопыхтящий я буду превращать ваш дворец, а в детский сад с музыкальным уклоном... Доброй ночи, ваше императорское величество, — поклонившись, взял гитару и кофр, вышел.

Утром снова столкнулся с Александрой Федоровной, только при этом был в компании Матрёны. Что ж, опять удалось удивить её величество, — хотя я вечером обрисовал ситуацию максимально верно, — но уже через полчаса мы переехали в двухкомнатные апартаменты, Матрёшку поставили на довольствие и теперь я любовался, с каким

удовольствием ребенок поглощает завтрак. Сам я, как ни странно, особого голода не испытывал, так что поел скромно и теперь ждал дочь, потому что уже через четверть часа свидание с Анастасией Николаевной, она же Швыбзя, а до той лавки еще дойти надо. Оставлять же ребенка без пригляда в огромном дворце, где то и дело норовят то убить, то соблазнить, представлялось мне сомнительной затеей.

Пока Матрёна поела круассаны, запивая чаем, и рассуждала, допустят ли ее до царевен (оказывается, они были знакомы), мне принесли кофе и газету. Едва взяв ее в руки, я порадовался, что избавился от волос — стоящая дыбом распушинская грива выглядела бы жутко, а у нас тут всё же не каникулы Бонифация, а честный блюз, хоть от него волосы и встают дыбом. Да-с, кому-то в Питере сейчас до крайности блюзово: на первой полосе крупными буквами перечислили всех значимых персон, не вполне добровольно расставшихся с жизнью за недавнее время. Не все были мне знакомы, некоторые смутно, на уровне «вроде, что-то про них говорили на уроке истории», но уж Сандро, «царь Кирюха», от которого пошли все нынешние клоуны, именующие себя Романовыми, и Керенский — такие имена я, конечно, помнил. Залпом выпил кружку горячего кофе, оторвал ребенка от трапезы и потащил в парк.

Для срочно образовавшейся цели пришлось отклониться от маршрута, но я запомнил инструкцию верно: по крайней мере. Описанный мне персонаж оказался на плюс-минус ожидаемом месте, где сметал с дорожек палую листву.

— Милейший, не вы ли садовник Силантий будете? — спросил я.

— Бог миловал, ваше благородие, — перекрестясь, ответил он. — Как батюшка Савелий с матушкой Пелагеей Кузьмою назвали, так по сей день и прозываюсь.

— Хорошего вам дня, Кузьма Савельевич. Не считите за труд, передайте Валериану Павловичу, что известный ему Григорий просит о срочной встрече.

— Что ж счастье, коли служба такая. Всё передам, ваше благородие, будьте покойны.

И мы поспешили к «той самой» скамейке, и успели вовремя, опередив великих княжон минут на пять.

— О, Мари снова с нами! — восхитилась Тютя. — И даже в таком же платье, что и Настя! Дядя Гриша, если не возражаете, мы её коварнейше у вас похитим!

— Никаких возражений, милые барышни. А это позволительно?..

— Мы повелеваем девице Марии быть нашей фрейлиной! — приосанившись, ледяным голосом отчеканила Анастасия, сделавшись удивительно похожей на мать. Но тут же рассмеялась и превратилась обратно в непоседу Швыбзю. — Дядя Гриша, вечером с фронта приедут папа с Алексеем. Но это полбеды. Примерно в это же время приедет бабушка, и вот ей на глаза точно лучше не показываться — она вас очень не любит.

— Спасибо, друзья мои, непременно приму к сведению, — совершенно серьезно кивнул я, мучительно пытаясь вспомнить, а кто у них бабушка и за что это она на меня, многогрешного, так взъелась.

— Всё, нам пора. Мари, иди с Тютей, я вас догоню — издали тебя и за меня принять могут.

Две Марии ушли, а Настя торопливо продолжила:

— Я вчера и сегодня слышала, что в столице тревожно, это правда?

— Да, к сожалению.

— Революция?

— Пока точно нет. Скорее, наоборот: кто-то устраняет тех, кто в этой самой революции

заинтересован, но тревоги это не убавляет.

— Ясненько... Вот почему папа сорвался с фронта, значит. Ладно, дядь Гриш, я тоже пошла, Мари вернем вам к обеду — бабушке ее пока тоже лучше не показывать.

Мы попрощались, я неторопливо закурил, наблюдая, как фигурка в белом платье идет меж деревьев, игнорируя дорожки. Я успел задуматься о своем, когда мне показалось, что за Настей кто-то крадется. Да нет, не показалось — определенно по ее следам топают сомнительного вида незнакомец. Отшвырнув папиросу, как можно быстрее, но при этом стараясь не шуметь, я двинулся следом. Вот мне до него метров десять, ему до девочки — раза в два меньше. Царевна, не оглядываясь и ничего не замечая, медленно идет дальше, машинально уворачиваясь от веток редких кустов. В руке преследователя блеснул нож, он рванул вперед.

— Get down[2]! — заорал я, от волнения перейдя на английский. Правнучка королевы Виктории послушно рухнула наземь. Не ожидавший такого, злодей, уже летевший в финальном прыжке, споткнулся о Настю и упал. Перепрыгнув через великую княжну, я навалился на него, но быстро убедился, что мои усилия не требуются: товарищ упал крайне неудачно, и нож торчал из его собственной груди.

— И что это было? — завозилась Швыбзя.

— Пока не знаю, но сюда тебе лучше пока не смотреть. Идти можешь, не ушиблась?

— Вроде, нет, — принцесса встала и теперь скептически себя рассматривала. — Но платье, конечно...

— Платье можно постирать, — безапелляционно отрезал я. — Вон на дорожке Тютя с моей Матрешкой, и ваши мамки-няньки с охраной. Лети пулей к ним и пришли мне одного казака, пожалуйста.

— Слушаюсь, сэр! — ухмыльнулась Швыбзя. — Дядя Гриша, а чего это он не шевелится?

— Притворяется мёртвым, чтобы нас обмануть. Ну же, давай, бегом!

— А про платье-то что сказать?

— Чистейшую правду: шла по парку, задумалась, споткнулась, упала. Бывает...

— Ла-адно. Я пошла. Тютя! Тютя, я здесь!

Через минуту подошёл казак — тот самый хорунжий Подобед, что собирался лишить меня жизни. Смотрел по-прежнему недружелюбно.

— Что вам угодно, сударь? — холодно спросил он.

— Мне угодно, господин хорунжий, чтобы вы посмотрели вот сюда, — я указал на труп, — Потом сопоставили с тем, кто и в каком виде только что отсюда вышел и сделали соответствующий вывод.

— Мать твою!.. — судя по вылезшим на лоб глазам, вывод казак сделал единственно верный. — А... а это как оно так?

— Так уж вышло, — просветил я служивого. Потом сжалился и уточнил: — он перепутал царевну с моей дочерью — они одеты одинаково. Я увидел, что он крадется, пошёл следом. Он кинулся — я заорал, он упал с перепугу, да, вишь ты, неудачно — на нож прямо. Но обрати внимание: всего один раз, так что я тут точно ни в чём не виноватый, — меня уже ощутимо трясло и от нервов начинало заносить. — Короче, я буду или вон там на лавке, или у себя. Кому понадобится — пусть обращаются.

Бегом, закуривая, вернулся на лавку, и добрых полчаса курил одну папиросу за другой, пока меня не отпустило хоть немного. Тогда встал и медленно пошёл к себе пить холодный

кофе.

Удивительно, но больше в этот день не произошло вообще ничего примечательного. Так что, приняв к сведению рекомендацию не попадаться на глаза грозной бабушке, проторчал у себя в комнате, изведя огромное количество кофе, коньяка и папирос. Попросил было книгу, но мне принесли сочинения некоего господина Арцыбашева, и это оказалась такая унылая порнотень — куда там моему знакомцу Набокову с его возрастными фантазиями... Книжку выбросил в печку. Понимаю, что не моя, но нефиг смущать неокрепшие умы всякой похабщиной. А вот Распутина надо официально убить и всем местным втемяшить в головы, что я — не он, а то скоро опять начнут мадеру ведрами таскать и фальшивых графинь на благословение водить. Будь она проклята, такая лихая слава...

После завтрака благодаря любезности сестры милосердия Николай Степанович был доставлен в курилку, где выкурил две папиросы разом — первую в удовольствие, вторую впрок. Прапорщик с некоторой тоской думал, что на аттестацию непременно опоздает — хоть по команде рапорт наверняка подан, но когда выйдет следующая возможность? Дай Бог выздороветь — и в полк...

После его отвезли на перевязку, — фельдшер нашел раны чистыми, — и вернули в палату, где, как оказалось, Гумилева уже дожидался визитер, смутно знакомый офицер.

— Штабс-капитан Денисов, честь имею, — отрекомендовался он, и Николай Степанович вспомнил, что это он, только в щегольском костюме, тогда у ворот стрелял в фальшивого Распутина. — Господин корнет, соблаговолите получить приказ и предписание, — Денисов протянул ему бумаги.

— Осмелюсь доложить, я прапорщик... — начал было Гумилев, но Денисов лишь выразительно кивнул на переданные бумаги.

А в тех значились удивительные вещи. Во-первых, приказ, согласно которому прапорщик Гумилев безо всякой аттестации производился в чин корнета. А во-вторых — предписание, из коего следовало, что корнет Гумилев на время отрывается от могучей материнской груди славного Александрийского гусарского полка и прикомандировывается в Регистрационное бюро под начальствование подполковника Балашова.

— Господин капитан... Чему обязан такой честью?

— У нас жестокий кадровый голод, а работы никак не меньше, чем на фронте. Господину подполковнику очень понравилось, как вы держались у Египетских ворот. Набирайтесь сил, выздоравливайте — мы вас ждём, — сказал Денисов, пожал новоявленному корнету руку, козырнул и вышел.

— Случаются же выверты судьбы... — пробормотал Гумилёв и замер, глядя в одну точку. Потом дотянулся до бумаги с карандашом — и принялся быстро писать, строчку за строчкой.

Как прекрасен Цюрих в сентябре! Погода нередко балует солнечными деньками, осенние краски, запах опавших листьев — всё это даёт ощущение незыблемой красоты и основательного покоя, умиротворения. За одним этим можно приезжать в Швейцарию — не зря же прежде сюда рекомендовали ездить успокаивать нервы.

Надежда Константиновна, прогулявшись по городу, вскипятила чай, сделала пару бутербродов — Володя, увлекшись, мог забыть о самом насущном. Когда она вошла к нему в комнату, Владимир Ильич ничего не читал и не писал, просто задумчиво смотрел в окно.

— Володя? Что-нибудь случилось? — спросила Надежда Константиновна.

— Ещё как случилось, кивнул он. — В России чертовщина какая-то творится! В один день убили четырех великих князей, в том числе трёх самых одиозных. Кадеты, октябристы и прогрессисты лишились лидеров. Черносотенцев расстреляли. Юсуповы сгорели, и Пуришкевич вместе с ними. Родзянко застрелился, а Керенский утоп — скажи на милость, кто бы мог всё это повернуть? Эсеры? Анархисты? При чем каждый случай такой, что с другим не вяжется, но все одновременно!

— Но это же... контрреволюция какая-то!

— Именно, Наденька, именно! Основные фигуры, которые могли бы свергнуть Николашку и организовать буржуазный переворот, вышвырнуты с доски. Одним махом! Раз — и нету. Наступи сейчас мир — надо было бы вприпрыжку бежать на выборы и избираться в Думу максимальным числом!

— Но тогда, может, восстание? Свергаем царя — и здравствуй, революция? — с замиранием сердца спросила Крупская.

— Не потянем, — с сожалением и явным раздражением ответил Ленин. — У меньшевиков Мартова и Чхеидзе поддержки в разы больше, чем у нас. Да, можно было бы срочно разворачивать революционную агитацию, и где-нибудь в начале следующего года... Но нас там нет никого! Совсем нет. И знаешь ещё что...

— Что?

— Есть у меня странное ощущение, что это и хорошо, что нас там нет, — тихо произнес Владимир Ильич, не глядя жене в глаза. — Потому что тогда и нас вполне могли — вместе с Родзянкой и Керенским с Милюковым...

— Тогда только одно, — медленно произнесла Надежда Константиновна.

— Что? — не понял он.

— Это царь. Царь избавляется от влиятельных фигур.

— Николай?! Это даже не смешно. Не-воз-мож-но! Невозможно, Наденька! Решительное невозможно!

— Но кто тогда?

— Пока недостаточно сведений. Но необходимо написать товарищам, чтобы затаились. Затаились и ждали.

— Хорошо, Володя, я напишу.

— Гучков, Милюков, Федоров, Родзянко, Керенский, Пуришкевич. Но почему не Набоков? Вот кого надо бы в первую очередь — редкостный же умница, сволочь, — бормотал Ленин, снова глядя в окно.

Я проснулся рано утром. И блюзнить не хотелось — ни всерьез, ни дурачиться: в голове и душе зияла какая-то серая мгла. Наверное, это называется «апатия». Но, скорее всего, это критическая масса новостей и событий превысила какое-то пороговое число, и психика сказала «командир, я пас, побудем за болвана». Матрёна, позавтракав, унеслась к великим княжнам, а я, механически съев что-то, пошёл — уже привычно — в парк, где почти сразу встретился с Кузьмой.

— Вас ждут нынче, в два часа пополудни, запоминайте адрес, барин: Малая, 11, - без всякого ёрничества сообщил садовник. — Пройти просто: по Церковной до следующей после известного вам дома улицы, там направо и через дом. Вход со двора, там вас и будут ждать.

— Спасибо, любезный.

— Спасибой сыт не будешь, — подмигнул вдруг Кузьма, чем настолько удивил, что пожаловал я ему двугривенный — к слову, единственную завалявшуюся в кармане монету, что я использовал в качестве медиатора.

Караулы вокруг дворца были усилены, по парку то и дело проходили патрули, что указывало либо на то, что вчерашнее происшествие не осталось незамеченным, либо на то, что император действительно приехал домой. А, скорее, и то и другое разом. По поводу любителя прыгнуть на нож меня допрашивали еще прошлым вечером, а на сегодня предоставили полную свободу, чем я и планировал воспользоваться. Вот только до двух как-то дотянуть надо — ненавижу ждать, догонять и то веселее.

Впрочем, дружище Хендрикс и руководимое им дорогое мироздание внесли свои коррективы в примитивный план мирно подремать пару-тройку часиков: к одиннадцати за мной пришёл целый полковник в парадном мундире.

— Господин Распутин, прошу следовать за мной, — тоном, намекающим, что возражать чревато, произнес он, и я подчинился. Только гитару прихватил — мне с ней как-то спокойнее. Убирал в кофр я ее на глазах провожатого, так что лишних вопросов не последовало.

В зале, куда меня привёл незнакомый полковник, было в меру торжественно. Мебели не сказать, чтобы много — пара кресел, за ними здоровенная статуя в египетском стиле; небольшой столик, на нем вода, фрукты. В одном кресле сидела пожилая дама... да какое там — настоящая Королева, столько величия и достоинства было в ней, второе оставалось пустым.

— Здравствуйте, Ваше Величество, — почтительно произнес я.

— Здравствуйте, сударь. Соблаговолите сесть, чтобы мне не пришлось смотреть на вас снизу вверх.

Я сделал шаг к креслу, в этот момент пол под ногами вздрогнул, по ногам статуи пробежали трещины, и она стала заваливаться вперед. Выронив кофр, вытянул руки и прыгнул на старушку. Энергии прыжка хватило, чтобы вытолкнуть ее вместе с не самым, наверное, легким креслом, но по ногам мне ударило ощутимо. Комната заполнилась пылью, ворвались какие-то люди.

— Ваше величество, вы в порядке? Землетрясение случилось!

— В полнейшем. Но моему гостю может потребоваться помощь, — невозмутимо ответила императрица и добавила вполголоса мне: — благодарю вас, сударь. И за внучку спасибо. Сейчас ступайте, поговорим вечером или завтра, через два дня я возвращаюсь в Киев.

Мне помогли подняться. Ноги болели, но, вроде, обошлось без переломов. Главное же чудо — что уцелела гитара, без нее тоскливо. Поддерживаемый с двух сторон казаками, я покинул место не состоявшейся, в общем-то, аудиенции.

[1] Песня английской группы The Police, автор текста — Гордон «Sting» Самнер. Если не знаете английского, имейте в виду — вы догадались правильно: песня про даму с низкой социальной ответственностью.

[2] Ложись! (англ.)

Шашлык по-карски и фитиль по-царски

В Московскую контору «Русского акционерного общества граммофонов» стремительно вошёл примечательный посетитель. Был он высок ростом, наголо брит, а под темно-серый пиджак надел кофту вызывающе желтого цвета. Сняв широкополую шляпу, подошел к столику, за которым помещался с интересом рассматривающий визитера клерк — среднего возраста мужчина с залысинами и в черепаховых очках.

— Здрассьте! — сказал, как рубанул, посетитель. — Как я могу найти господина Григория Коровьева?

— Помилуйте-с! — всплеснул руками клерк. — Вам-то он зачем? Или ваша дражайшая супруга теперь грезит исключительно о нём-с? Сочувствую-с!

— Не понял... Какая с-супруга? О чём вы? — оторопел высокий.

— Да как же-с! Третий день, как продаются пластинки — все смели, к слову, новый тираж уже печатают-с, — и третий день дамочки валом: вынь да положь им этого самого Коровьева для немедленного обустройства личной жизни! За Вертинским так не бегали-с, а уж он-то известный любимец публики! И вот вам, пожалте-с: едва одна ушла, так вы теперь-с!

— Нет у меня никакой супруги! А вот вопросы к вашему Коровьеву — очень даже есть!

— Какие, позвольте-с полюбопытствовать? — страдальчески вздохнул обитатель конторы.

— Да простые! Морду набить ему хочу! — громыхнул посетитель, после чего несколько менее уверенно добавил: — а потом выпить.

— И что ж он вам такого причинил-с, что вы теперь к нему столь неласково-с?

— Да стихи мои взял, причем без спросу! И, шельмец, этак повернул, что я сам теперь слушаю и плачу — всю душу, ирод, наизнанку выворачивает!

— А! Так вы поэт-с, молодой человек? Это, знаете ли-с, очень хорошо!

— Я — Маяковский! — заносчиво ответил визитер.

— Ещё лучше, господин Маяковский! — с энтузиазмом откликнулся клерк. — Во-первых, пластинки господина Коровьева в Петрограде писаны-с, так что, полагаю, он и поныне там обретается, хоть его третий день ищут — чтоб новых песен записал, — да всё никак найти не могут. Но главное, всё же, в том, что вы — поэт. У нас, знаете ли, третий день полного ажиотажа! Всем срочно подавай блюз! Моднейшее веяние-с! Знаете ли, у нас тут есть композиторы, которые готовы-с подобное сочинять, да вот беда: поэтов нет таких, чтоб этот самый блю-юз, — он произнес новое слово, старательно вытягивая губы, — верно сложить могли-с. Двое пробовали — шалишь, не то совсем. А вы — смогли, и, между прочим, уже успешны. Дайте-ка... ага, вот она, ведомость. Пластинка с песнею «Себе, любимому» на ваши слова еще вчера-с кончилась во всех магазинах! Так что, господин Маяковский, получается, мне вас сам Бог послал!

Маяковский, обалдев, хлопал глазами.

— Вы это что... серьёзно?

— Серьёзной некуда-с! Ведь что есть первейшая заповедь добродетельного человека-с? «Куй железо, пока горячо», так-то! Вот и давайте-ка его ковать, аванс выдать я уполномочен-с. Надеюсь, стихи у вас с собой?

Субтильного сложения молодой человек в шикарном, но, увы, не слишком подходящем к прохладной уже погоде чесучовом костюме-тройке и модных штиблетах открыл дверь своим ключом и проскользнул в прихожую.

— Фифи! — позвал он.

— Я здесь, мой Масик! — донесся глубокий женский голос из дальней комнаты.

Вошедший плотоядно ухмыльнулся, снял шляпу-канотье, под которой обнаружили щедро напомаженные редкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Прижимая к груди несколько грампластинок, Масик, крадучись, направился вглубь квартиры.

— Фифи! Я настроен игриво!

— Ах, Масик мой! Приди же! Я вся изнемогла!

— А угадай, что я принес тебе, о роза моих вожелений и упований!

— Неужто Варю Панину?

— Нет, душа моя!

— Тогда... Эмская?

— Нет, Фифи. Это Коровьев!

— Коровьев? Фууу...

— Ну, фу не фу, а расхватывали, как горячие пирожки! Так что давай разогреем огонь страсти нежной новомодной музыкой! Ты ж моя козочка!

— Озорничок ненаглядненькой!

Не без сожаления прервав поцелуй, Масик завёл грампластинку, поставил пластинку...

— *Доктор, скажите, что мне так грустно?*

— *Пустое, голубчик, это лишь осень.*

Жизнь замирает, в головушке пусто —

В ней и гнездятся дурные вопросы.

— *Доктор, я больше не верю в удачу,*

В дружбу, любовь и семейное счастье.

— *Батенька, лучше впадайте-ка в спячку —*

Просто проспите любые ненастья.

— *Я разуверился в томных красотках,*

Друг был — да умер, один я на свете!

— *Знаете, милый мой... выпейте водки,*

Граммчиков сотню. И мне, что ль, налейте.

Выпьем, закусим, поспорим про счастье,

Снова нальём — и появятся темы...

Сами себе мы придумать горазды

Жизнь, и любовь, и успех, и проблемы [1].

Пластинка кончилась.

— Знаешь, Масик, — безо всякой нарочитой игривости задумчиво протянула Фифи. — Идём-ка на кухню. Да выпьем там водочки. Граммчиков по сто. Для начала.

Несколько часов спустя, когда совсем сомлевший Масик, он же Вольдемар Аристархович Заиюльский, на заплетающихся ногах убыл к опостылевшей супруге, Мария Арнольдовна Бергер, она же Фифи, бездумно смотрела сквозь заливаемое вечерним дождем окно и шёпотом подпевала давно уже наизусть выученной песне:

— Сами себе мы придумать горазды жизнь, и любовь, и успех, и проблемы...

Наш девиз — ни дня без приключений! И что-то их уже совсем много на мою дурную голову. Понимание перенасыщенности происходящего фатальными событиями пришло вместе с мощным желанием надраться до забытья. Но вот этого мне теперь совсем нельзя — отец, как-никак, звание ответственное. А вот чуть снять стресс — самое то. Ладно, потерплю до randevu с Васильевым — наверняка у него с собой будет, душевный же дядька, хоть и мент.

Пока слуги чистили мой многострадальный костюм, сидел в комнате, пил ледяной кофе и читал газеты. И очень быстро нашел там свежее упоминание Распутина, что не понравилось категорически. Впрочем, я и так достаточно заведён для предстоящей беседы.

Ноги мои слабонервным лучше не показывать: что левая, что правая ниже колена — сплошной синяк. Но ходить можно, хотя и неприятно. Получив обратно свой костюм, взял зонт на случай дождя, гитару и после перекура на ставшей уже родной скамейке в парке заковылял в поисках указанного садовником дома.

Дошёл медленно, но нашёл быстро. И, войдя в калитку нужного мне дома, залюбовался открывшейся картиной почти типичного подмосковного дачного пикника. В углу небольшого участка помещался мангал, над ним колдовал кавказского вида старичок — кажется, это называется «духанщик». Судя по умопомрачительному запаху, дело своё он знал прекрасно. Поближе ко мне за раскладным столиком сидели Васильев и Балашов, оба в штатском. Господа офицеры, чуть раскрасневшиеся, пили помаленьку красное вино, закусывая овечьим сыром и зеленью. Для привычной мне картины не хватало нескольких развязных мадамок в дырявых джинсах и какого-нибудь «Жигана-лимона», звучащего из стоящей рядом «Приорь»[2].

— О, а вот и наш дорогой гость! — воскликнул Васильев. — Здравствуйте, Григорий Павлович, здравствуйте, дорогой!

Я сердечно поприветствовал обоих офицеров. Разговор нам предстоял трудный, но мужики они очень располагающие, конечно.

— Примите-ка с дороги, настоятельно рекомендую — отличное красное от Кипиани из Хванчары, — Валериан Павлович протянул мне бокал.

— Пейдодна, пейдодна, пейдодна! — внезапно закаркал дедок у мангала. Я, удивившись, осушил бокал.

— Доброе вино, спасибо. А дед у вас цыган, что ли?

— Зачем цыган? — удивился Балашов. — Почтенный Месроп — уроженец Карса, в коем и прожил значительную часть своей жизни. Он готовит шашлык по-карски — если не доводилось пробовать, то сегодня вас ожидает немало открытий чудных!

Я сопоставил запах с тем, что потреблял на пикниках и шашлычных в прошлой жизни и согласился: не доводилось.

— Догадываюсь, что у вас вопросы, сомнения, разговоры, но прошу: давайте немного просто тихо посидим на свежем воздухе, покурим, выпьем ещё по чуть? — вполголоса предложил жандарм.

— Да, вы правы, торопиться нам, кажется, некуда.

И мы славно посидели ещё с четверть часа, а потом почтенный Месроп довёл-таки шашлык до совершенства, и следующие полчаса мы воздавали должное искусству старого духанщика. Заявляю ответственно: ничего подобного я действительно никогда не пробовал.

Но вот и поели, и выпили, и анекдоты рассказали, и не по разу покурили — пора

добраться до картечи, как было написано в школьном учебнике чтения за второй, что ли, класс.

Тот же самый Месроп к этому времени сварил три джезвы кофе по-турецки, унес в дом. — Пора и нам, — вставая, сказал Васильев. — Идёмте, господа.

В доме мы расположились в небольшой уютной гостиной в викторианском стиле — такая уютная кроличья нора, снова закурили.

— Итак, Григорий Павлович, — совершенно трезвым голосом произнес Васильев. — Я полагаю, вы нас вызвали не оттого, что изволили соскучиться? Кроме того, обо всех местных происшествиях, включая вчерашнее, мы уже осведомлены.

— Да, господа, вопросы есть, и немало, и глобальные. Хотя начнем всё-таки с местных. Глупо было бы полагать, что я приехал сюда как на курорт, но смею заметить, что количество смертей и смертельно опасных ситуаций здесь — в царской, на секундочку, резиденции, — превосходит самые смелые представления о возможном. На мой взгляд, охрана царской семьи налажена из рук вон плохо, и даже имея в виду недавнее усиление — простое количественное — проблемы не снимает. И я сейчас не о своей драгоценной тушке пекусь, и даже не о дочери, на мой не слишком просвещенный взгляд, всё куда печальнее. Потенциально здесь очень опасно для жены и детей государя. А мы все знаем, что значит семья для Николая Второго. Но, да и это не главное, о чем я хотел бы поговорить. Черода убийств — назовём уж вещи своими именами — потрясла верхушку российского общества. И мне не особо жаль Керенского там, «царя Кирюху» или всяких Родзянок — ну, замочили и замочили, дело житейское. Но два момента в этом всё наводят на печальные размышления, — я волновался, и от волнения сбивался на привычный язык грядущих времён. — Первый момент всё же личный: в газетах поднимается вой, что всех этих достойных людей убрали по наущению Распутина и императрицы. Это, с одной стороны, ещё сильнее угрожает моей личной безопасности, с другой же — усугубляет кризис, напрямую затрагивающий верховную власть в стране.

Но, ёлкин штепсель, и это второстепенно. А вот та резня, что вы устроили — ни в какие ворота не лезет.

— Почему это? — в голосе контрразведчика я, к удивлению, расслышал нотки обиды. — Ведь прямо по вашим заветам, один в один, да без подготовки, к тому же!

— По моим?!..

— Ну да... А кто советовал — ещё покойным Юсуповым и не менее покойному Пуришкевичу, между прочим! — извести под корень буржуазию и великих князей? А уж эта фраза... — Балашов прикрыл глаза и старательно воспроизвёл: «От Васильева, к примеру, ожидают, что он всего-то очередного чирика съест, а он — рраз! И устраивает масштабное кровопролитие» — что, как не руководство к действию? Или вы полагаете кровопролитие недостаточно масштабным? Ну и запросы у вас, в таком случае!

— Господи, боже мой, Джимми Хендрикс, твою маму негритянскую, — пробормотал я, трясущейся рукой хватая папиросу. — То есть это всё заварил я?

— Ну да, — синхронно кивнули мои собеседники. Кроличья нора с шашлыком и Хванчкаррой стремительно превращалась в зелёную «Матрицу» с агентом Смитом во всех ролях. — Вы заварили, «Бешеные псы» воплотили.

— Кто?!

— «Бешеные псы», — любезно повторил Васильев. — Это, скажем так, анонимная офицерская организация, состоящая исключительно из людей, которым надоело наблюдать,

как Родина летит в пропасть.

— Чуваки, да мы все охренели, — севшим голосом сказал я. — Но это же бред! Появляется невесть кто из хрен его знает откуда, что-то говорит, и тут же неглупые, в общем-то люди, не проверив, спешат воплощать его бредни?.. так не бывает!

— Конечно, не бывает, — кивнул жандарм и, прищурившись, спросил: — Ответственности боитесь?

— Да какой там... Мне отвечать только перед Богом, а вам ещё перед царём и народом. Недостаточно этого для спасения империи! Ну, слили жожаков — так мгновенно новые набегут же...

— Ну, во-первых, не мгновенно, а во-вторых, кто вам сказал, что этим дело ограничится? Это не решение вопроса, ни в коем разе. Это необходимая отсрочка, чтобы мы все смогли перегруппироваться и спасти империю уже по-настоящему. К слову, о «не проверив»: ваши сведения и были проверкой, еще одним подтверждением того, что мы и так знали. Организация формировалась более года, и цели были понятны с самого начала — это я на тот случай говорю, если ваша ранимая совесть все еще ужасается рекам крови. И по каждому фигуранту собрано сверхсекретное досье, хранимое в надежном месте — это говорю, чтоб было понятно, что никакой огульности нет. Работать пришлось спонтанно, есть такое дело. Но, если б не стечение обстоятельств... С другой стороны, один Бог ведает, кого б тогда взорвали Феликс с Пуришкевичем — динамита у них там с полвагона, наверно, было.

— Ладно, пусть так. Но, читая все эти газеты, я понял, в чём ваша... ладно, наша системная ошибка. Рассказать?

— Да уж, будьте так любезны!

— Пытаясь спасти самодержавие с помощью террора, мы рубим это самое самодержавие на корню! По одной элементарной, блин, причине: монополия на насилие должна быть исключительно у государства! Иначе это ещё более жуткий подрыв авторитета власти, вы понимаете? Более жуткий, чем все сказки про Распутина, вместе взятые! Вот и выходит, что благими намерениями вымощена дорога в ад!

— Отлично сказано, bravo! — раздался голос от дверей. Офицеры побледнели и принялись вставать по стойке «смирно»: в дверях стоял сам государь император Николай Александрович, самодержец великия, и малыя, и белыя и прочия. — Полностью согласен с Григорием Ефимовичем, — произнес император, подходя к нам и садясь в кресло. — И про благие намерения, и про то, что лишь государство вольно карать заблудших. А раз уж так совпало, что государство в данном случае — это Мы, соблаговолите объясниться, господа конспираторы. Да вы садитесь, садитесь. И вот ещё о чем поведайте: кому из вас пришла в голову светлая идея вести подобные беседы в комнате, окнами выходящей на общедоступную улицу? Мы могли бы предложить вам более подходящие помещения — взять хоть Петропавловскую крепость или Новую Голландию. Да и в Шлиссельбурге достаточно надежно. Итак, я вас слушаю.

— Ваше императорское величество, — вновь поднялся жандарм. — Полковник Васильев, адъютант штаба Отдельного корпуса жандармов. Полностью вверяю себя вашему величеству и прошу учесть, что мною двигало исключительно желание спасти наше многострадальное отечество.

Доклад полковника занял около часа. Надо отдать ему должное, он вообще не врал ни в единой известной мне детали, всю ответственность при этом тянул на себя. Николай слушал

его с кажущимся равнодушием, но я чувствовал, что царь в бешенстве. Когда Валериан Павлович умолк, выяснилось, что предчувствия не обманули.

Кем там последнего царя именовали? Сусликом? Шутники, блин. Таких свирепых хищных сусликов в природе не существует, иначе бы в зоопарках полукилометровые зоны безопасности огораживали. Его императорское величество изволил орать, причем исключительно по делу. Царственная речь была щедро снабжена идиоматическими конструкциями на немецком, английском и великом-могучем языках, причем таких загибов я никогда ранее не слышал. Излагал государь-император весьма толковые, по моему мнению, вещи, в целом повторяя мою мысль, что на терроре ничего прочного не построишь, а создавать Госужас — накладно во всех смыслах и вообще-то чревато много чем нехорошим. Но главное: хотя расфитилил он господ офицеров до молекулярного уровня, похоже, (что, конечно, удивительно), светит им не аннигиляция у стены той самой Петропавловки, а, в некотором роде, продолжение банкета.

— ...за спасение ваших жизней на полном серьезе рекомендую в ближайшей церкви свечу святой Анастасии Узорешительнице поставить, — уже успокаиваясь, произнес император. — Когда бы вчера черносотенец не пытался зарезать мою дочь, в порошок обоих стер бы, не разбираясь. На сём разнос окончим, дозволяю сесть и курить, — сказал царь и громко хлопнул в ладоши.

Вновь открылась дверь, два казака втащили все тот же столик со двора, только вместо пашлыка, сулугуни и «Хванчкары» на нем теперь были коньяк и нарезанные лимоны.

— Григорий Ефимович, — обратился ко мне Николай, попыхивая папиросой. — Теперь ваша очередь. Расскажите мне ваше пророчество про гибель империи, как можно более детально.

Я, старательно подбирая слова, рассказал ему все, что помнил про Февральскую революцию и все последующие события, оставляя пока в тумане историю страны года после 1930-го.

— И вы считаете, что, кроме как жестоким насилием в отношении людей, многих из которых я долгие годы полагал надежной опорой трона, спастись больше нечем?

— Я не знаю, ваше величество, с какого места вы слышали нашу беседу, но я как раз напоминал господам офицерам, что насилие в нашем случае, хоть, увы, и необходимо, но является не более, чем отсрочкой. Проблема в том, что, если не решить основные проблемы, после всего, что уже устроили и всего, что сейчас накручивается в прессе, империя может накрыться ещё громче, чем в прошлый раз. В смысле, кровавее. Хотя, скорее всего, и чуть позже.

— Что бы вы посоветовали сделать?

— Ничего не стану больше советовать, ваше величество. Уже посоветовал на свою дурную голову, результат вам известен.

— Разумно, друг мой, хоть и запоздало. Как говорят мои лейб-конвойцы, «хорошо быть умным раньше, как моя жена потом». Так что, снявши эту самую упомянутую голову, по волосам плакать поздно, хоть вы их и сбрили заблаговременно.

— Что ж, государь, возможно, вы и правы, — на Балашова с Васильевым страшно смотреть было — после выволочки, которую они получили, моя манера беседовать с «хозяином земли русской» их, похоже, окончательно добила. Николай же на эту несообразность внимания не обратил, ну, или сделал вид. — Главное, что вам необходимо — это сплотить как можно больше верных вам людей. Верных до доньшка, безоговорочно и

безрассудно, как тот ссыльный жандарм, что застрелился, узнав о вашем отречении.

— Это какой же? — заинтересовался император.

— Увы, фамилию не помню. Он еще рабочие союзы организовывал в начале века.

— Зубатов?! Вот уж ничего себе новости... Но продолжайте, прошу вас.

— Люди эти нужны во всех сферах жизни и общества, но прежде всего — в силовых структурах.

— Простите?..

— Армия, флот, полиция, жандармерия, — пояснил я. — Но тут нужно быть особенно осторожным. Могу ошибаться, но, кажется, все генералы, что окружают вас в ставке, в моей истории убеждали вас отречься от престола, а такую позицию верноподданческой я бы никак не назвал...

— Я бы тоже, — задумчиво пробормотал император. — Так, господа. Совецание на этом прекратим. Мне нужно многое обдумать. Григорий Ефимович, вас жду к себе завтра же, территорию дворца прошу не покидать. А вас, господа, причем обоих, — послезавтра к полудню. Только как бы нам замотивировать такую аудиенцию?

— Осмелюсь доложить, мы оба назначены расследовать гибель великого князя Александра Михайловича, — подал голос Балашов.

— Вот как? Что ж, быть по сему. Эх, Сандро, Сандро... Ладно, дела пока в сторону. Вышьем, господа.

Балашов разлил коньяк, царь взял бокал и встал.

— За Россию! — мы выпили до дна, закусили лимоном. Царь с прищуром посмотрел на меня. — Наслышан, наш дорогой друг, что вы теперь изрядно музицируете?

— Как умею, ваше императорское величество, — пожал я плечами и открыл кофр. Настроил, погнали. Настроение блестящим не назвать, поэтому что вспомнилось, то вспомнилось.

Ту собачку, что бежит за мной зовут «Последний шанс».

Звон гитары и немного слов — это все, что есть у нас.

Мы громко лаем и кричим, бросая на ветер слова,

Хотя я знаю о том, что все это все это зря.

На моих ботинках лежит пыль многих городов.

Я раньше знал, как пишутся буквы, я верил в силу слов.

Писал стихи, но не стал поэтом и слишком часто был слеп.

Мое грядущее — горстка пепла, мое прошлое — пьяный вертеп.

Но были дни, которые запомнятся мне навсегда —

Иная жизнь, иные времена[3]...

Куплет про грязный подвал, женщин на стенах и рок-н-ролл я благоразумно опустил.

— Верно, Бог, — император перекрестился, — действительно решил дать последний шанс не только вам, но и нам, многогрешным. Не упустить бы. Григорий Ефимович, во дворе оставлю провожатых для вас, это не обсуждается. До встречи, господа, — Николай Второй встал и стремительно вышел вон.

Мы дружно закурили и с минуту сидели в тишине. Потом Васильев разлил коньяк и встал.

— Здоровье его императорского величества!

Мы встали и выпили.

— Не отпускает, признаться, мысль: ведь что обычно с бешеными псами делают?

Пристреливают же, — вздохнул я.

— Авось прорвёмся, — махнул рукой полковник. — Меня сейчас куда сильнее заботит другое: его величество, к несчастью, весьма подвержен влиянию. Нехорошо так про государя, но он нередко бывает подобен флюгеру. А в нашем случае это смертельно опасно — как для нас самих, так и, в первую очередь, для России. Это сейчас он на нервах из-за нападения на Анастасию Николаевну...

— По этому поводу могу предложить свежую идею, — откликнулся я. — Правда, она куда безумнее той эскапады, что начали проворачивать вы, но должно сработать. Делать надо быстро, но нужна обширная подготовка, куча денег и еще каких-то людей привлечь придется. Слушайте...

Давно, со времен студенческих посиделок за литрушкой «Рояля», не слышал я такого количества отборного мата, как в этот день, ознаменованный превосходным шашлыком, общением с двумя венценосными особами и натуральным землетрясением.

О том, что Григорий нашёлся, Вертинский знал еще в поезде, найдя в газете короткую заметку о фуроре, который тот произвел в царскосельском госпитале. По словам корреспондента, там танцевали даже безногие. Что ж он им такое сыграл-то?

С вокзала он взял извозчика и поехал через почтамт. Там обнаружилась посылка с нотами как раз от Григория и телеграмма от некоего капитана с Галицийского фронта, в коей утверждалось, что вольноопределяющийся из Омска Летов, Игорь Федорович, пал смертью храбрых 7 июня во время взятия Луцка. Задумчивый, Александр поспешил домой.

[1] Текст автора.

[2] Если смысл последнего пассажа ускользает от вас, спешу поздравить: вы счастливый человек.

[3] Песня группы «Крематорий», автор — Армен Григорян.

Мадагаскар-буги

Остаток дня законопослушно планировал провести «дома» — то есть во дворце, куда меня отконвоировали выделенные царём казаки. И если любопытством они, определенно, некоторым страдали — еще бы, государь-император трех господ изволил крыть по матушке! — то врожденное или благоприобретенное воспитание не давало его проявить и спросить простым русским языком «а чё было-то?» Так что у любимой скамейки в парке мы с ними распрощались, и, не успев я в удовольствие выкурить папиросу, как прибежала Матрёшка с обеими подругами, и все трое незамедлительно потребовали от меня песен, что я им с радостью и предоставил: нужно было утрясти в голове весь этот непростой день, так что играл и пел много. В удовольствие, так что понравилось не только детям, но и взрослым, которые тоже подтянулись на веселье.

Но если я наивно полагал, что приключения мои на сегодня закончены, то Джимми Хендрикс располагал совершенно другой информацией. Потому как к заслушавшемуся меня, любимого, полковнику Оладьину подбежал нижний чин и довольно громко произнес:

— Так что, ваше высокоблагородие, осмелюсь доложить: там три господина предполагают брать госпиталь штурмом!

Всё стихло, даже я.

— И чего желают эти господа? — нахмурился Оладьин. — К свержению государя императора не призывали?

— Не могу знать! — бодро отрапортовал гонец. — А только требуют они указать, где ныне обретается некий господин Коровьев.

— Чутье какая! И что, сильно вооружены?

— Никак нет, ваше высокоблагородие! Как есть штатские!

— Позвольте, господин полковник, — вклинился я. — Сдаётся, сии господа меня для чего-то ищут. Идёмте, спасём госпиталь от баталии?

— Так точно, ваше благородие, — повернулся гонец уже ко мне, — а то там господин урядник терпение терять изволит, за нагайку хватается.

Я как-то иначе в детстве представлял себе звериный оскал самодержавия, вот честное слово. На классных часах перед ноябрьскими праздниками нам такие ужасы рассказывали, помнится... Причем, с каждым следующим классом в этих ужасах появлялись все новые леденящие душу подробности. И уж ни на какой политинформации не могли мне рассказать совершенно сюрреалистическую историю, которую я прямо сейчас наблюдал воочию. А посмотреть, поверьте, было на что: десятка полтора вооруженных до зубов солдат и офицеров, среди них — три сестры милосердия, причем с одной из них я пил чай, а вторая сопровождала меня на фортепиано. И три безрассудно храбрых дельца от музыкальной индустрии — двоих я узнал, — и тот, что торговался со мной тогда на Фонтанке, сейчас был бледен, как мел, но с позиций не отступал, хотя голос возвысил уже почти до визга:

— Умоляю, господа! Никаких посягательств на устои империи, покой Августейшей семьи и раненых защитников отечества! Скажите же нам наконец, где можно найти господина Коровьева, и мы тотчас оставим вас в этом самом покое!

— Господа, господа! — протолкался я вперед. — В свою очередь, предлагаю вам немедленно закончить это вавилонское цирковое представление и перестать возмущать

общественный порядок! Вы искали меня? Я здесь, перед вами!

Все трое размашисто перекрестились (хотя как минимум двоим за такое могло прилететь от излишне ревнивого ребе, прознай он) и дружно рухнули на колени. В госпитальных воротах повисла тишина.

— Однако, — пробормотала Александра Федоровна.

— Григорий Павлович! Отец родной! — возопил магнат от звукозаписи. — Не губи, Христом-богом молю! — и, вызывая в присутствующих совсем уж лютую оторопь, пополз ко мне на коленях.

Что происходит, черт возьми?! Если я правильно помню школьные уроки истории, такое поведение при дворе уж лет триста, как не в моде! Но тут все разъяснилось. Как оказалось, весь этот дикий перфоманс возник на стыке бизнеса и искусства, а безрассудная храбрость исполнителей была продиктована, прежде всего, жаждой наживы в сочетании с непрошибаемой верой в успех своего безнадежного предприятия. Короче, пластинки мои «выстрелили», да ещё как! Тиражи сметались с прилавков быстрее, чем их успевали печатать, часть пластинок таинственным образом исчезла на полпути от завода в Апрелевке до Москвы, и теперь они продавались частным образом за какие-то несусветные деньги. Ноты тоже имели грандиозный успех, так что теперь все эти акулы шоу-бизнеса ничего так не желали, как «продолжения банкета», причем чем скорее и обильнее, тем лучше.

— Тысячу за песню! Три тысячи! — кричал граммофонщик, не вставая при этом с колен. Народ вокруг загудел удивленно.

— Господа, тихо! Тихо, говорю! — мне пришлось повысить голос. — Во-первых, встаньте с колен и вообще прекратите этот балаган. Во-вторых, я настаиваю, немедленно принесите извинения ее императорскому величеству, их императорским высочествам и вообще всем людям, которых вы тут, вольно или невольно, взбаламутили. Ну и, в-третьих, дела не любят шума.

— Их... величества?.. Высочества?.. — выпучил глаза делец.

— Ну да, а то вы не видели, куда ломились?

— Нам сказали, вы выступали в этом госпитале, и всё, что мы хотели, так это попытаться разузнать, куда вы направились далее...

— Мы не держим зла, — величественно и достаточно прохладно произнесла императрица. — Григорий Павлович, уймите их наконец и возвращайтесь. Господа, расходимся!

Опущу весь тот дурной лепет, который излился на меня после того, как эти бедолаги осознали, перед кем они тут комедию ломали. Предварительно договорившись с ними о записи аж двадцати песен по пяти тысяч рублей за каждую, условились встретиться на этом же месте завтра в полдень. Господа притащат всю свою аппаратуру, а я постараюсь за оставшееся время найти нам всем помещение.

Расставшись с ними, взял за руку Матрёну, и пошли мы в свои комнаты — отбирать репертуар на будущие пластинки. Надо бы обойтись без допускающих двойное толкование песен — а то подрыв и без того на соплях держащихся основ в мои планы не входит. Когда уже гении серебряного века понапишут мне блюзов и рок-н-роллов?!

Нашему шальному мирозданию главное вовремя и погромче задать правильный вопрос. Потому что два свежих текста от постояльца того самого госпиталя, который я только что защитил от вторжения алчущих прибылей продюсеров, обнаружились как раз на столе у меня в комнате. Крепко же я впечатлил Николая Степановича нетленкой Майка Науменко,

мда-с! Ой-вэй, как говорят мои деловые партнеры, когда думают, что их никто не слышит, далеко пойдём!

*Ты была, всего-то-навсего, дочкой вождя,
Ты явилась ко мне засветло в ризах дождя,
И в душе моей надломленной вспыхнул пожар,
И поднялся, околдованный, весь Мадагаскар!
Барабаны отбивают стуки,
Витые роги извергают звуки,
В этом месте больше нет скуки —
Весь Мадагаскар танцует буги!
Самозабвенно пляшут девы — по племенам, по родам.
И ты давно в костюме Евы, и я — нагой, как Адам.
Нет, это вовсе не проклятье — это радости дар,
И стонет в танцевальной страсти остров Мадагаскар!
Барабаны отбивают стуки,
Витые роги извергают звуки,
В этом месте больше нет скуки —
Весь Мадагаскар танцует буги! [1]*

«Ну ты и жжёшь, Николай Степанович, — подумал я, мысленно уже напевая этот несомненный хит. — Цензоры прибьют наши уши к Александрийскому столпу, или как там эта палка посреди Питера называется!»

Васька отчаянно завидовал закадычному приятелю Прокопу. Да, он, конечно, вкальвает в трактире у Коробейникова с утра до вечера, уматывается вусмерть, но и деньгу с того имеет, мамку с сёстрами кормит — батка-то как на войну ушёл, так и ни слуху, ни духу, сгинул давно, поди. А Ваське, что ни день — закон божий, естественная история, латынь эта проклятушая... Эх, тяжела и бессмысленна жизнь гимназиста с середины августа по начало июня! А ещё надзиратель с кондуитом, попадись ему только не в том месте не в том виде, света белого не взвидишь... Но вот если ближе к вечеру, да на любимом месте, где Пресня в Москву-реку впадает, против Дорогомиловской набережной, встретить дорогого дружка... Тут и поболтать, и похвастать, если есть чем, а то и затеять можно всякое. И надзиратель сюда никогда... впрочем, тьфу-тьфу-тьфу!

Когда Васька пришел в условленное место, Прокоп сидел на берегу и вид имел самый мечтательный.

— Хочу стать музыкантом, — поделился друг, не отрывая взгляда от реки, по которой ползли три лодки.

— Чего это ты вдруг? — спросил Васька, сядя рядом.

— У нас в трактире новые пластинки, заводят без перерыва — публика требует. Граммофон сломался уже, новый поставили, а им все давай и давай. Одно и то же, представляешь? Но оно того стоит!

— Да что ж там такое, говори толком!

— Там новая музыка, Васька. Совсем новая. «Блюз» называется. Печальная и простая. И понятная, хотя, кто-то говорил, что этот Коровьев и для господ песни сочиняет, со всякой заумью.

— Коровьев? Это кто? — не понял гимназист.

— Певец этот модный, которого пластинки. И я так хочу!

— Так это, поди, сколько лет учиться надо? На пианино играть хотя бы?

— Ништо! Коровьев вовсе на гитаре играет!

— Тю, гитара. Где взять-то её?

— Так я подумал — гитара, оно и хорошо, конечно. Но ведь и на балалайке ж сыграть можно? А на ней я немного умею — дед учил. Жаль, пропил батя ту балалайку...

— Вот ты завелся! — засмеялся Васька. — Ну, какой из тебя музыкант?

— Пока никакой, — честно признался Прокоп. — Но главное ведь — это хотеть!

За следующие два дня в васькиной жизни произошло огромное количество событий, и это не считая учебы и домашних нагоняев — как обычно, совершенно ни за что. Уже назавтра у себя во дворе на Проточном Васька услышал необычную песню — как оказалось, тот самый блюз того самого Коровьева. Он пел про мотылька. Сосед хвастался новыми пластинками, да так, что половине переулка слышно было. И всем рассказывал, что это такое, и как ему посчастливилось купить эту редкую редкость, за которую вся Москва давится. Музыка Ваське понравилась, но в смятение чувств отнюдь не привела. Однако Прокопа он одного не оставил, и весь вечер они обсуждали, где тому достать балалайку. А на другой день за тридевять земель, аж на Сухаревке, выследили пьяного балалаешника и, грешным делом, балалайку-то у него и украли. Теперь друзья обсуждали, где найти столяра, чтоб спереть у него морилку: Васька, как начитанный всяких умных книг, в том числе про сыщиков, порекомендовал трофей перекрасить, чтоб никто не узнал.

А на третий вечер Прокоп сидел опять на берегу реки с некрашеной пока балалайкой в руках, и, неуверенно брякая по струнам, пытался даже петь:

Гадала цыганка мне раз по руке —

С тех пор пронеслось много лет —

Сказала: «Пройдёшь ты всю жизнь налегке,

А сгинешь там, где рассвет.

Афиша в Петрограде

Спешите видеть!

Проездом из Одессы в Монте-Карло! Известный певец Алексис Заворотный исполнит печальные романсы г-на Вертинского и новомодные блюзы г-на Коровьева! Представление единственное, 10 октября в заведении Кошмарова на Песочной набережной! Билет 10 руб.

А день все не кончался и не кончался. Двадцать песен — шутка ли! Причем две из них пришлось сочинить, и восемнадцать — вспомнить. Но, вынужден признаться, что представители грамофонного общества, или как оно там, напали на меня очень своевременно: в свете того, что мы сегодня обсуждали с господами офицерами под занавес пикника, деньги мне сейчас понадобятся и, крайне желательно, деньги огромные. Так что работаем, Матрёшка моя...

Дочь — а я, вот чудо, успел уже сродниться с моим утконосиком, будто всегда тут была, — помогала, и немало. Суждения ее были временами парадоксальные, но по-житейски верные. Так она вслед за Надей Юргенс забракowała «Город золотой», причем, мотивируя точно так же — усталостью общества от поповщины! Но Надя у нас вся из себя благородная девица из училища, а Матрёна — крестьянка из Сибири, вот в чем штука-то... Но это ладно. Когда я ей спел чайфовское «Ой, йо...», благо разумно заменив неведомый

«телек» газетами, она мне указала, что песня эта безысходная, а надежду все же стоит людям давать, а не толкать к нехитрому набору из бутылки и веревки с мылом. Короче, папа, блюз — дело хорошее, но вот чтоб только не безнадёга, ладно?

А ведь она совершенно права — безнадёги тут и без моей помощи — ложкой ешь.

К полуночи всё же управились. У меня заплетались пальцы и язык, дочь клевала носом.

— Пап, а спой колыбельную вот прямо для меня, а? — вдруг попросила она.

Я подождал, пока она уляжется, сел рядом с кроватью на табуретку.

Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра в полночный безоблачный час.

Распахивает небо сверкающие недра для зорких и радостных глаз.

Сокровища вселенной мерцают, словно дышат, звенит потихоньку зенит.

А есть такие люди, они прекрасно слышат, как звезда с звездой говорит:

— *Здравствуй!*

— *Здравствуй!*

— *Сияешь?*

— *Сияю!*

— *Который час?*

— *Двенадцатый, примерно.*

— *Там, на Земле, в этот час лучше всего видно нас.*

— *А как же дети?*

— *Дети? Спят, наверно.*

Как хорошо, от души, спят по ночам малыши —

Весело спят, кто в люльке, кто в коляске.

Пусть им приснится во сне, как на Луне, на Луне

Лунный медведь вслух читает сказки [2] .

Как допел, как добрался до кровати, как разделся, как ложился и убрал ли гитару в кофр — простите, не помню. Устал. Но что ребенок отрубился еще на первом куплете — помню отчетливо.

Утро принесло понимание, что скоро прискачут ретивые представители рекорд-лейбла, а я, хоть музыкально и готов, помещение нам не то, что не сыскал, но даже не пытался. И плохо представлял, с какого конца вообще браться за это дело. Можно было бы напроситься к Вырубовой или даже на конспиративную дачу к жандармам, но высочайшим повелением покидать периметр мне противопоказано. Что ж, пойду-ка поброжу, может, на свежем воздухе и появится удачная мысль.

Но сперва нам принесли завтрак. Потом, едва я дернулся к первой папиросе, за мной снова пришел бабушкин адъютант, и оставалось только молиться всем умершим блюзменам, чтобы на сей раз обошлось без гигантских статуй и внезапных землетрясений. И ещё несколько угнетала мысль, что я так и не сподобился узнать, как же зовут вдовствующую императрицу. Ну не до того мне было. А спросить у моего провожатого — как-то неловко. Ну да ладно. На этот случай есть официальное титулование: очень удобно, не ошибёшься.

Статуй точно не было: пустой зал, на дальней от нас стены — две картины. Большие, но до нас разве в мощный ураган долетят. А так — стол (соки, фрукты), два кресла.

— Здравствуйте, ваше императорское величество.

— Здравствуйте, сударь. Надеюсь, сегодня нам дадут спокойно пообщаться?

— Я весь в вашей воле, но за высшие силы поручиться, понятно, не могу.

— А жаль, — ехидно заметила императрица.

В этот самый момент дверь распахнулась, в комнату бодро зашёл Николай Александрович.

— Доброе утро, мама! О, кого я вижу! Здравствуйте, наш дорогой друг.

— Ники, доброе утро. У тебя что-нибудь срочное?

— Да вот как раз разыскивал Григория, нам необходимо пообщаться.

— Охотно верю, но, Ники, — тут бабушка ненавязчиво перешла на английский, — мне тоже нужно с ним пообщаться, и заверяю тебя, как только я найду разговор исчерпанным, направлю этого незаурядного господина к тебе.

— Благодарю, мама, — на том же языке ответил государь император и, коротко кивнув, вышел. На меня даже не посмотрел — но где я, а где император...

— Итак, Григорий Ефимович, его императорское величество любезно согласился вас подождать, — я клянусь, она говорила без тени улыбки! — Начнем же наконец наш непростой разговор. Некоторым образом я в курсе ваших удивительных обстоятельств. Поверить в них весьма затруднительно, но как-то вот приходится... Скажите, вы ведь поняли мой разговор с сыном? — она вновь перешла на инглиш.

— До последнего слова, ваше величество, — подтвердил я по-английски же.

— Я так и думала. Прошу, скажите: что ждет империю:

— Крушение, — честно ответил я. — Революция.

— Моя личная судьба? Уцелею?

— Вы — да.

— А они? — императрица указала подбородком на дверь.

— А они — нет. Расстрел. Примерно через полтора года.

— Стоп! — резко сказала императрица и вернулась к русскому языку: — Продолжим все же в ином месте. Полковник! — возвысив голос, позвала она. Мгновенно возник все тот же адъютант. — Друг мой, я нахожу это помещение ужасно душным и желаю продолжить беседу с нашим гостем на свежем воздухе, благо сегодня не холодно и нет дождя. Распорядитесь, чтобы вот это всё через двадцать минут было в детском домике, — и уже мне добавила: — Там и продолжим нашу беседу. Да, не утруждайте себя более титулованием, обращайтесь по имени-отчеству.

— Как вам будет угодно, — поклонился я и вслед за нею вышел в коридор. Императрица прошла вперед, а мне пришлось срочно решать таки ставший архинасущным вопрос. К счастью, слуг вокруг было в достатке — не то пять, не то семь, не считал.

— Любезный, — светским тоном обратился я к одному из них. — Не подскажите, а как зовут ее величество вдовствующую императрицу? А то запомнил что-то.

Мда. Не тем, не тем я в жизни занимаюсь — надо было идти в театральные режиссеры. Вон, за несколько секунд какую шикарную немую сцену поставил, как раз для финала «Ревизора». Станиславский, поди, обзавидовался бы.

— Так... Мария Фёдоровна же! — прохрипел спрашиваемый минуты так через полторы, едва очухавшись от шока.

— О, точно, как я мог забыть! Гран мерси! Богата, смотрю, старушка Европа Фёдорами, — последнюю фразу пробормотал уже на отходе, но, кажется, ею я добил несчастных окончательно. Но да бог с ними, меня бабушка Мария Фёдоровна ждёт в детском домике, а надо ещё успеть покурить наконец и выяснить, а где это, собственно.

Но всё прошло штатно. Итог — те же в милом павильончике на островке. Вокруг, вроде, совсем никого.

— Продолжим, — деловито изрекла императрица. — Опустим всякую мистику, «верю-не верю» и прочий вздор. Быстро, тезисно, по порядку: как оно было?

Я послушно изложил ей последовательность событий от февральской революции до расстрела царской семьи.

— Ники знает? — быстро спросила она.

— Еще далеко не все — сами знаете, Мария Фёдоровна, мне к нему после вас.

— Что со мной стало?

— Насколько помню, вас обворовали английские коллеги, после чего вы доживали век почему-то в Дании. Только почти через сто лет ваш гроб перевезли в Питер и похоронили рядом с мужем.

— Ну, с Данией как раз ничего удивительного, я всё же датчанка по происхождению. То, что сейчас происходит, в том числе с моими родственниками, — все эти смерти, ваших рук дело?

— Скорее, моего языка.

— Это поможет?

— Едва ли, в лучшем случае, отсрочит неизбежное. Причем оставшиеся с перепугу могут шарахнуть так, что и собирать нечего будет среди россыпи удельных княжеств...

— Даже так? Ладно... Скажите, что может нас спасти?

— Понятия не имею. Я не историк, Мария Федоровна, я всего лишь музыкант, а в школе — это как здесь гимназия — отнюдь не был усердным учеником.

— Но, зная, как было, предположить-то вы можете?

— Несбыточное-то? Отчего бы не предположить... Спасти империю, ваше величество, может только натуральное чудо. Простите за дерзость и прямоту речи, но вот представьте себе вашего сына Николая Александровича, нашего государя-императора, хозяина земли русской, решительным и бесстрашным сильным правителем, не боящимся ничего и никого? Ломающего вековые устои, льющего — увы! — такие реки крови, что Петр Алексеевич Первый и даже Иван Васильевич Четвертый нервно курят в сторонке, застенчиво краснея как гимназистки на морозе? Представьте себе вереницы бывших дворян, купцов и фабрикантов, с чады и домочадцы уныло бредущие по шоссе Энту...по Владимирскому тракту, поднимать Сибирь-матушку. Представили?

— Да-а, образно, — оценила Мария Фёдоровна. — Скажите, а по-другому — никак?

— А как ещё, если империя рассыпается в пыль не оттого, что какие-нибудь социалисты, кадеты или анархисты мутят воду, а потому как прогнила насквозь. Так, как прежде, жить уже почти никто не хочет и не может, а те ребята, что сидят наверху — я имею в виду всяких министров и прочих чиновников — они понятия не имеют ни что нужно делать, ни как удержаться от этой страшной гибели.

— А теперь по пунктам, пожалуйста.

— Прямое правление императора — Думу распустить до лучших времен, то есть навсегда. Лютый контроль министерств и ведомств, сокращение громадного бюрократического аппарата. Ни в коем случае не проиграть войну. Непременен и в скорейшей перспективе решить крестьянский и рабочий вопросы, выбив табуретку из-под ног социалистов. А дальше — аграрная реформа, индустриализация, электрификация всей империи, всеобщее образование, развитие здравоохранения...

— И проблема с престолонаследием, — припечатала «бабушка».

— Поверьте, ваше величество, этого слона вот точно надо есть маленькими кусочками.

Спасти страну, удержаться на краю пропасти — и, обонгув ее, идти дальше, вперед и вверх. Убережь государя и его семью от жестокой расправы. И, уже утвердившись прочно на ногах, думать о династии и престолонаследии.

— А Михаил?..

— Не вариант. Это, примерно, как брат Николая Первого, который от короны бегал, как там его звали-то...

— Константин Павлович?

— Да, наверное. Так и тогда восстание декабристов случилось, а уж что сейчас шандалахнуть может — так мне на то фантазии не хватит. Ну, не историк я, Мария Федоровна. Так вот, насколько я помню учебник истории, ваш младшенький отрекся сразу же, как только технически получил такую возможность. Причем не только от короны за себя, но от монархии за всю Россию. Так что только Николай Александрович. Николай Кровавый, Николай Свирепый, Николай Лютый, наконец.

— Да, вы правы, это совершенно точно находится за гранью возможного. Причем очень далеко за этой гранью. Бежать?..

— Некуда. Цель Британии — остаться единственной в мире империей. Надолго их не хватит, конечно, но всех конкурентов, кроме самого очевидного, они похоронят. В Данию? Там вас найдут какие-нибудь «народные мстители за рухнувшую страну». В остальной Европе — тоже. В Китае бардак, и это ещё надолго. В Штатах — сами понимаете, да и кризис не за горами. Остаётся только на какой-нибудь экваториальный островок в Тихом океане, вести растительный образ жизни, потихоньку впадая в забвение и маразм...

— Давайте без дерзостей всё же.

— Простите, ваше величество.

— А вы простите мне минуту слабости. Конечно, только Россия. На как же быть?..

Тут я, вновь извинившись за дерзость, непочтение и всё такое, изложил ей ту самую идею, которая сподвигла вчера господ офицеров на матерные тирады. Старушка не подвела: тоже выругалась, но, кажется, по-датски. Пять минут мы молчали, она просто смотрела куда-то вдаль, потом подняла на меня удивленные глаза:

— Самое любопытное, что это даже может сработать. Мы еще вернемся к этому разговору, отъезд я отложу. Главное — больше никому не говорите ни ползвуча. Вообще никому, включая моего сына. Это понятно?

— Так точно, ваше императорское величество.

— Вот и прекрасно. Я не могу сказать, что меня обрадовала наша беседа, но хорошо, что она состоялась. А теперь проводите меня.

— Еще вопрос, Мария Фёдоровна. С кем можно поговорить о помещении на территории дворца или парка? Дело в том, что государь запретил мне отлучаться, а нужно записать пластинки — кстати, это поможет хотя бы отчасти финансово обеспечить все то, про что я вам только что рассказал.

— Не забывайте, я не здешняя, — улыбнулась императрица. Вот в Аничковом или Гатчине — другое дело, а здесь нужно спросить Ники. Впрочем, кажется, этот домик — она указала на павильон, из которого мы только что вышли, — принадлежит моим младшим внукам. Может, с ними поговорить?

Мы распрощались, и я поспешил к любимой скамейке, на ходу нащупывая портсигар. Не знаю, что будет дальше, но, черт побери, вся эта вполне дурацкая фантазмагория мне даже начинает нравиться! Я спешил на перекур, хищно улыбался и напевал:

В этом месте больше нет скуки —

Весь Мадагаскар танцует буги!

[1] Текст автора.

[2] Стихи Юлия Кима. В сочетании с музыкой Алексея Рыбникова эта «Песня о звёздах» из кинофильма «Про Красную Шапочку» является, по скромному мнению автора, лучшей колыбельной в мире.

Сезон квартирников и удивлений

Этот сентябрь перевернул Володину жизнь, да не единожды. Сперва — грусть и разочарование из-за неудачи со сборником стихов. Потом — внезапное знакомство с удивительным Григорием Павловичем, поиск нового слова и первый робкий успех. Потом — исчезновение этого человека, а Володя уже почитал его учителем, странные слухи, что он и ужасный Распутин — одно лицо. Следом — пожар во дворце на Мойке и страшная гибель князя Феликса, которого Набоков долгое время полагал за образец для подражания. Тут же — череда всех этих убийств, и отец — великий отец, храбрый отец, стойкий, как неприступная крепость — схватив в охапку всех домашних, бежит в Финляндию, имея в виду добраться до любезной его сердцу Англии, пока до него не дотянулись неведомые злодеи, походя изводящие думцев и великих князей. Володя послушно поехал с семьей, но на вокзале вдруг увидел знакомый силуэт в английском костюме и с чемоданчиком — да и побежал за ним. Но это оказался не Коровьев, а вовсе незнакомый человек, а поезд в это время ушёл, так что остался Володя один в пустом доме. Зато сколько блюзов вылетело из-под его пера в эту бессонную дождливую ночь!

Поспал едва пару часов — и кинулся нарезать круги по городским улицам: оставаться дома одному сил не хватало. На Фонтанке внезапно купил у разносчика папиросы и спички, неумело прикурил, подавился. Закашлялся...

— Я вижу, милостивый государь, что курить вам невкусно, — пророкотал смутно знакомый бас. — Уж поверьте заядлому курильщику: если сразу не пошло — лучше б и не продолжать. А то удовольствия никакого, а привычка останется.

Володя поднял голову: перед ним стоял Рахманинов с неизменной папиросой во рту.

— Здравствуйте, Сергей Васильевич.

— Вы Владимир Набоков, верно? Я помню вас на том концерте.

— Да...

— Это очень хорошо, что я вас встретил, — улыбнулся композитор. — А то мы с Шаляпиным уже целую кучу блюзов сочинили, а слова писать как-то не горазды — музыканты мы. А вы, я помню, вполне интересный текст тогда представили... Владимир, а вдруг у вас еще стихи есть?

— Есть... — растерянно произнес Набоков, доставая из кармана тетрадку со свежими текстами.

— Позвольте полюбопытствовать?

— Да, конечно, — протянул Володя собрание плодов бессонной ночи.

— Так... так, так-так... Ого! Изрядно, молодой человек. Весьма изрядно! Вы разрешите стать вашим соавтором?

— Почту за честь, Сергей Васильевич, — ответил Набоков.

— Тогда я самым злодейским образом разлучу вас с этой прекрасной тетрадкой. Приходите ко мне завтра после пяти — клянусь, отдам ваше сокровище в целости. Придёте? — спросил композитор.

— Приду, — ответил поэт.

Рахманинов сообщил свой адрес, раскланялись. Володя выбросил оставшиеся папиросы в первую попавшуюся плевательницу.

Вернувшись домой, Набоков завалился спать и счастливо проспал едва не сутки. Во всяком случае, проснувшись, он обнаружил, что времени как раз хватит для того, чтобы привести себя в порядок и что-нибудь съесть — а там и к Рахманинову пора идти, благо, недалеко.

Придя по адресу к половине шестого, к немалому удивлению Володя попал к началу настоящего домашнего концерта. У рояля, понятно, сидел Рахманинов, а рядом с ним стоял и весело общался с двумя незнакомыми дамами сам Шаляпин.

— О, а вот и наш драгоценный соавтор, — обрадовался хозяин новому гостю. — Друзья мои, позвольте вам представить поэта Владимира Набокова — именно на его стихи написаны блюзы, которые прозвучат сегодня на нашем маленьком нечаянном концерте.

Рахманинов затушил папиросу и подмигнул солисту:

— Начнем ли, Фёдор Иванович?

Певец кивнул, и они начали.

Как это странно — вслед смотреть себе:

Уехав в поезде, остался на перроне.

И, покоровшись странной сей судьбе,

В пустом ночью доме.

Как это странно — вылетев с гнезда,

Начать полет, мечтая лишь о воле,

И в краткий миг вновь прилететь туда —

И никого в нем боле.

И, замерев под тяжестью мечты,

Всей кожей ощутить её — безбрежность,

Всемерность, неизбежность Пустоты —

И нет надежды [1] ...

Удивительное дело — За один лишь неполный день Рахманинов и Шаляпин превратили в песни все стихи, что написал он позапрошлой ночью, все семь! И все восемь зрителей, решительно незнакомых Володе, неподдельно аплодировали и выражали восторг!

Двумя часами позже, возвращаясь домой на извозчике, словно чуть хмельной от пережитого, Владимир самокритично подумал, что с Пустотой он, пожалуй, слегка погорячился. Но это же не он, а его лирический герой, верно?

Несмотря на висящий над Петроградом холодный морозящий дождь, что в сочетании с неизбывным ветром гарантировало, как минимум, весьма неприятные ощущения любому, рискнувшему выйти из дома, хоть с зонтом, хоть без оно, на Сенном рынке было илюдно, и шумно. Продавали, покупали, торговались — порой до потери голоса, общались, сплетничали. И то правда: где ж еще самые что ни на есть верные новости узнать-то можно? Не в газетах же!

— А вот что скажу я тебе, Пелагея Матвеевна, — понизив голос, интригуяюще произнесла дородная, хоть и небогато одетая женщина неопределенного возраста — то есть, где-то между женитьбою детей и появлением внуков.

— Ась? Али нового чего спознала? — Пелагея Матвеевна выглядела почти копией собеседницы, разве, одета была чуть иначе и, в отличие от товарки, могла похвастать ярким платком.

— Распутин велел Петроград голодом уморить, вот что! Из надежнейших источников

сведения! Сноха моего шурина замужем за одним толковым человечком, он лично и слышал, как окаянный старец велел хлеб в столицу не пропускать ни под каким видом!

— Ахти мне! Страсть-то какая! Что ж делать-то, Кузьминична?!

— Молиться, разве. Сама, поди, знаешь: под его дудку и царь с царицею пляшут, и все правительство. Кто князей Юсуповых убил? Понятно, Распутин! Кто великих князей одного за другим, как курей, режет? Кто заступника народного, поверенного Керенского, в канале утопил, а? Вот те крест, сведет нас окаянец со свету, а кто останется — тех немцам и запродаст! Моя невестка третьего дня пасьянс гадальный раскладывала — так там и глад, и мор, и огонь, и скрежет зубовный уже опосля Рождества настанет!

— Свят-свят-свят!

Нелепые, но страшные слухи волной катились по стольному Петрограду, и глухое ворчание тех, кто слушал их и передавал дальше, все сильнее и сильнее превращались в гневный предштормовой ропот...

За последующие после расставания с Марией Федоровной полчаса мне пришлось вспомнить привычный по жизни сто лет тому вперед сумасшедший темп и осуществить, по местным меркам, невозможное: найти принцесс, договориться о кратковременной аренде их недвижимости (условием Тютя и Швыбзя поставили личное присутствие во время записи — им было интересно); разыскать их матушку и утвердить эту сделку; договориться о пропуске на особо охраняемую территорию трех экипажей со звукозаписывающим оборудованием и кучей людей, проводить их по павильона и запустить процесс подготовки к записи. Слегка взмыленный, не без помощи провожатых добрался до императорского кабинета и попросил доложить обо мне.

Разговор вышел долгий. Разговор вышел плавный и нудный, как три тысячи сто сорок девятая серия бразильской мыльной оперы о злключениях незаконнорожденной дочери каучукового магната. Государь был спокоен, как дохлая лошадь, и, если бы я не видел и не слышал его вчера, ни за что бы не поверил, что этого человека реально расшевелить. Сперва я подробно расписал, как перестал быть Распутиным, с кем виделся и о чем говорил. Потом в стотыщитисотый раз рассказал историю крушения и возрождения государства Российского. Потом мы прервались на помолиться. Помолившись, его величество снова терзал меня вопросами по истории, ответить я смог едва на половину их. Но лейтмотивом всего своего вялотекущего спича проталкивал простую, как мычание, мысль: если его императорское величество не соизволит сплотить вокруг себя всех реально верных и не заберет все бразды в собственные царские ручки — империи кирдык. Да, ваше императорское величество, кирдык. Это татарский термин, полноценный перевод в вашем августейшем присутствии озвучить не осмелюсь.

Нет, я никоим образом его не троллил. И не пытался завести, в смысле, вывести из себя — царь был непрошибаем, как удав, сожравший статую Будды. Да и рано пока его выбешивать-то — запала надолго не хватает, это видно. Оттого и обидно: тот вчерашний решительный дядька — и сегодняшней никакой. Голос тихий, ровный, в глаза не смотрит вообще, больше на иконы в углу косится. Сейчас возьмет винтовку и пойдет бить ворон, а потом запишет в дневнике «Весь день работал с документами. Дежурил генерал Д.». Тоска. Хоть блюз про него пиши, вот такой, например...

— Что, друг мой, скучно? — спросил вдруг император, улыбнувшись по-чеширски. — Управление государством, в особенности же, большим государством, — назидательно изрёк

император, — дело скучнейшее и серьезнейшее, ответственное и не терпящее суеты и порывистости. Уж это-то бедный папа сумел вколотить в мою непутевую голову. Приходится учитывать огромное количество самых разных фактов, интересов, влияний...

Нет, кажется, я всё-таки взорвусь. И меня расстреляют за оскорбление величества.

— То, о чем вы говорите, ваше императорское величество, напоминает партию в шахматы...

— Вот-вот, именно! — радостно закивал Николай Александрович.

— ... только на доске не шестьдесят четыре клетки, а в сто, тысячу раз больше, и фигур — соответственно, и каждая ходит особым образом...

— Вы очень верно ухватили суть, мой друг! Всё так и есть.

— Это всё, конечно, замечательно. Но, чтобы держать в голове такую партию, нужно быть не гением даже, а богом (царь испуганно перекрестился), и уж точно не стоит продумывать ближайшие ходы, когда крыша павильона, где идет игра, уже всю горит и вот-вот обрушится на голову гроссмейстера.

— А... а что тогда делать? — растерялся он.

— Сбросить к чертовой матери с доски все лишние фигуры, позвать решёточных, взять брандспойт и мчаться тушить уже этот несчастный павильон, ваше императорское величество! — прорычал я, давая волю чувствам.

— А то... кирдык?

— Он самый, причем полный!

— Покурим, пожалуй, — император достал папиросы, предложил и мне. Помолчали. — И списка этих самых... решёточных у вас, конечно, нет?

— Я не рискну. У нас сто лет историю переписывали туда-сюда, что было на самом деле, кто был хорошим, кто гадом ползучим — ни за что не поручусь. Было бы обидно оклеветать доброго человека или, того хуже, пригреть иуду.

— Но это не помешало вам указывать нашим brave патриотам, кого непременно пустить под нож?

— Я не называл им имен, государь. То, что именно тех людей, кого они... приговорили, я помню, как одних из виновников катастрофы, лишь подтверждает, что «brave патриоты» всё делают верно.

— Допустим. Но я не понимаю, я отказываюсь понимать, почему должен опираться на мужичье?!

— Потому, что прежняя опора никуда не годится. Да, в России еще много дворян, помнящих о чести, о служении Отечеству. Но они, как правило, далеки от того уровня, на котором принимаются решения. Аристократия же, как мне кажется, чем дальше, тем прочнее срастается с буржуазией. А той последнее, что нужно — это четкая и крепкая самодержавная власть. Капиталу нужна мутная вода. Хорошо, давайте уберем аристократию — неважно, как. Оставим одно служилое дворянство. Уверяю, многие немедленно начнут целеустремленно лезть на самый верх — на место тех самых аристократов, ибо свято место не должно быть пусто, не так ли? И лезть они будут по головам, без лишней щепетильности — просто слаб человек, и редко кто устоит перед искушением. А мужичье составляет основную массу населения России. Процентом семьдесят, что ли — не помню, простите. Но в любом случае Россию придется коренным образом реформировать. Нужна идея. Даже так: Идея. Простая и ясная, за которой пойдут все — и служилые дворяне, и честные дельцы, и разночинцы всех мастей, и трудовой народ. Большевики победили только лишь потому,

что смогли увлечь своей идеей. Их было слишком мало, чтобы качественно напугать огромную страну, следовательно — убедили, увлекли. И кто знает — вполне может статься, что в итоге у них все рухнуло по той же причине — слабости и нестойкости человеческой природы. Но у нас с вами сейчас нет времени на евгенику, нам страну спасти надо! Опережая вопрос: нет, Идеи у меня тоже нет. И у кого, кроме господ революционеров, она есть — тоже не знаю... И да, войну при всем при этом проиграть тоже никак нельзя.

Царь долго молчал, курил, потерянно глядя в окно. Потом произнес — он, наверное, думал, что веско, но в его нынешнем исполнении дробление фразы на слова прозвучало особенно жалко. Да, вчера он мне нравился гораздо больше! Царь спросил:

— Григорий. Мой дорогой друг. Я вас умоляю. Не надо всех этих рассуждений. Просто скажите мне. Скажите, наконец, простым русским языком: что я должен делать?!

Ох и рохля ж ты, царь-батюшка...

— Господь Бог, ваше императорское величество, уж простите скомороха на дерзком слове, вручил эту землю не мне. Вот единственно тот, кому он ее вверил, и может принять решение, — и ни кто другой. Я только напомню слова какого-то определенно мудрого человека, который сказал, что у России нет иных союзников, кроме ее армии и флота.

— Это папа сказал, — прошептал Николай.

Он как-то скуксился, сгорбился — кажется, вот-вот заплачет.

— Ступайте, друг мой, — ровным, безжизненным голосом произнес император, бездумно глядя на бесшабашно храбрую ворону за окном.

Из воспоминаний Александра Ханжонкова

Тот вечер запомнился мне навсегда именно потому, что посчастливилось увидеть, как из милой, трогательной, но порою странноватой куколки вылупляется потрясающей красоты бабочка. А всему виною Вертинский — о нём, собственно, и речь.

Из Петербурга он воротился сам не свой — такой же, даже ещё более погруженный внутрь себя, чем даже после службы в санитарном поезде — а уж она-то его изменила несказанно. Саша тут же согласился принять участие в съёмках, и сыграл воистину отменно, но это был словно уже и не он, а какой-то совсем новый, другой Вертинский. Разговаривая с ним, я даже обратил внимание, что он стал гораздо меньше грассировать!

Всё это невероятно интриговало, конечно. Так что, когда Саша сказал, что у него готова новая программа и он сперва хотел бы показать ее исключительно своим, раздумий не было ни на секунду. Дела мои со здоровьем уже тогда были основательно плохи, но самому себя я поклялся, что умру, если не доползу на этот, как выразился сам Вертинский, «квартирник». Собраться решили у Веры: роялем она не обзавелась, но Саша заверил, что пианино вполне хватит, а оно у нее хорошее, немецкое.

Клятву удалось исполнить, и до квартиры Холодной я добрался. Нашел там множество знакомых и не очень лиц, общим числом под три десятка, но не нашел самого виновника переполоха! Заподозрил было неладное и уже начал придумывать страшные кары, которые призову на голову этого шутника, но тут он появился вместе с незнакомым мужчиной. Как оказалось, это его новый аккомпаниатор. Тот сразу проследовал к пианино и принялся пробовать инструмент. А Саша испросил десять минут на переодевание. Зная его довольно сложный сценический грим, я даже слегка удивился, что он запросил так мало, но сперва хозяйка дома обнесла нас всех напитками, потом я перекинулся несколькими фразами со знакомцами, и вот уже аккомпаниатор взял несколько аккордов и вышел Саша. Признаюсь

честно: если бы не был уверен, что это он, не узнал бы нипочём. Куда девался миляга Пьеро?! Что трогательный белый, что саркастично черный — оба эти образа, похоже, ушли в былое. Вертинский был одет в длинное кожаное пальто, перехваченное по талии широким ремнем, кожаную же фуражку. На ногах — до блеска начищенные офицерские сапоги. Никакого грима на лице, лишь черные очки для слепых. Не успели мы как следует удивиться, как концерт рванул с места в карьер:

Кусок не по зубам, не по Сеньке вина
Не по росту потолок, не по карману цена
Не по вкусу пряник, не по чину мундир
Пуля виноватого найдёт.
Прятались вены — искала игла
Ликовали стрелы — порвалась тетива
Колесом в огонь — щекой в ладонь
Пуля виноватого найдёт.
Славный урок — не в глаз, а в бровь
Калачиком свернулась замурлыкала кровь
Стала кровь хитра — а только мы похитрей
Пуля виноватого найдёт.
Проверим чемоданы — всё ли в порядке
Пошарим по карманам — всё ли на месте
Покашляем покурим посидим на дорожку
Всё ли понарошку?[2]

Между песнями почти не было пауз — и стояла тишина. И лишь когда Саша допел щемящую песню про дурачка, который всё ищет того, кто глупее его самого, выяснилось, что концерт окончен — и вот тогда квартира взорвалась овацией. Уже чуть позже Вертинский пояснил, что все песни принадлежат перу одного, неизвестного прежде автора, который сложил голову на войне, а потом снял очки, фуражку и снова превратился в того Сашу, которого мы все знали. И спросил, как всегда, застенчиво: понравилось ли нам? Уж не знаю, как примет его публика в театре, но мы ему устроили настоящее чествование, а я предложил снять несколько киносюжетов с участием этого нового образа и показывать их во время концертов — идеи обрушились на меня лавиной...

Вот так оно и было. И, когда нам с Сашей семнадцать лет спустя в Лос-Анжелесе вручали премию американской киноакадемии за лучший в мире музыкальный фильм, мы оба, не сговариваясь, вспомнили этот «квартирник» у Веры Холодной.

Это была, пожалуй, самая неординарная сессия звукозаписи в моей карьере. Оставим в стороне архаичность оборудования — где привычные мне усилители, педалборд с «примочками», где главный микшерский пульта — краса и гордость любой студии, наконец? Да нету, не придумали пока. Но это ладно. В крохотном павильончике кроме довольно громоздкой древней аппаратуры, техников и меня поместилась ещё уйма народу: две императрицы, четыре царевны, одна Матрёна, десять человек охраны, три фрейлины и даже один репортер, которого под шумок протащили граммофонщики. Царь грустил и прийти не соизволил, ну и фиг с ним. В отдельном углу сидели «нотники» и влёт писали по двадцать диктантов каждый: один записывал ноты, второй — слова.

Пока не началась запись, я провел краткий инструктаж среди публики, попросив во

время записи, по возможности, не шуметь, а также рассказав, что все происходящее, за вычетом моей только что озвученной просьбы, лучше всего воспринимать просто как домашний концерт. «Продюсер» подхватил идею и предложил после каждой песни аплодировать, и как можно громче. И процесс пошел. «Интродукция» — песня — аплодисменты. И так двадцать раз. Удивительно, но для такого большого концерта, да в микроскопическом битком набитом помещении, да с неизбежными паузами между песнями, публика держалась стойко и желающих покинуть наш царскосельский квартирник не было ни одного. Но вот записана последняя песня.

— Спасибо за поддержку, дорогие друзья, — я встал и поклонился публике, как-то подзабыв с устатку, кто там самые главные «друзья». — Вы мне очень помогли!

— Дядя Гриша! — раздался знакомый голосок откуда-то из угла. — А вы можете записать пластинку специально для детей?

Это Швыбзя. Я чертовски устал, но расслабляться рано. Но какова умница, а?

— Разумеется, ваше императорское высочество. Если господа не против...

— Ни в коем случае! Работаем, господа! — воодушевлённо вскричал «продюсер».

— ...то вам стоит лишь повелеть, — закончил я мысль. — Насколько я понимаю, монархия работает именно таким образом.

— Тогда Мы, великая княжна Анастасия Николаевна, повелеваем вам записать песню для детей!

— Слушаюсь и повинуюсь, ваше императорское высочество! А вот есть у меня такая еще мысль... — я озвучил идею, получил одобрение обеих императриц, Швыбзя подошла ко мне и запись началась:

— Здравствуйте! Я — великая княжна Анастасия Николаевна, и по моей личной просьбе дядя Гриша Коровьев сейчас споёт для всех юных слушателей пластинок «Русского акционерного общества граммофонов» песню о звёздах.

Я тронул струны:

Ни дождика, ни снега, ни пасмурного ветра...

— Григорий Павлович, тогда и на вторую сторону нужно что-то детское! — резонно заметил делец от звукозаписи.

— Да, разумеется. Сейчас соображу, что именно... А, вспомнил. Давайте-ка ещё одну колыбельную — как раз очень тематическая пластинка получится. Готовы? Начали!

Скажи, сова, ты что не спишь?

Скажи, сова, куда летишь?

И отвечала мне сова: «Я голодна, поем сперва,

Лечу, спешу туда, где мышь» [3] .

Десять минут спустя, выжатый, как лимон, но весьма богатый, я выбрался в парк. Закурил, пальцы дрожали.

— Знаете, сударь, пожалуй, это было потрясающе, — задумчиво сказала, подойдя, Мария Фёдоровна. — Огромное вам спасибо.

Газета «Петроградский листок»

Сенсация: Распутин мёртв!

При проведении дежурных работ по расчистке русла реки Мойки против руин дворца кн. Юсуповых из воды был поднят труп мужчины лет 45–60. Хотя изрешеченное пулями тело, определенно, провело в воде несколько дней, его удалось опознать. Это оказался

небезызвестный «старец» Григорий Распутин. Оpozнание проводил, в том числе, совершеннолетний сын убитого, о чем надлежащим образом составлен полицейский акт. Как пояснил нашей газете судебный следователь Адмиралтейской части г-н Д., всё свидетельствует о том, что Распутин был убит, а тело его утоплено в реке незадолго до пожара во дворце. Заверяем, что будем самым прилежным образом информировать читателей о ходе расследования.

[1] Текст автора

[2] Песня «Пуля виноватого найдет», автор — Игорь («Егор») Летов

[3] Песня «Сова» группы «Большой Ногами». Написана и исполняется автором.

Распутин-блюз

Не снимая шинели по причине некоторой прохлады, Блок сидел за столом в хате и писал. Писал отнюдь не стихи — они здесь, в Белоруссии, среди унылой рутины войны, прорывались не часто, — но всего лишь дневной отчет о выполненной 13-й инженерно-строительной дружиной Союза земств и городов работе по восстановлению окопов, траншей и прочей полевой фортификации. Писанина эта давно стала привычной, немалый по размерам документ рождался быстро, благо почти на каждый его пункт имелась запись в блокноте, сделанная самим Блоком либо кем-нибудь из коллег на других участках.

Скрипнула дверь, вошел добрый знакомец — прапорщик Штиллер.

— Ага, как знал, Александр Александрович, что здесь застану. Чаем не богаты ли?

— Ох, Виктор Рудольфович, и богат, и нищ! — оторвался Блок от отчета. — Заработался, верите ли — совершенно забыл не то, что про чай, но даже про обед!

— Ну, это мы поправим, — и Штиллер, не прибегая к помощи нижних чинов, не без труда раздул огонь в печке, подбросил еще сухих березовых дров и поставил на плиту котелок с водой.

Пока он проделывал все эти увлекательные процедуры, Блок продолжал трудиться над отчетом.

— Фух! — шумно выдохнул прапорщик. — Ну, теперь только кипятку дожидаться. Бросьте вы этот чертов отчет, ради бога, идемте во двор, покурим.

Во дворе Блок в бесчисленный раз удивился, насколько же в хате душно — и как тут свежо. Работая, погружаешься с головой во все эти цифры и неминуемые на фронте происшествия, и о личном комфорте как-то не думаешь. И каждый раз: Боже! Хорошо-то как! Хорошо-о!

С благодарностью приняв от Штиллера папиросу, он снова вдохнул полной грудью и, услышав в небе смутный звук, поднял глаза. Там, на приличной высоте, перекликаясь, клином летели журавли.

— И клином журавлиным в поднебесье, со всей своей размотанной душой, я покидаю стылое Полесье, и остаюсь на вечный век с тобой, — пробормотал Блок и смущенно добавил: — Сущий ужас, конечно. Кажется, я разучился слагать стихи.

— Да будет вам, — ухмыльнулся Штиллер. — Что единожды дано, никуда не денется, просто всему свое время. Верно говорю, Александр Александрович. Да вот же, что сообщить-то спешил: непременно будьте нынче в собрании! Привезли много нового, в том числе пластинки для граммофона — самые что ни есть недавние. Даже Коровьева умудрились раздобыть, верите ли!

— Коровьев? — удивился Блок. — А кто это?

— Ну, как же! Новоявленный кумир! Появился едва дней десять тому, а уж вся Россия... ну, Петроград с Москвой уж точно, по нему с ума сходят! Я сам, признаться, не слышал ещё. Но о личности сего исполнителя весьма наслышан — слухами-то земля полнится!

— Ах, Виктор Рудольфович, и откуда только вы все знаете?

— Так выходит, — развел руками прапорщик.

В собрании вечером былолюдно, пришли все, кто мог себе это позволить. Пластинок, и впрямь, привезли немало — и народных, и романсов, но два «главных блюда» оставили

напоследок. Сперва Александра Александровича в самое сердце поразили новые песни Вертинского. Прежние-то он слышал — мило, трогательно, но очень как-то богемненько, что ли. Как говаривал некогда Андрей, который Борис[1], «наш уютненький декадансик». И вот вам, пожалуйста: каскады даже не символов, а каких-то суперсимволов, гиперсимволов! Мощнейшая поэзия, которая ну никак не вяжется с мягким фортепианным аккомпанементом и устало-грассирующим голосом певца — ну так и голос стал жестче и манера — куда резче, да и по роялю временами как бы не молотком били! Вот это да!

Коровьев же оказался чем-то вовсе неведомым, будто из иного, нездешнего мира пришедшим. Привычные, вроде бы, стихи — о, вот и старый добрый Белый, легок на помине, — вот еще стихи простые, ничего необычного, но в сочетании с незнакомой музыкой и ритмикой всё это бесконечно завораживало и затягивало в себя.

Напившись крепкого чаю до почти буддийского просветления, вместо чтоб закончить наконец отчет или хотя бы лечь спать, Блок полночи терзал бумагу, перья, душу, спеша зафиксировать хотя бы слепок этого откровения, а в голове упрямо крутился Вертинский:

*Просто варезка потерялась,
Да одна нога за другую запиналась.
Просто всё уже было,
Просто всё уже было...
Просто лишь когда человеку мрёт —
Лишь тогда он не врёт. [2]*

Когда запыхавшийся Васька примчался в заветное место возле устья Пресни, Прокоп уже был там — а как же, издали слышать балалаечный звон. Но вот что неприятно поразило гимназиста, так это что друг оказался не один. Три незнакомых парня и две девчонки сидели рядом и слушали певца. За несколько дней Прокоп изрядно продвинулся в постижении основ блюза, потому что все песни с коровьевских пластинок, звучавших в трактире, получались у него уже почти хорошо. Незнакомцы, во всяком случае, смотрели Прокопу в рот, развесив уши — вниманием публики он завладел безраздельно. Васька отметил осунувшееся лицо друга и черные круги вокруг глаз: похоже, отдавшись музыке, спать он вообще перестал. А ведь ему еще и работать надо от зари до зари!

— Васька, привет! — устало улыбнулся Прокоп, закончив песню про большого и ненужного. — А я песню сложил!

— Ух ты! — в самом деле удивился Васька. — Сам?!

— Ага! Я что понял-то: песни у Коровьева — они грустные. Я попробовал что-то такое просто грустное придумать, но всякий раз сиротская песня выходила. А потом подумал еще, и решил сочинить про себя.

— А почему про себя-то? — не понял гимназист.

— Так легче, — пожал плечами друг. — Да и мою жизнь особо веселой не назовешь.

— Ну-ка, интересно!

— Только это, — шмыгнул носом Прокоп, — не мастер я вирши-то слагать. Так что просто спел как есть, не судите строго... почтеннейшая публика.

*Это подай, то принеси,
Одна нога здесь — другая там.
Вымой полы. Возьми сельдь и васаи —
И в номер четвертый снеси господам.*

*Эй, где ты там?
Вот ужо я тебе-то задам!
А я три струны зажимаю.
На балалайке играю.
То плачу, а то и смеюсь —
И так получается блюз.*

*Грязных тарелок тащи со столов!
К зеленицику в лавку сгнояй!
Выгони прочь приبلудных котов!
Поддай-принеси! А ну, не зевай!*

*Эй, где ты там?
Вот ужо я тебе-то задам!
А я три струны зажимаю.
На балалайке играю.
То плачу, а то и смеюсь —
Вот такой получается блюз [3] .*

Девочки захлопали, парни серьезно покивали.

— Здорово, брат, — только и нашел, что сказать Васька. — Хоть самого тебя уже на пластинку пиши!

За Дорогомиловым садилось солнце, смутно догадываясь, что в Белокаменной с недавних пор зарождается что-то интересное.

Утренняя газета повергла меня в эйфорическое состояние. Вряд ли кого еще когда-нибудь так радовало вполне официальное сообщение о собственной смерти. Всё! Никакого больше Распутина! Коровьев, Григорий Павлович, прошу любить и жаловать!

Вообще, уже которая подряд газета была, в основном, «за упокой»: кроме Распутина, в мир иной отправилось немало личностей по всей Российской империи. К примеру, в Сибири при попытке завладеть оружием исправника и бежать из места ссылки, был застрелен опасный социалист Яков Свердлов. В Петрограде при разных обстоятельствах покинули юдоль скорби господ Крaсин и Скрябин, которых репортеры, впрочем, довольно обтекаемо и осторожно, также причислили к социалистам.

В Москве вспышка неизвестной пока болезни изрядно и одновременно проредила сразу несколько кланов торговцев и промышленников, из них знакомой мне показалась фамилия Рябушинских. И еще некоторое количество имен и фамилий, которые, вероятно, были довольно громкими для здешних обывателей, но во мне не всколыхнули никаких воспоминаний.

На радостях от собственной достоверной кончины я залпом выпил чашку несладкого черного кофе и чуть не вприпрыжку помчался в парк курить. Матрёшка ещё спала. Стоп. Матрёна. Как ей-то объяснить, что я мёртвый, но живой? А, хотя, надо ли ей ещё что-то объяснять? Что гадать, проснётся — узнаем.

В курилке меня поймал знакомый лакей. Вид он имел довольно смущенный.

— Прошу простить-с, но есть вопрос.

— Слушаю вас, драгоценнейший!

— Газеты пишут-с, что вы мертвы-с! — доверительно сообщил мне этот несчастный.

— Экая незадача, — ответил я.

— Вот именно-с! И как быть-с?

— Газеты, вестимо, врать не могут, и пишут всегда одну лишь правду. Так что тут два варианта: либо они все-таки оскоромились и наврали, либо... Либо вы все принимаете меня за кого-то другого.

— То есть как-с? — удивился лакей. — Вы же персона давно нам всем известная, Григорий Распутин, разве, приоделись с шиком да куафера посетили-с...

— Вот тут, друг мой, и кроется ваша ошибка, — назидательно произнес я. — Дело в том, что я никакой не Распутин. Говорят, лицом я действительно похож на покойного — спаси, Господи, его грешную душу! Но я точно не Распутин. Коровьев, Григорий Павлович, музыкант из Тамбовской губернии. А что дочь моя похожа, как, опять же, говорят, на дочь сего старца — так ведь, ежели мы с ним обликом схожи, отчего б и детям оным сходством не обладать, а? Да и детей у Распутина, насколько я слышал, гораздо больше было, у меня же одна кровиночка — и всё.

— Так вы-с... Коровьев?! Тот самый?! — выпучил глаза лакей.

— Ну да, — скромно поклонился я. — Или вы не слышали, как я то тут, то там распеваю свои блюзы?

— Простите, сударь, обознался я! — твердым голосом, полным тщательно скрываемого восторга, произнес лакей. — и вот-с, извольте: из госпиталя передали для вас — их благородие корнет Гумилев просил, при возможности, навестить его, — и, поклонившись, он удалился.

Интересно, что от меня понадобилось Николаю Степановичу? А, впрочем, понятно: он тоже прочел газету, и теперь пребывает, верно, в некотором недоумении. Что ж, навестим бравого гусара, тем более, у меня перед ним возникло некое обязательство. Но не сразу: завтрак-то никто не отменял!

Гумилева я встретил перед входом в госпиталь. Поэт, хоть и с палочкой, прогуливался совершенно самостоятельно, без помощи механических средств и сестер милосердия.

— Рад видеть, что вы пошли на поправку, Николай Степанович.

— О, да, заживает быстро, просто диву даюсь!

— Пройдем в госпиталь или еще погуляем?

— Видите вон ту скамейку в тени? Ручаюсь, до нее я дойти смогу.

— Отлично, идёмте. Если понадобится моя помощь — не постесняйтесь ее принять, прошу вас.

Мы, болтая о всяких пустяках, потихоньку дошли до намеченной скамейки.

— Григорий Павлович, — серьезным тоном начал Гумилев. — Соблаговолите наконец объясниться — что это за чушь с убийством Распутина?

Я заверил поэта, что не имею ни малейшего повода усомниться в его порядочности, после чего рассказал полусекретную историю с немецким гауптманом, благодаря которому мы, собственно, и беседуем сейчас на территории госпиталя.

— ...так что этого фон Нойманна, скорее всего, в Мойке и нашли. Как бы то ни было, это событие окончательно освобождает меня от необходимости считаться Распутиным, и теперь я только и исключительно музыкант Коровьев.

— И как вам ощущения? — поинтересовался Гумилёв.

— Непередаваемые! Как в третий раз родился — такая лёгкость на душе, что вот-вот взлечу! — честно ответил я.

— Занятно... — пробормотал он. — А теперь осмелюсь спросить про стихи, что послал

вам намедни.

— О! ваши тексты замечательны, Николай Степанович. Я их, грешным делом, успел не только положить на музыку, но и записать на пластинки. Позвольте похвастаться: запись происходила в высочайшем присутствии, были обе императрицы и все их высочества, включая цесаревича.

— Ничего себе! Вот это скорость! — кажется, именно быстрота, с которой я делаю дела, впечатлила его сильнее всего.

— Как умеем-с! Но в связи с этим, мой дорогой соавтор, у меня перед вами возникла приятная обязанность, — я полез во внутренний карман. — Соблаговолите принять ваш гонорар, милостивый государь. Здесь пять тысяч рублей.

— За два стихотворения? — не поверил Гумилев.

— За два текста песен, которые уже через пару недель будут распевать Москва, Петроград и Нижний, — уточнил я. — А там и до остальных городов и весей докатится.

— Спасибо... Как-то не верится даже, — покачал он головой, зачарованно глядя на пачку «катеринок».

Поболтали ещё, потом Гумилев заверил, что чувствует в себе достаточно сил, чтобы добраться до палаты самостоятельно, и мы потихоньку пошли.

— Григорий Павлович, — спросил он, — скажите, а когда я смогу услышать, что у вас получилось с моими стихами?

— Когда?.. — задумался я. — А давайте сейчас. Гитару я, как видите, не взял, но там же есть фортепиано. Сто лет не играл, заодно и вспомню, как это делается.

Мы вновь очутились в холле, где я давал приснопамятный концерт для раненых, сейчас здесь было почти безлюдно. Я сел за пианино, вспомнил былые навыки, и довольно бодро исполнил обе гумилевские песни. По окончании «Мадагаскар-буги» послышались громкие аплодисменты: публика слетелась... ну, сползлась, моментально.

— Bravo, сударь!

— Bravo, господин Коровьев!

— Ещё! Ещё!

— Просим! Просим!

— Господа, прошу прощения, но сей концерт, увы, никак не согласован с госпитальным начальством, — с поклоном произнес я, оглядывая толпу человек в тридцать, и народ продолжал прибывать. Давайте, чтоб не вводить почтенных докторов в искушение сделать нам всем что-нибудь неприятное, я исполню ещё две песни, и все мы разойдемся?

— Любо!

— Три, давайте три песни!

— Григорий Павлович, можно три, — разрешила Александра Федоровна, вдруг обнаружившаяся в дверях.

— Слушаюсь, ваше императорское величество. Господа, спешу сообщить, что две песни, звучавшие только что, сочинены на слова вашего боевого товарища, корнета Александрийских гусар Николая Степановича Гумилёва, — я указал на соавтора. — Ну, и вот вам ещё три на слова иных авторов, как уговаривались.

Я снова сел за клавиши и сыграл им чайфовскую «Поплачь о нём», потом «Тёмную ночь» в блюзовом ритме, а под занавес снова из репертуара суровых уральских мужчин, разительно контрастирующую с первой:

А не спеши ты нас хоронить,

А у нас ещё здесь дела.

У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.

У нас дома детей мал-мала, да и просто хотелось пожить.

А не спеши ты нам в спину стрелять,

А это никогда не поздно успеть.

А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть.

А лучше дай нам дотанцевать, а лучше дай нам песню допеть [4] .

Под гром оваций, всё такой же легкий и счастливый, поспешил к дочери. Но не дошёл: на подходе к апартаментам был перехвачен давешним лакеем, при этом его коллега стремительно метнулся куда-то за угол.

— Прошу прощения, господин Коровьев, — обратился слуга, протягивая мне планшет с бумагой и держа в руке перо с чернильницей. — Очень прошу, Христом-богом молю: соблаговолите автограф!

— Хм... хорошо. Как же звать тебя?

— Тимофей я.

«Дорогому Тимофею на память о царскосельской осени. Григорий Коровьев», — написал я на листе. Тимофей рассыпался в благодарностях, но тут стало понятно, что его собрат по профессии за угол бегал не просто так: по одному, по двое оттуда стали прибывать люди обоего пола из обслуги дворца, включая поваров и каких-то уличного вида работяг, и всем позарез был нужен мой росчерк, так что внезапно получилась целая автограф-сессия. Она, конечно, немало потешила мое самолюбие, но, в то же время, оставила в некотором недоумении: как представляется, граммофон сейчас — удовольствие не из самых дешевых, а те мои пластинки, что уже вышли, по словам акул шоу-бизнеса, в перманентном жутком дефиците. И где, спрашивается, вся эта братия успела меня так послушаться, что даже и зафанатеть? Загадка. Но приятно же, черт возьми!

Маяковский чертыхнулся, вскочил и отнес переполненную пепельницу на кухню, где опорожнил ее в мусорное ведро. Чуть не бегом вернулся за стол, закурил, продолжил.

Граммфончики, как и многие другие подданные империи, газеты читали. И решили, что срочно записать блюз про убиенного Распутина — это очень выигрышная идея. И немедленно заказали Маяковскому текст, посулив немалый гонорар. Владимир давно приноровился обуздывать свое вдохновение. Или, вернее, талантлив он был настолько, что без особых творческих мук мог достаточно быстро написать требуемое. Но тут отчего-то не заладилось. Маяковский долго и без особого результата марал бумагу, прежде чем его осенило: он просто не знает, о ком пишет! Да, о Распутине без умолку трещали газеты вот уж несколько лет, но, но, но... было ли в той трескотне хоть одно правдивое слово?

«Так... — размышлял Маяковский. — А что о нем известно точно? Он из Сибири. Утоплен в Мойке. Двенадцать дыр от пуль. Погиб примерно во время пожара. Сам от сохи, но подвизался по духовной части. Всё? Наверное, да. Всё остальное может быть правдой, но может и не быть — стоит ли лить на чужие мельницы?.. Попробую так...».

Камнем — на дно сквозь осеннюю воду.

Окна дворцовые плавают в мареве,

Души сгоревших летят на свободу,

Пули болят в тулове издырявленном —

Дюжина пуль, милосердных, как водка:

*Раз — и забыл о промысле божием.
Я ль направлял в буйном поиске лодку?
Я ль сапоги убивал бездорожием?
В булошной барышни кушают слойки, —
На десять копеек дороже! Как жить?!
Я засыпаю под толщею Мойки —
Дюжина пуль придавила, не всплыть.
Эх, оказаться бы дома, в Сибири —
Сесть на крыльце, да продуть папиросу!
Рыбки гнездо в бороде моей свили,
И мечут икру в развалинах носа.
Что мне молва? Что мне ваши рыдания?
Топорщусь на дне, как бесформенный куль.
Меж человеком и всем мирозданием —
Дюжина пуль. Просто дюжина пуль [5] .*

Перечитал, кинулся было править, отнял руку. Нет. Пусть будет. Переписал набело, понес заказчику. Сегодня определенно нужно выпить с кем-нибудь хорошим.

Беседовать с Шиффом[6] — всё равно, что оказаться на пароходе посреди океана во время хорошего шторма. То взмывает под самые облака, то швыряет в преисподнюю, потом обратно — и заработать морскую болезнь от такой качки — легче легкого. И за полное бездействие партии попенял. И каких-то героических местечковых башибузуков, расстрелявших все руководство черносотенцев в центре Петрограда, в пример привел. И долго распинался, чего и каким именно образом нужно добиваться, чтобы скинуть наконец ярмо проклятых гоев. И... Много он и говорил, и даже орал. Но денег на продолжение борьбы обещал твердо, а у этого толстого поца слова с делом никогда не расходились, надо отдать должное.

Но вот встреча завершена. Откланявшись, он вышел в коридор. Отдышался. Достал носовой платок, тщательно протер очки. Потом вытер пот — беседы с такой глыбищей никогда не давались легко. Брезгливо выкинул платок в урну, и, надев пальто и шляпу, поспешил покинуть здание.

Жизнь определенно налаживалась, хотелось жить, дышать и бороться. Очень хотелось в Россию, самое время поднимать знамя. Но ехать туда, откровенно говоря, было просто страшно, ибо в Империи творилась какая-то чертовщина — если верить газетам, конечно. Невидимая безжалостная сила убирала с игрового поля всех без особого разбора, от членов правящей династии до кадетов, банкиров и присяжных поверенных. Словно некто, пока неизвестный, расчищал площадку... для кого? Для чего? Неужели, это Старик? Да нет, нет, быть того не может — и методы совсем не его, и, главное, возможности — у партии не было никаких шансов устроить хотя бы десятую часть такой вакханалии террора, да еще так, чтоб комар носа не подточил и интересант остался неизвестным! Но кто, кто же?

Он неспеша спустился по Уолл стрит до Южной улицы, пошел вдоль реки. Осень в Нью-Йорке — не самое прекрасное время. Положа руку на сердце, тут едва ли не хуже, чем даже в Петрограде — может, оттого, что воды больше, ветра больше и вообще чужая, как ни крути, земля-то. Но сегодня денек выдался просто на заглядение, так что не грех пройтись, подышать и размяться — весь вечер придется много писать.

Дойдя до середины Бруклинского моста, он остановился, привычно задумался, глядя на снующие по Ист-ривер кораблики.

— Что загрузили, Лев Давидович? — окликнул его на чистом русском языке прохожий самого американского вида. Вот никогда не подумаешь, что этот благообразный человек, статью и величием облика могущий поспорить с самим Шиффом, на самом деле чистокровный москвич, судя по выговору.

— Простите, мы разве знакомы? — несколько неприязненно спросил Троцкий.

— Увы, я-то вас знаю, а вот вы меня — пока нет, но это дело и поправить недолго, — все так же ровно ответил прохожий. — Регистрационного бюро генерального штаба капитан Максим Рюмин, честь имею!

— И чем обязан?..

— Да ничем, право слово. Иду себе из Манхэттена в Бруклин — променад, стало быть совершаю. И смотрю — человек печальный. А надо вам сказать, сударь, что местечко это самоубийствами славится. Сколько народу вот тут как раз стояло — да и вниз сигануло — о, не перечесть! И что им всем этот мост дался? Красивое, между нами, сооружение, да и полезное весьма, согласитесь. Вы, кстати, не желаете ли покончить жизнь самоубийством?

— С чего бы это? — оторопел Троцкий.

— Да повод-то как раз самый что ни на есть подходящий: революция, понимаете ли, отменяется. И мировая, и конкретно русская. Ферштеен?

— Но, позвольте! — возмутился Лев Давидович. — Революционная ситуация — налицо, все три признака, а значит, революция неизбежна!

— В том-то и дело, что нет, — вздохнул Рюмин. — Первый пункт исчез. Верхи взялись за ум и принялись в меру скромных умений исправлять положение. Но вам, понятно, это совершенно неинтересно — вы же сводите счеты с жизнью.

— Но я не собирался...

— А придется, — скучным голосом произнес капитан, коротким тычком уколол Троцкого сапожным шилом в ухо и тут же перевалил тело через парапет, причем шило отправилось в воды Ист-ривер вместе с несостоявшимся демоном революции. Капитан же в секунду преобразился: заметался, забегал, стал в голос звать полицию. Констебль прибыл минут через десять, и почтенный джентльмен из Бостона Майк Теннисон в подробностях рассказал ему, как молодой человек в очках, заливаясь слезами, кинулся с моста.

Тело Троцкого нашли в паре миль ниже по течению через несколько дней. Никакого мистера Теннисона к тому времени, конечно, уже не существовало, а капитан Рюмин вновь плыл пароходом, на сей раз во втором классе, деля каюту с попутчиком, журналистом из Чикаго. У того, правда, была ценная повадка: он либо напивался и спал, либо, будучи относительно трезвым, мог пропадать едва не сутками в череде амурных приключений.

Капитан же Рюмин пребывал в приподнятом настроении. Полученная им шифровка предписывала по выполнении задания домой отнюдь не возвращаться, но, выбрав легенду самостоятельно, плыть в далекий город Танжер, где ждать дальнейших инструкций. И в это задание непременно надо взять гитару. Стоит ли говорить, что на борт Рюмин поднялся уже с инструментом в арборитовом кофре?!

— ... как на Луне, на Луне лунный медведь вслух читает сказки... — рассеянно напевала Анастасия колыбельную, которую вот уже второй день полагала личной собственностью. Царевна смотрела в окно на привычный пейзаж дворцового парка.

— Я вижу, ваше императорское высочество изволит хандрить? — насмешливо спросила Мария, входя в комнату.

— Я не хандрю, Тютя. Я думаю.

— О! Редкое для тебя занятие! И о чем же, позволь спросить?

— Я думаю, что прошло уже несколько дней, а мы так и не приблизились к разгадке тайны Нашего Друга, он же дядя Гриша. Всё только еще сильнее запуталось.

— А что там ещё запуталось? Прости, я просто не знаю.

— На столе газета, стащила внизу. Посмотри, — мотнула Анастасия головой, не отрываясь от созерцания.

— Та-ак, «Петроградский листок».. Ого!

— Вот-вот.

— И что ты думаешь?

— А я уже не знаю, что и думать. Просто какой-то проклятый гений получается из романов.

— Это в каком романе ты прочла про проклятого гения, радость моя? — прищурилась Мария. — Я бы тоже такой почитала!

— Ах, Тютенька, это фигура речи. Не цепляйся к словам.

— Швыбзя, давай серьезно. Если его убили, и сын опознал, то...

В дверь постучали.

— Ваши императорские высочества, к вам госпожа Мария.

— О! Вот она-то нам и нужна! — сверкнула Швыбзя моментально загоревшимися жизнью и бесшабашностью глазами. — Входите!

Вошла Матрёна, присела в протокольном книксене.

— Доброго дня, ваши высочества.

— Привет, Мари! Оставь ты эти дурацкие церемонии, сколько раз говорить... Всё ли хорошо?

— Да, вполне. А вы что не гуляете? С погодой-то опять повезло?

— Папа запретил, — вздохнула Анастасия. Он и за вчерашнюю вылазку в павильон ругался сильно. Велел десять дней, не меньше, чтоб из дворца ни ногой.

— Это из-за того случая, да?

— Угу, из-за чего же ещё...

— Мне отец тоже велел никуда не ходить. Подозреваю, по тому же поводу. Чем займёмся?

— Придумаем. Слушай, Мари... Скажи, а с твоим отцом всё в порядке?

— В смысле?

— Ну, мы его знаем довольно давно. Видели редко, но все равно: он изменился слишком сильно. Такое бывает, но сегодня в газетах написали, что его вообще убили несколько дней назад, и твой брат это подтвердил в полиции.

— Ууу, Митька... Он поссорился с отцом, обиделся на него — хотя я, признаться, так толком и не поняла, из-за чего. Наверняка это он придумал и подстроил. Отец тут, я говорила с ним полчаса назад.

— Мари, но он же совсем другой, согласись! Как это объяснить?

Матрёна с полминуты кусала губы, комкая подол платья. Потом нервно оглянулась и, понизив голос, произнесла:

— Девочки, это страшная тайна! Поклянитесь, что никому не расскажете!

— Клянусь! — тут же хором ответили царские дочери.

Пока я раздавал автографы, Матрёшка успела не только позавтракать, но и узнать столичные новости, и с порога принялась терзать вопросами. Рассказал ей в красках историю с немецким шпионом и заверил, что лично мне пока нечего добавить к известной ей новейшей части биографии, и слава Богу: такого количества драматических коллизий и врагу желать совестно. Успокоившись, ребёнок ушёл тусоваться с царевнами, я же вернулся в парк: погода опять позволяет, что в стенах-то киснуть? Успеется ещё. И через пять минут уже плюхнулся на любимую скамейку. Всё та же радость будоражила душу: свободен! Свободен!

Впрочем, одиночеством наслаждался я ровно половину папиросы: на дорожке показались Васильев и Балашов, оба в мундирах при всех наградах, и оба такие серьезные, что дальше некуда. Небось, перед визитом к императору мандражируют, того не зная, что он опять суслик сусликом.

— Доброе утро, господа! — радостно приветствовал я офицеров. — Согласитесь, чудесный денек нынче!

— Здравствуйте, Григорий Павлович, — излишне сухо кивнул полковник. Руку, впрочем, подал. — Только, прошу вас, оставьте этот не в меру жизнерадостный тон: разговор серьезнейший, а времени у нас чрезвычайно мало.

— Как вам будет угодно, господин полковник, — столь же серьезно ответил я и мы сели на скамейку.

— Итак, — начал Васильев. — Не нужно быть Натом Пинкертоном или Шерлоком Холмсом, чтобы, глядя на ваше лучащееся счастьем лицо, предположить, что вы решили, будто мы с подполковником подкинули в Мойку труп нашего общего знакомца Нойманна, которого теперь нашли и опознали как вас, так ведь?

— Ну, да, а... разве, нет? — растерянно спросил я.

— В том-то и дело, что нет, — тяжело вздохнул Балашов. — Гауптмана, который без парика и грима похож на Распутина не более, чем я — на Матильду Кшесинскую, давно прикопали в укромном уголке. Когда кончится война, так и быть, сообщим немцам, где именно. В Мойке нашли не его.

— А кого ж тогда?

— Отличный вопрос, — кивнул Васильев. — Выходит по всему, что Григория Ефимовича Распутина. Сын покойного, Дмитрий Григорьевич, по счастью, не успел покинуть столицу. Хотя труп, будем честны, немало обезображен разложением и рыбами, Распутин-младший уверенно опознал отца по ведомым ему приметам — зубам и сохранившимся родинкам. Далее. Указанная в газете примерная дата гибели Распутина — она там для публики указана. На самом деле наши сотрудники установили, что смерть Григория Ефимовича наступила в результате поражения двенадцатью револьверными пулями, причем никак не позже пятого-шестого сентября. Вы понимаете? — медленно спросил жандарм, глядя мне в глаза.

— Но... Как же тогда...

— И теперь у нас новый и очень важный отличный вопрос. Вы, милостивый государь, кто такой?

Вот тут-то мне и опаньки, дорогие товарищи. Доказать, что я всего лишь тот, кто есть — действительно, нечем. Вот совсем. О-фи-геть. Картина маслом. Ага, выглядит примерно

так: некто поздним вечером, скажем, четвертого сентября, подкараулив где-то Распутина, убивает его из двух револьверов, после чего топит труп напротив Юсуповского дворца, чтобы, в случае чего, на них же и свалить. Затем другой некто, или даже тот же самый, в компании с мощной дамой, выдающей себя за графиню, которая на самом деле в два раза старше, пользуется очевидным внешним сходством с Распутиным, и, имитируя состояние сильного опьянения, проникает в квартиру на Гороховой, где немедленно ложится спать в компании означенной дамы. Утром же просыпается — и с чистого листа разыгрывает уже набившую оскомину всем посвященным комедию то с потерей памяти, то с нисхождением благодати, то и вовсе с переселением душ. Далее этот самый некто — заметьте, старательно изменив внешность! — ведет задушевные беседы сперва с Юсуповыми и Пуришкевичем, потом с не в меру патриотичными офицерами, а после и с самим «хозяином земли русской», и в этих беседах напирает на то, что нужно срочно перерезать как можно больше уважаемых и не очень людей, а не то кирдык, понимаете ли. И вот теперь, внимание, вопрос — отличный вопрос, как выражается господин полковник: как доказать, что я не верблюд, а вовсе даже просто я, без камней за пазухой, с простым человеческим желанием остаться в живых и всего-навсего играть музыку?

[1] Имеется в виду Андрей Белый — в числе прочего, теоретик символизма.

[2] Песня «Иваново детство» группы «Егор и о***невшие» («Гражданская оборона», текст — всё тот же Егор Летов). Автор не представляет, чем Вертинский заменял не вполне хорошие слова, содержащиеся в других фрагментах этой тяжелой, но прекрасной песни.

[3] Текст автора.

[4] Песня «Не спеши» группы «Чайф»

[5] Текст автора.

[6] Джейкоб Генри (Якоб Хайнрих) Шифф — американский банкир, последовательный и весьма лютой ненавистник царской России.

За блюз во всём мире!

Полковник Васильев смотрел мне в глаза, и зрачки его казались дулами даже не револьверов или хотя бы винтовок, а крупнокалиберных пулеметов с безлимитными патронами: миг — и такие клочки пойдут по всем закоулочкам, что опознавать будет нечего. Поэтому я не стал играть с этим мощным дядькой в гляделки, а, стараясь сделать вид, что вовсе и не волнуюсь ни разу, отвернулся, закурил и начал ровным голосом:

— Блюз девилс. Это отнюдь не дьяволы с противоестественными наклонностями, а всего лишь американская идиома. Кстати, она имеет в русском языке близкий аналог: «тоска зеленая». Именно так самокритично обозвали свое бречание на гитарообразных инструментах с соответствующим пением негры где-то в дельте полноводной речки Миссисипи, в процессе сократив идиому до короткого слова «блюз». Проводя аналогию, отмечу, что русский вариант аутентично мог бы называться «тоска-с». История вряд ли докопается, кому первому пришла в голову идея такого музицирования, но началось оно в середине прошлого века — где-то около тамошней Гражданской войны, и к настоящему времени уже совершенно сформировалось, в нем начали появляться собственные течения и стили, что, на мой взгляд, свидетельствует о зрелости и устойчивости жанра.

Когда какая-то тварь метко запустила мне в голову кирпич с крыши на Малой Ордынке в Москве, Господь Бог, пред коим я предстал, спросил, чего я теперь хочу. И черт ведь дёрнул на голубом глазу ответить ему: «Я хочу блюза». Лишь многим позже осознал ошибку: в своей тусовке... эээ... в своем круге общения мы называли «блюзом» любое музицирование — привычка такая откуда-то повелась. «Пойдем, поблюзим!» — и мы блюзили. Да, играли и настоящие блюзы. Но всю жизнь гнать хандру — невыносимо, и мы постоянно сбивались на что-то более заводное, ну, и славно. «Я хочу блюза!» — гордо ответил я, и Господь засмеялся. И ровно вот сейчас понятно, почему: через все эти странности, чудеса, небылицы и блудняки попал ваш покорный слуга в самый центр такого блюза, что корифеи уважительно снимают шляпы. И, насколько понимаю вас, господа офицеры, шансы выжить у меня стремятся к отрицательным величинам — что ж! «Я не проснулся нынче утром» — ультимативное начало для блюза, как по мне.

Но я рад, знаете ли — и есть веский повод. Рад тому, что, трактуя задачу по-своему, притащил в Россию не только тоску зеленую, но и куда более нежные и позитивные штуки. И все вместе, конечно, это уже никакой не блюз. Я бы назвал этот жанр «Русский рок». Само слово «рок» у нас куда глубже и значительнее, чем у тех же негров: «русская судьба», эге! Но это же верно, это правильно и как-то даже всеобъемлюще. Скорее всего, я излишне самоуверен и подвержен мании величия, но как же приятно умирать, веря, что, когда в 1961 году наш русский парень Юрий Гагарин станет первым человеком в мире, полетевшим в космос, на земле его вместо всякой официозной скучищи, симфонических оркестров и прочей фигни встретит хор-роший такой рок-фестиваль с кучей отвязных групп и певцов. Посеять я успел, были бы всходы...

А что до вашего вопроса, любезный господин полковник, то мне совсем нечего добавить ко всему тому, что уже имел честь не раз вам сообщать. Я не назову никаких имен, адресов, паролей и явок — просто потому, что их нет и никогда не было в моей памяти. Я простой рок-музыкант, волею providения попавший в *это тело*. Заметьте, делаю акцент —

коль скоро мы с вами теперь даже не очень уверены, кому же это тело на самом деле принадлежало. Так что я весь в вашей власти. Можете пристрелить прямо сейчас. Огорчают в таком варианте ровно три вещи: очень жаль Матрёну, жаль нашего плана... Ну и «Гибсон» на небесах мне теперь точно не дадут, не заслужил. Сунут в руки что-нибудь еловофанерное, производства Ростовской баянной фабрики[1], и корячься, как хочешь... У меня всё.

Полковник отвратил от меня рентгено-пулеметный взор и встал, Балашов последовал его примеру.

— Всё это — занимательнейшая лирика, Григорий Павлович, — произнес Васильев. — И на необстрелянных барышень должна действовать убойно, да только я, уж простите, никак не барышня, и верю только фактам. А они, как назло, свидетельствуют против вас. Посему так: с этой территории отлучиться у вас не выйдет, охрана по запросу штаба Отдельного корпуса жандармов просто молча пристрелит вас при попытке к бегству...

— Господа офицеры! — на сцене появился ещё один старый знакомый. Мои собеседники немедля приняли строевой вид. — Полковник Оладьин, дежурный. Прошу следовать за мной. Государь ждёт.

Васильев быстро шагнул ко мне.

— Сейчас нам к Государю, после вас найдем. Сегодня ли, завтра — видно будет. И упаси вас Бог делать резкие движения! Честь имею!

Что-то курить больше не могу, выпить бы. А хрен получится: стремительно надвигаются следующие визитеры, и от них тоже не отмахнешься фразой типа «оставь меня, старушка, я в печали». Более того, конкретно в этом случае за подобную шутку можно угореть еще веселее, чем без лишних затей пасть от пуль вожаков «Бешеных псов»: пожизненная каторга за оскорбление величества куда как горше покажется. Так что, дабы не катать тачку во глубине сибирских руд, я поднялся и поклонился вдовствующей императрице и ее внучке и, протитуловав со всем старанием, осмелился спросить, за что мне такая честь, что члены императорской фамилии за мной в курилку бегают. Швыбзя не в счет — у нее еще шило не рассосалось с детской поры.

— Ох и дерзец же вы, — смерила меня Мария Федоровна ледяным взглядом. — Дерзец и бунтарь. Никакого пиетета перед правящей династией, надо же! А ещё монархист! Вот что, Григорий Павлович. Если у вас нет сиюминутных обязательств перед моим сыном, сообразовите проследовать с нами и дать Татьяне Николаевне урок вашей заморской музыки.

— Почту за честь, ваше императорское величество, — глубоко поклонился я, стыдясь фривольности своей выходки — а всё нервишки, спасибо господам офицерам. И послушно пошёл за царственными дамами. Выпить точно надолго откладывается. Переживем, не впервой.

Бледнее непрокуренного потолка, Коля Геринг стоял навтыжку перед Александром Оттовичем Юргенсом.

— Господин статский советник! — голос юноши напряженно звенел, но фальши не давал. — Александр Оттович! Я прошу руки вашей дочери Надежды Александровны и приношу к ее ногам всё мое достояние и самоё жизнь!

— Внезапно... — пробормотал Юргенс. — Коля, прошу тебя, не тянись, я ж не фронтовой штабс-капитан, а всего лишь статский советник. Так что садись.

Коля послушно сел, но оставался предельно напряженным. Александр Оттович смерил его оценивающим взглядом, крикнул, достал початую бутылку коньяку и два бокала, разлил.

— Ну-с, примем по пятьдесят капель ради такого случая.

Геринг послушно пригубил отличный продукт от Шустова, а Юргенс продолжил:

— Николай, я, как отец, не имею ничего против. Скажу больше: я рад — ты давно зарекомендовал себя как здравомысленный человек, помнишь о своих корнях, достаточно обеспечен, чтобы я мог не беспокоиться о дочери. Словом, лучшего зятя я уж и не знаю, где взять. Говорю открытым текстом: я готов дать свое отеческое благословение. Но, сам понимаешь, времена за окном стоят эмансипированные, а дочь у меня одна, и против ее желания я пойти никак не смогу, если ей вдруг не захочется идти за тебя замуж. Так что допей, что там у тебя осталось, для пущей храбрости, и ступай к Надежде. Жду вас обоих.

Коля, кивнув, залпом махнул коньяк, порывисто встал и, коротко поклонившись, вышел. Александр Оттович проводил его взглядом, налил себе ещё, закурил и задумчиво посмотрел сквозь заоконный вид.

— Дети выросли, — вздохнул он. — Пора стареть. А не хочется.

Коля деликатно постучался.

— Да-а? — послышался Надин голос. — Войдите!

Всё такой же бледный, наследник славы остзейских баронов вошел в давно до мелочей знакомую комнату любимой. Постояв несколько секунд, упал на колени перед Надей.

— Надежда Александровна! Я, Николай Карлович Геринг, на веки вечные вручаю вам руку и сердце и прошу быть моею женой!

Надя в неподдельном изумлении округлила глаза, не глядя отложила книгу, которую до того читала — «Черную стрелу» Стивенсона, — и одним прыжком бросилась Коле на шею, отчего тот, конечно же, утратил остатки равновесия и упал. Последовала веселая возня на полу, в ходе которой чопорному Коле внезапно досталась пара поцелуев, после чего влюбленные переместились на диван, где и уселись, трогательно взявшись за руки.

— Божечки, как давно я ждала, — счастливо улыбнулась Надя. — Разумеется, я согласна, мой любимый рыцарь, — и, выдержав паузу, ехидно добавила: — но с одним непременным условием!

— Я готов!

— Как ты знаешь, я очень увлечена музыкой. И, став твоей женой, я все равно не расстанусь с ней — пусть меня не манит публичность, но играть и петь для себя, для тебя и для друзей я буду непременно. И, конечно, внимательно следить за новинками музыкального мира. Ты сможешь это пережить?

Вместо ответа Коля поднялся, снял со стены гитару, наскоро подстроил — и заиграл тайком списанную из Надиной тетрадки песню.

Ты снимаешь вечернее платье, стоя лицом к стене,

И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархат, спине.

Мне хочется плакать от боли или забыться во сне —

Где твои крылья, которые так нравились мне?

Где твои крылья, которые нравились мне?

Где твои крылья, которые нравились мне?

Когда-то у нас было время, теперь у нас есть дела —

Доказывать, что сильный жрет слабых,

Доказывать, что сажа бела.

Мы все потеряли что-то на этой безумной войне...

Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? [2]

Уже после первого куплета Надя села за пианино и аккуратно подыгрывала любимому.

Александр Оттович, услышав музыку, все понял верно, поэтому к тому времени, как дети, взявшись за руки, вошли в гостиную и опустились перед ним на колени, рядом не было ни пепельницы с окурками, ни коньяка, ни пустых бокалов — но непочатая бутылка «Клико» со льда и три фужера.

— Счастья вам, дети, — дрогнувшим голосом произнес статский советник и оглушительно открыл шампанское.

Валериан Павлович возвратился из Царского Села в, мягко говоря, крайне расстроенных чувствах. Усилием воли заставил ехать себя не домой, а на службу, потому что дома удержаться от искушения пить водку до забытья едва ли удастся. Мгновенная перемена — а для полковника она воспринималась именно так — произошедшая с императором, хоть и не была чем-то, выходящим за грань возможного, но все равно шокировала. Где тот разъяренный тиран, кривший их по матушке и угрожавший то Шлиссельбургом, то Петропавловкой? А нету. Исчез, развеялся — будто и не было никогда ничего такого, а все лишь морок, наваждение. Сгорбившийся, с потухшим взором немолодой человек что-то едва внятно лепетал, что, может, не стоит вот так вот резко, а? Люди-то, на самом деле, хорошие... Не виноватые... Слаб человек, вот и подвержен наущению бесовскому... Васильеву хватило сил сказать, что механизм запущен, и обратный ход дать, увы, не получится.

— Да? Ну, на всё воля Божья, — перекрестился император и столь же вяло и безучастно добавил: — ступайте, господа.

Васильеву невыносимо хотелось застрелиться. Вот прямо тут, на глазах у «самодержца». Просто потому, что так нельзя. Умри страшной смертью, но вот так — ни в коем случае не может позволить вести себя единоличным правителем огромной страны. «А то кирдык», — вспомнилось коровьевское присловье. Увы, но тут этот загадочный господин, кажется, прав. Жаль, револьверы сдали при входе, себе в голову пальнуть — и то не из чего. Балашов, кстати, позже сказал, что его одолевали те же мысли.

И вот уже четверть часа полковник сидел в своем кабинете, бессмысленно перебирал какие-то бумаги ни о чем и мучительно думал, что же, черт возьми, делать дальше и что теперь вообще делать.

В дверь постучали, вошел дежурный.

— Господин полковник, к вам ротмистр Потоцкий с докладом.

— Просите.

Немедленно вошёл Казимир Болеславович Потоцкий, яркий поляк, первейший щёголь во всем жандармском корпусе.

— Здравия желаю, господин полковник!

— Здравствуйте, господин ротмистр. Казимир Болеславович, служба службой, но прошу без чинов — устал.

— Есть без чинов, — согласился Потоцкий, садясь на стул.

— Что там у вас?

— Внезапная новость по делу Распутина.

— Вот как? Гм! Скажите, Казимир Болеславович, а довелось ли вам нынче обедать?

— Никак нет, Валериан Павлович. С допроса — бегом на телеграф, оттуда к себе, составил доклад — и немедля к вам.

— Похвально. Но насчет обеда я как-то тоже не сподобился, так что идемте-ка мы с вами в трактир на углу Литейного, там и продолжим.

Не прошло и трех минут, как оба офицера покинули здание, и, сев в дежурную коляску, проехали едва полверсты до Литейного.

— Ну те-с, Казимир Болеславович, вот теперь рассказывайте, — возобновил беседу полковник после того, как половой, расставив все заказанное, удалился из отдельного кабинета.

— Итак, Валериан Павлович, в рамках известных вам... гм... действий нынче утром находился я в некоей конторе, имеющей самое прямое отношение к партии прогрессистов. Начало оперативных действий пришлось отложить, так как там обнаружилась непредусмотренная исходной информацией и, соответственно, планом операции дама. Дама весьма дородного облика изволила скандалить и требовать денег, утверждая, что свою роль отыграла и в том, что дело не окончено, как должно, вины ее нету. На мой вопрос, кто она такая и что у нее за печаль, она с пафосом заявила, что является графиней Клейнмихель, и не ей боярское дело общаться со всякой шушерой навроде нас, многогрешных. Вспомнив тот разговор с вами, я сообразил, насколько нам повезло, и, велев двум людям, по боевому расписанию числящимся в резерве, придержать «графиню», отдал приказ на начало акции. К тому времени, как последний из присутствовавших в конторе прогрессистов покинул юдоль скорби, дама, на удивление, оставалась в сознании, но была безоговорочно готова к самому откровенному общению. Итак, уроженка Одессы Марика Каролевна Попеску, примыкала к кругу общения небезызвестной Софьи Блювштейн, прославившейся как Сонька Золотая Ручка. Решимости на столь же громкую карьеру Марике не хватило, да и внешность не особо располагала. Перебивалась по мелочам, пока не засветилась в одной неприятной афере, так что пришлось ей из родной Одессы уносить ноги. Сменив несколько личин, она осела в тогда еще Петербурге, где наладила связи и продолжала чередовать шантаж с воровством на доверии, мошенничествами и прочими милыми шалостями. В конце августа сего года на нее вышли прогрессисты — она уверенно указала двоих своих знакомых среди тех, кого мы... сактировали. И предложили необременительную, но весьма денежную — аванс двадцать тысяч! — работу. Вечером четвертого сентября ее познакомили с мужиком, который как две капли воды был похож на Распутина. К тому времени он был расчесан и одет в точности, как «старец», и накачан мадерой до почти полного ризоположения. Марике велели выбрать себе какую-нибудь аристократическую фамилию, коей и представляться всем заинтересованным лицам, и старательно играть дворянку, не выпуская «Распутина» из виду, особенно не расставаясь с ним в постели. Она, на свою, в конечном итоге, голову, выбрала псевдоним, вспомнив отчего-то эпитафию к скандально известному стихотворению господина Некрасова: «Папаша, кто строил эту дорогу? — Граф Петр Андреич Клейнмихель, душечка». Получив инструкции, Марика на извозчике отправилась в известную квартиру на Гороховой, где, представившись графиней, принялась ждать напарника. Тот появился после полуночи, еще более пьяный, чем был, и, не добравшись даже до кровати, рухнул спать. Слуги его переодели и отнесли в кровать, Марика, переодевшись, легла с ним.

А утром случилась катастрофа. Вместо пьяного мужика проснулся очевидно совершенно другой человек. То ли он в действительности мужиком не был вообще никогда, то ли и впрямь какая-то благодать на него пролилась — но, кроме внешности, со вчерашним

пьяным уродом, который беспрестанно матерился, отпускал сальные шуточки и все норовил ухватить Марику за грудь, его не роднило ничего. С легкостью необыкновенной читал он газету на английском языке, а речь его стала какой угодно, но вот только не мужицкой. Воспользовавшись ситуацией, Марика удрала оттуда и на добрый месяц залегла на дно — благо щедрый аванс позволял мало в чем себе отказывать. А тут ее заела уязвленная гордость, и, сдуру напридумывав себе невесть чего, отправилась требовать денег с нанимателя за несделанную работу. Полагаю, Валериан Павлович, если б не мы, живой бы она оттуда не вышла.

— Крайне увлекательно, — покачал головой Васильев. — В первый раз встречаю такое исключительное везение, дорогой Казимир Болеславович, примите искренние поздравления. Но мы наконец-то подошли к самому главному, и вот отличный вопрос: ее похожий на Распутина напарник — он-то кто такой? Удалось выяснить?

— Так точно, удалось — расплылся в кошачьей улыбке Потоцкий. — У этой одесской румынки ушки на макушке, и все, что нужно, она превосходно расслышала и старательно запомнила. Я при помощи телеграфа успел даже убедиться в правдивости ее показаний.

— И?!..

— Господин полковник, простите мне фамильярность, но я абсолютно убежден, что после следующего моего рассказа вам непременно захочется выпить. Позвольте налить?

— Наливайте, — согласился заинтригованный Васильев. — Только, умоляю, не тяните паузу, как актер театра Станиславского!

— Так вот, — продолжил Потоцкий, разлив водку. — Мужика этого наниматели искали более трех лет, что свидетельствует о максимальной серьезности их намерений и надежд, которые они возлагали на эту операцию. Наконец, удача улыбнулась промышленникам: отыскался схожий летами человек, похожий на Распутина как брат-близнец. Семья его две дюжины лет как преставилась по болезни, жил он в родной деревне бобылем и репутацию имел самую скверную. На предложение нанимателя согласился сходу, хапнул аванс в пять тысяч, дал привезти себя в Петроград и с превеликим удовольствием употреблял мадеру, пока готовилось все, о чем я рассказал ранее. И теперь, Валериан Павлович, прозвучит ответ на ваш отличный вопрос. Этот человек — уроженец села Богословка Рассказовского уезда Тамбовской губернии. Данные достоверно проверены мною лично при помощи телеграфа — связался с Тамбовом по линии МВД. И зовут нашего героя Григорий Павлов Коровьев. Валериан Павлович! Вам плохо?

Добрые три секунды вечно невозмутимый полковник Васильев хватал воздух ртом, глядя на мир ничего не видящими выпученными глазами. Негласный шеф «Бешеных псов» сумел обуздать себя, едва пальцев коснулась ледяная рюмка, заботливо подвинутая ротмистром Потоцким.

— Не пьянства ради, но здоровья для, — подсказал везучий Казимир Болеславович.

— И за блюз во всем мире! — рывкнул полковник, выливая водку в рот.

Балашов тоже пренебрег возможностью отправиться домой: что там делать-то? Танечку, слава Богу, удалось сослать к сестре в шведский город Лунд — начиная опаснейшую игру, Алексей Алексеевич озаботился, прежде всего, об эвакуации своих тылов. Так что направился подполковник к себе в отдел, а там... Шум, гам, чай рекой и дым коромыслом — из дальних странствий возвратился штабс-капитан Муравьев, и сослуживцы радостно облепили щеголявшего обветренным загоревшим лицом коллегу. Тепло поприветствовав возвращенца, Балашов спросил чаю и ушел к себе. Бегло просмотрел

текущие документы: ничего особенного, рутина. Попил чаю, погрузил с папирсой у окна. Решил дальше грустить под музыку, завел граммофон.

*Гадала цыганка мне раз по руке —
С тех пор пронеслось много лет —
Сказала: «Пройдёшь ты всю жизнь налегке,
А сгинешь там, где рассвет.*

В дверь стукнули, и, не дожидаясь разрешения, в кабинет буквально ворвался Муравьев. Лицо его выражало крайнюю степень удивления.

— Выше высокоблагородие... Прошу прощения за вторжение, но откуда? Откуда это у вас, откуда это вообще здесь?

— Что вы имеете в виду, капитан? — меланхолично, в царском стиле, спросил Балашов.

— Эта песня, откуда она в России? Я возвращался из Кадиса очень кружным путем, пришлось дважды пересечь Атлантику. И в Новом Орлеане услышал эту песню! Ее там поют не столь бодро — скорее, заунывно, и, разумеется, по-английски, но песня как раз эта, и слова примерно те же. И дом этот — действительно старую тюрьму, — снесли сравнительно недавно. Мне рассказывали, на ней восходящее солнце нарисовано было. Что это, ваше высокоблагородие?

— Это называется блюз, — ответил внезапно пробудившийся к жизни подполковник, в глазах его заплясали черти. — Теперь такое есть и у нас, привыкайте. И... спасибо, капитан. Вы нечаянно мне очень помогли.

Зазвонил телефон. Муравьев понимающе кивнул и вышел. Балашов снял трубку.

— Балашов, у аппарата!

— Вариант семь бис, срочно, — внятно произнес узнаваемый даже в телефоне голос Васильева.

— Согласен, ибо аналогично, — ответил Балашов и повесил трубку. Оделся, попрощался с офицерами, вышел и поймал извозчика. Предстояла внеплановая встреча на конспиративной квартире.

Секретарь имел вид одновременно растерянный и озадаченный.

— Ваше императорское величество, к вам дворянин Набоков с прошением на Высочайшее Имя. Прибыл лично, не назначено.

— Набоков? Это который думский юрист, из кадетов?

— Никак нет, это его старший сын, Владимир Владимирович.

— И чего от меня хочет молодой господин Набоков? — удивленно спросил Николай Второй.

— Испрашивает дозволения ловить бабочек в царскосельских парках.

— Что-о?! Вы смеётесь?!

— Ничуть, ваше императорское величество. Я бы не осмелился.

— Тогда, не иначе, господин Набоков изволит потешаться? Давайте сюда прошение, и через пять минут — его самого.

*На Высочайшее Имя Набокова Владимира Владимировича прошение
Ваше Императорское Величество!*

Являясь страстным энтомологом-любителем, я, возможно, обладаю одной из самых внушительных коллекций бабочек во всей Империи. В то же время, не желая ограничивать свое увлечение единственно пустым собирательством, провожу различные изыскания,

описывая виды населяющих наше Отечество бабочек, а также пути, коими виды этих насекомых изменяются с течением времени. Принимая во внимание, что парки Царского Села долгое время являются заповедными и притом весьма обширными, предвижу, что смогу встретить здесь немало достойных экземпляров, в том числе, возможно, сохранивших свойства изначальной породы, не претерпевшей изменения под влиянием хозяйственной деятельности человека. Полагаю совершить такое исследование к вящей пользе Отечества, в связи с чем испрашиваю Вашего Высочайшего дозволения на поиск и отлов бабочек в парках Царского Села.

Верный Вашего Императорского Величества подданный Владимир Набоков.

Дочитав составленный явно болеющим за свое дело человеком документ, царь передумал общаться с ним лично, заскучал и вновь погрузился в привычную апатию. Начертав резолюцию «Дозволяю. Николай», звонком вызвал секретаря и молча вернул прошение ему. Секретарь, в свою очередь, передал документ Владимиру и объяснил, где и как получить постоянный пропуск.

Едва сбежав от поймавшей кураж Татьяны Николаевны с которой случилось бы и четвертый час подряд молотить по клавишам рояля, я таки остограммился и с известной целью утвердился все на той же скамейке все в том же парке. И меня немедленно настиг еще один посетитель. Сперва я увидел над линией высоких кустов знакомый сачок и подумал: «Да ну, нафиг». Но через полминуты из-за кустов действительно вышел Володя Набоков, и я обрадовался ему как родному. Да он и стал мне в каком-то роде родным — пафосно выражаясь, товарищ по оружию, как-никак.

— У вас бабочек в роду не было? — спросил Володя, когда мы тепло поздоровались.

— Да, вроде, не припомню, — так же серьезно ответил я. — А что?

— До сих пор удачно ловить мне удавалось лишь бабочек, с людьми вечно что-то шло не так. Но вас я вычислил, разработал план — и исполнил весь, до последней точки, — и он поведал мне ковбойскую историю своего проникновения в дворцовый парк.

Я так хохотал, как давно не случалось.

— То есть, бабочки в парке...

— Едва ли чем-нибудь отличаются от тех, что я наловлю, скажем, в Стрельне, Сестрорецке или Выборге, — пожал плечами Набоков. — Но ловить я их, понятное дело, буду, хотя в октябре в наших широтах это не самое простое дело. Но мне дорога возможность время от времени встречаться с вами, Григорий Павлович. Боюсь показаться сентиментальным, но мне вас не хватало. Особенно после того, как я остался один, — тут он поведал историю своего нечаянного одиночества и почему, собственно, так вышло.

А я в который уже раз подумал, какой же мощный вирус всадил в нас — тех, кто родился и жил уже после Великой Отечественной, — коварный летающий дядька Сент-Экзюпери с его двумя основными постулатами «зорко лишь сердце» и «мы в ответе за тех, кого приручили». Потому что, когда узнал, что мой собеседник отстал от поезда, погнавшись за человеком, которого принял за меня, захотелось обнять этого нескладёныша и плакать вместе с ним. Но, подозреваю, Володя провернул свой могучий бабочковый троллинг с несколько иными целями. И я не ошибся.

— Я написал несколько блюзов, — деловито продолжил Набоков, — но до вас не донес: перехватил Рахманинов, и они чуть не за сутки вдвоем с Шаляпиным умудрились сделать из этого программу, представляете? Без лишней скромности скажу, получилось со всех сторон

необычно, интересно, и сегодня они, если не изменяет память, уже в третий раз дают эту программу, причем не на квартире, а в театре — увы, запоматовав, в каком, да и все равно не успеет уже. Тогда я написал еще. Удивительное дело: моя жизнь превратилась во что-то, прежде невиданное. Это нечаянное одиночество, эти недоступные прежде бытовые неурядицы и недоразумения — сплошной блюз, Григорий Павлович! Но, находясь в самом центре блюза, отчего-то творю наиболее эффективно. И вот те, что я «написал еще», вам как раз и принес, — достал Набоков исписанную тетрадку.

Да, предчувствия меня не обманули: под ударами «превратностей судьбы» Володя начал превращаться в изрядно едкого саркастичного циника. Что, вне всяких сомнений, гораздо лучше того производителя килотонн робких розовых соплей, коим он предстал в достаточно справедливо раскритикованном Чуковском первом сборнике. Теперь главное — не перегнуть, много цинизма — тоже нехорошо. Лорды, пэры, сэры — знайте чувство меры! — пелось в прекрасном мультике «Остров сокровищ» времен моего позднего детства.

— Замечательно, Володя, вы очень выросли как поэт, — честно ответил я. — Не обещаю, что займусь этими песнями сразу: дни выдались очень насыщенными, и я несколько устал. Но приходите завтра ловить бабочек, скажем, в час пополудни, и мы как минимум пообщаемся. Вам есть где остановиться?

— Да, снял домик тут неподалеку, — махнул он рукой, а я вспомнил, что финансовых проблем сей вьюнош не испытывает.

Мы еще немного поболтали и расстались, довольные друг другом. Пытался отобрать дочь у царевен, вышло не очень, в итоге до хрипоты рассказывал всем троим, а также неизбежной свите великих княжон, бесконечную сказку, в которой современник по прошлой жизни не без изумления опознал бы ядреную помесь «Пиратов Карибского моря», «Гарри Поттера» и «Властелина колец».

Наконец настало прекрасное холодное октябрьское утро, в которое Гумилева сочли достаточно излечившимся, с чем и выписали из госпиталя. На выходе его встретил Денисов — в форме, подтянутый, деловитый.

— Доброе утро, Николай Степанович. Рад вашему выздоровлению.

— Здравия жела...

— Оставьте пока, мы еще вне службы. Она начнется лишь завтра.

— Благодарю, Вадим Васильевич, доброе утро. Куда мне нужно будет явиться в Петрограде?

— А в Петроград вам как раз не нужно. Квартуйте здесь, дома, а на службу придется ходить вот прямо сюда, во дворец. Ваше первое задание — научить небезызвестного вам Григория Павловича Коровьева хотя бы сносно стрелять из револьвера.

— Коровьева? Он что, тоже в бюро?

— Ни в коем случае. Но человек этот, безо всякого сомнения, Империи и нужный, и полезный, постоять за себя может лишь на короткой дистанции — дерется он неплохо. А в остальном — ну, как ребенок, не скажешь, что к преклонным годам приближается. Приставлять к нему постоянную охрану было бы едва ли верно, проще уж обучить обороняться. Но, к слову, об охране: пока он не научится более-менее уверенно поражать цель, вам придется побыть и его охранником — в особенности, за пределами Царского Села. Задача ясна?

— Так точно, вполне.

— Вот и славно, — продолжил Денисов. — И потихоньку готовьтесь к дальней дороге. Николай Степанович, скажите, вы любите путешествовать?

— О, да, — улыбнулся поэт. — Мне доводилось жить в Париже, ну а Африка — земля моих грёз, вот куда бы вернуться.

— Ну, в ближайшее время Африку не обещаю, но к долгому пути в так или иначе теплые края готовьтесь. Все подробности позже — пресек Вадим Васильевич рвущиеся из корнета вопросы. — И тему путешествия не обсуждать вообще ни с кем. До дома дойдете?

— Да, тут недалеко, — ответил Гумилев.

— Тогда не смею задерживать. Увидимся завтра в девять... Да хоть на этом же месте.

— Будет исполнено.

Из воспоминаний Александра Ханжонкова

Мы работали как проклятые, и снимали фильм за фильмом (кажется, это слово наконец-то окончательно прописалось в мужском роде, спасибо американцам). И все они были свежи и хороши. И дьявольски не хватало в них звука! Привычный, любимый, традиционно немой кинематограф сделался мне тесен и неуютен. Хотелось большего. Хотелось звука. Мощных актерских реплик, грохота копыт атакующей кавалерии, шелеста дождя, музыки, песен наконец! Концерты Вертинского — при неизменном аншлаге! — шли теперь в электротеатре у Арбатских ворот в непрерывном сопровождении специально снятых фильмов, и я яснее ясного понимал, что за таким кинооформлением музыки, несомненно, великое будущее. Опыты со звуковым кино шли давно, но результат их был скромный, а публика привыкла к немоте этого вида искусства, так что общественного запроса до поры на кинозвук не было. Но тут совпало три случая.

В ноябре в «Музыкальном современнике» вышло начало большой статьи Григория Коровьева, в коей он на весь мир провозгласил о создании новой музыки и изложил основные ее принципы. Популярность его и Сашиных пластинок, и до того заоблачная, взлетела до самых звезд. Но главное не это, а то, что, как грибы после дождя, стали появляться новые носители этого самого нового жанра. Робкие неумехи и прожженные профессионалы, всех их объединяла новизна и незнакомость этого объявленного Коровьевым «Русского рока». Кто-то не тянул и быстро разочаровывался, кто-то закусывал губу и упрямо шел вперед — но это был натуральный культурный водоворот. Говорят, изготовители гитар, балалаек и прочих музыкальных инструментов сказочно обогатились и были вынуждены искать себе новых работников, не справляясь с валом заказов. Саша давал киноконцерты не менее четырех раз в неделю — и все при битком набитом зале. В московских, а позже и столичных газетах восхваляли наш с ним опыт и писали, что синтез Русского рока и киноряда как нельзя лучше доказывает необходимость появления звукового кино. И в этот момент еще пришла весть из Австро-Венгрии, где некий инженер изобрел киноплёнку со звуковой дорожкой, решив, тем самым, проблему синхронизации изображения и звука — одну из двух главных. Второй оставалось, увы, качество звука, но наши инженеры-подвижники, неведомыми мне путями раздобыв в воюющей с нами стране эту венгерскую разработку, уже всю работу над этой задачей — а мы все снимали и снимали новые фильмы как по плану киностудии, так и по заказам от стремительно набирающих популярность исполнителей Русского рока. Наше ателье процветало настолько, что я не всякий день вспоминал о собственной немощи, настолько насыщенной стала жизнь. Пока царь лютовал то в Петрограде, то на фронте, у нас в Первопрестольной, а также в Нижнем, Одессе и Ялте, била гигантским фонтаном культурная жизнь...

Никогда. Слышите? Никогда при встрече с Богом не пытайтесь пошутить или просто выразиться неточно. Взвешивайте и выверяйте каждое слово, каждую мысль. Иначе с вами тоже могут пошутить — как Хендрикс и Ли Хукер со мной, например. Об этом я думал, узнав от Балашова и Васильева предысторию своих приключений. Господа офицеры, надо отдать им должное, по всей форме принесли извинения за подозрения в мой адрес. Мировую по причине светлого времени суток и службы отложили на потом, а остаток встречи посвятили планированию дальнейшего и моей легализации. Я получил аж два паспорта. Первый, самый настоящий, удостоверял меня как Григория Павловича Коровьева, почетного гражданина Москвы, между прочим (и когда успели? И, главное, за что? Не за песенки же?!). Второй же, тоже настоящий, но уже не очень, рассказывал всем желающим, что я есть гражданин Североамериканских Соединенных Штатов по имени Грегори Пол Булл. В случае заграничных выездов рекомендовалось применять исключительно его, а настоящий оставлять дома. Составив наметки плана, условились о следующей встрече, после чего меня похитили царевны и примкнувший к ним наследник. Я сперва сыграл им небольшой концерт, а потом добрый час рассказывал свой завиральный суперблокбастер про все чудеса сразу.

— Да что вы все куряки-то такие! — с неподдельным огорчением воскликнул Шаляпин, входя в квартиру Горького на Кронверкском и пытаюсь разогнать руками густой дым. — Алёшка! Куда тебе с твоими болячками еще и курить? Загнешься же!

— Авось да не сдохну, Федя! — радостно облапил Буревестник гостя. Ну, проходи, проходи, да расскажи скорее, что вы там такое с Рахманиновым отчудили, что половина Петербурга на головах от возбуждения ходит?

— А! Слушай. Это такая новая музыка, где-то в американских трущобах любезные твоему сердцу босяки придумали, даром, что негры. Короче говоря, изначально это — горестные частушки, заплачки, под треньканье на чем-нибудь навроде нашей балалайки. Но тут этот Коровьев, который все это к нам привез, слегка переиначил, а после уж и мы с Сергеем Васильевичем добавили — и стало интересно. Дай-ка за рояль сяду.

Фёдор Иванович сел за рояль и запел, что посуда в серванте задрожала, да и стекла в оконных рамах. Он пел и про страдания юного студента, потом вторую — про помирающего от чахотки без копейки денег в подвале ночлежки босяка.

— Первую юный Набоков сочинил, стихи, то есть. А вторую, уж не суди строго, я сам, по рассказам твоим да пьесам. Давай, включайся, нам постоянный соавтор нужен!

— А ведь это очень стоящее дело, — приложив ладони к щекам, задумчиво проговорила гражданская жена Горького Мария Андреева. — Какой простор для агитации! Да еще в доступной форме... Надо срочно написать Ильичу!

Есть такое распространенное выражение: «жизнь вошла в колею». Я рад бы применить его к своему рассказу, но нет. Если моя жизнь в какую колею и вошла, то это оказалась колея бесконечно длинной бобслейной трассы с немислимыми виражами, петлями, пируэтами и прочими загогулинами, понимаешь. Никто ни на меня, ни на близких, к счастью, более не покушался, и на том спасибо. Коля Гумилев и Вадим Денисов учили меня стрелять, одного никуда не пускали. С Гумилевым и Набоковым мы написали еще с десятков песен, так что удалось осчастливить «граммофонщиков» новым материалом. А эти два таких разных поэта,

пожалуй, теперь надолго станут моими соавторами, но оно и прекрасно.

В начале ноября на фронте случилось какое-то обострение обстановки, и Николай, оставив на сей раз наследника дома, убыл в ставку — главнокомандовать. Едва стук колес царского поезда затих вдаль, бабушка Мария Федоровна развила бурную деятельность и стала собирать ежевечерние посиделки — по официальной версии, для прослушивания новейших песен и сказок для детей. Поначалу там присутствовали обе императрицы, старшие царевны и я, потом к нам добавились младшие и наследник, к середине ноября круг расширился, и на этих собраниях стали бывать лейб-медик Боткин, моя Матрёшка, Гумилёв, Денисов и Набоков, умудрявшийся героически отлавливать каких-то мотыльков ещё долго после Покрова, дабы блюсти свою легенду.

Все это время я занимался физподготовкой и стрельбой, сочинял и записывал песни, писал письма знакомым и Саше Вертинскому, коего полагал уже другом. Еще в октябре отнес в журнал «Музыкальный Современник» статью о Русском роке, и теперь ежедневно наблюдал в газетах жесточайшую полемику вокруг первой части — вторая должна была выйти позже.

А потом... потом время вышло. Как и в прошлой версии истории, в Петроград потихоньку перестали пропускать эшелоны с хлебом и другим продовольствием. И успокоившаяся было столица заворчала, задвигалась и изготавилась к бунтам и беспорядкам. Вот тут и стало ясно, что время, в самом деле, вышло, и то, что должно было закончиться — закончилось. А то, что должно было начаться — началось. И мы сделали свой ход.

Вдовствующая императрица закончила писать письмо сыну и, довольная работой, перечитала свой труд, прежде чем запечатать и отправить адресату.

Мой дорогой Ники!

В сей тягостный час тебе, как хозяину земли Русской, непременно нужны все силы, вся воля, чтобы враги наши — и нашего Дома, и самой России, враги как внешние, так и внутренние, почувствовали на своих шеях беспощадную железную хватку Империи. Твой незабвенный рара говаривал, что у России есть лишь два союзника — армия и флот, и я искренне надеюсь, что ты наконец-то в полной мере это осознал.

В Петрограде волнения, по донесениям, полиция, жандармы и армия пока справляются. Признаю, идея отправить запасные полки на фронт, заменив их отдыхающими фронтовиками, была удачной: как сообщают, пока никто из армейских или казаков не примкнул к бунтовщикам. На флоте сложнее, но там, будь добр, наведи порядок сам.

Но даже если толпы черни всколыхнутся и пойдут брать приступом Царское Село, не держи в голове особого беспокойства. Единственная, кто встретит их здесь — твоя старая мама. Потому что Александра и дети по моему прямому приказанию таинственным образом покинули Царское, дав мне клятвенное обещание, что вернутся лишь после того, как ты победишь всех врагов и утвердишь свое царствование на троне великих предков твоих — Ивана Грозного, Петра Великого и Александра Миротворца.

Пойми, Ники: тебе больше не нужно оглядываться назад. Во всяком случае, что бы ни случилось с твоими детьми и моими внуками, никакие силы не смогут взять их заложниками, чтобы влиять на твою волю. Вполне возможно, их убьют, но, если оставить всё, как есть, их убьют совершенно точно, а так — на всё воля Божья.

В начале царствования тебя прозвали Николаем Кровавым? Что ж, не самое лучшее прозвище для властителя, но оно у тебя уже есть, так отчего бы ему не

соответствовать?

Ничего не бойся. Делай все, что можешь и даже то, чего не можешь — но да свершится, чему суждено, лишь бы жила наша Империя.

А я остаюсь с тобой. Лыщу себя надеждой, что удержу ситуацию в столице, а прозвище «Гневная» тоже заработала не просто так.

Люблю. Целую. Жду только с победой.

Твоя мама.

Удовлетворенно кивнув, Мария Федоровна запечатала письмо, поместила его в шкатулку с секретом и позвонила в колокольчик.

— Шкатулку с письмом — Его Императорскому Величеству лично в руки. Мне — много кофе и... и граммофон с песнями Коровьева.

За окном кружились весело снежинки, белый покров окончательно затягивал и Царское Село, и Петроград, и Москву и линию фронта.

А вдовствующая императрица Мария Гневная пила кофе и слушала музыку. Она пребывала в превосходном настроении. Когда делаешь самую большую ставку, в другом настроении пребывать просто преступно. Граммофон поскрипывал, похрипывал, но слова песни различались без труда.

...

А я всё возвращаюсь домой —

Жаль, что всем не крикнешь «Я свой».

И устал быть пулей патрон,

И устал быть честным поклон.

Он играл с кукушкой в минуты,

Проигрывал годы, выигрывал дни[3]...

[1] Наш герой проявляет излишний снобизм. Конечно, производимым промышленностью СССР и «братских социалистических стран» электрогитарами нередко было далековато до западных аналогов, но играть на них всё же можно. Сомневающимся рекомендую поискать в сети видео с ежегодных фестивалей «УРАЛ Forever».

[2] Песня «Крылья» группы «Nautilus Pompilius», автор текста — Илья Кормильцев.

[3] Песня «Книги окон» группы «Театр Одного Вахтёра». Автор слов — Алексей Грибов.

Как бы эпилог

— Джонни, ну, давай, а?

— Отвали, Джим. Просто не хочу, сколько раз говорить? — буркнул Леннон и поправил очки.

— Ну, слушай, чувак, это несерьезно! — Хендрикс потряс руками. — Какие *здесь* могут быть обидки?!

— Да просто не хочу! Давай что-нибудь понейтральнее, а? Криденс там, например...

— Не-не-не, — замахал руками Хендрикс. — Песня сэра нашего Пола тут гораздо уместнее! Но, так как он к нам пока не присоединился, сам понимаешь... Ну, давай же!

— Уговорил, зараза, — Леннон взял акустику.

— Оу, супер! Бонзо, хорош бухать, Один хрен, не напьешься! Садись за барабаны! Кто на басу?

— Давай я, — из непроглядного света соткался потасканного вида брутальный мэн в ковбойской кожаной шляпе и с «Рикенбекером» наперевес.

— Ого, Лемми! Давненько не виделись! Мистер Господь[1]! Прошу к органу! Начали! — и первым начал играть, остальные подхватили. Леннон запел:

Stuck inside these four walls

Sent inside forever

Never seeing no one nice again

Like you

Mama, you

Mama, you

If I ever get out of here

Thought of giving it all away

To a registered charity

All I need is a pint a day

If I ever get out of here

If we ever get out of here

Well, the rain exploded with a mighty crash

As we fell into the sun

And the first one said to the second one there

«I hope you're having fun» [2]

Музыканты вошли в раж, «родная» аранжировка и рядом не стояла, и на очередном проигрыше Леннон что-то пробормотал и подозрительно шмыгнул носом.

— А это чо за крендель? — Спросил Лемми Джона Лорда. И впрямь, меж них возник полупрозрачный высокий дядька, одетый очень старомодно, но при этом стильно. Некогда наголо бритая башка незваного гостя явно обрастала всей полагающейся нормальному мужчине растительностью. В руках он держал какой-то убогий, даже не подключенный сигарбокс, но в ноты, вроде, попадал наравне со всеми, и, счастливо улыбаясь, подпевал:

Band on the run,

Band on the run!

— Эй, дружище, ты кто тут ваще такой? — окликнул его Лемми.

Но рядом тут же оказался Хендрикс:

— Тсс, парни! Не видите, что ли — спит чувак. Устал, спит, и видит сон. И ему по кайфу. Не будите, пусть братишка тащится.

А полупрозрачный играл, пел, и по щекам его протянулись две мокрые дорожки.

Конец первой книги.

[1] Тут игра слов: в английском слово Lord означает ещё и «Господь». Состав божественного джем-бэнда: Джон «Бонзо» Бонэм (Led Zeppelin), барабаны; Лемми Килмистер (Motorhead), бас-гитара; Джон Лорд (Deep Purple), орган; Джон Леннон (The Beatles), гитара, вокал; Джимми Хендрикс, гитара.

[2] Paul McCartney & Wings “Band on the run”, то есть «Банда вбегах». Если переводить буквально, то песня действительно о счастливом побеге банды из тюрьмы. Но у слова Band есть и значение «оркестр», «музыкальная группа».

ПРИЛОЖЕНИЕ

По многочисленным просьбам читателей и в полном соответствии со здравым смыслом и формальной логикой, прилагаю плейлист с реально существующими произведениями, «прозвучавшими» в книге. Лист получился в обратном порядке, но, пожалуй, так даже правильнее.

ВК: https://vk.com/music/playlist/52040366_71_90a85a660e2deb10e5

Яндекс Музыка: <https://music.yandex.ru/users/bolnog/playlists/1000>

Приятного прослушивания!

Григорий Коровьев

У колыбели Русского рока[1]

От редакции: В сентябре сего года в русскую культурную жизнь ворвался никому прежде не известный исполнитель Григорий Коровьев. Ворвался — и мгновенно взбаламутил её, перевернув всё буквально вверх дном. Первые же пластинки, выпущенные «Русским акционерным обществом граммофонов», произвели такой фурор, который культурная Россия давно не видывала, а то и, пожалуй, что никогда прежде. Его песни в новейших жанрах «блюз» и «буги-вуги», принесенных, по заверению самого автора, с Американского континента, заворожили почтеннейшую публику подчеркнутой простотою и искренностью. Его почин немедленно подхватил г-н Вертинский, нашедший целый цикл песен также прежде неизвестного музыканта из Сибири, г-на Летова, и потрясший в октябре всю Москву концертной программой «Снаружи всех измерений». И вскоре после того, как целых два десятка еще более разных и новаторских песен г-на Коровьева увидели свет, нам в редакцию принесли статью, которую вы сейчас прочтете. Сам возмутитель спокойствия, Григорий Павлович Коровьев, соблаговолил ответить в ней на множество невысказанных еще ему вопросов и объяснить, что же такое эта новая музыка. Признаться, мы потрясены настолько, что на момент публикации первой части этого эпохального, не побоимся, труда, критическая позиция нами еще не выработана. Посему приглашаем все почтенное общество наших читателей к открытой дискуссии, к коей с превеликим удовольствием готовы присоединиться. Теперь же начнем знакомиться со статьёй г-на Коровьева. Интересная деталь: она написана безупречно грамотно, но в экспериментальной «новой орфографии», что еще раз особо подчеркивает новизну обсуждаемого предмета.

Дорогие друзья[2], в России появилась новая музыка. Да, не без моей скромной помощи, но душу греют не собственные действительные или же мнимые заслуги, а то, что эта музыка у нас появилась, и теперь крепнет и развивается с каждым днем. О ней и поговорим.

Что же это за музыка? Основой послужило народное искусство американских негров, именуемое «блюз». Слово это можно перевести как «тоска зеленая», что вполне соответствует обычному содержанию этих песен. Пионеры блюза, чаще всего, под достаточно безыскусный аккомпанемент не менее безыскусно жаловались на судьбу, примерно в таком ключе: «денег нет, с работы выгнали, жена дурна собою и вообще меня бросила, дети глупы» — и тому подобное, из разу в раз, из песни в песню — отличались они, разве, обстоятельствами перечисляемых неприятностей. Вся эта масса причитаний

накапливалась на юге САСШ с середины прошлого века, и в ней, разумеется, не могли не происходить некие изменения: выкристаллизовывались наиболее умелые музыканты и талантливые сочинители, среди страдальцев стали цениться те, кто, владея искусством иронии и сарказма, мог посмеяться над собой и своими бедами. Вот что, вкратце, из себя представляет основа той музыки, что я попробовал привить на русскую почву. Но очень быстро пришло понимание, что образ мыслей и самой жизни русского человека сильно отличается от такового у европейцев и американцев, чего уж говорить о чернокожих босяках! (Необходимое пояснение: вопреки распространенной в западных странах доктрине, автор не полагает негров людьми иного сорта, нежели он сам, например. Их способности к музыкальному и танцевальному творчеству, например, убедят закостенелого скептика-расиста. Но мы сейчас не об этом). И, коль скоро русский образ мыслей не совпадает с негритянским, нужно измыслить что-то иное. Тогда, оставив незыблемой музыкальную основу, я прибегаю к помощи отечественных поэтов — благо, талантливыми стихотворцами в наши дни Господь матушку-Россию не обидел. И вот тут, когда стихи Владимира Набокова, Андрея Белого, Вадима Гарднера, Николая Гумилева, Владимира Маяковского и иных авторов срослись воедино с несложной заморской музыкой, и возник тот уникальный жанр, коего прежде не было вообще нигде и никогда. И я взял на себя смелость дать ему название. «Русский рок» — вот так, кратко и ёмко. Не стану теперь пространно рассуждать о Судьбе, Роке и Божиим Промысле — убежден, батюшка в ближайшей церкви сделает это гораздо толковее, нежели ваш покорный слуга. Скажу лишь, что если понимать «Рок» как совокупность предопределенностей, ниспосылаемых нам свыше, которую мы вольны принять или же, напротив, преодолеть — то как раз в этом случае «Русский рок» — точнейшее определение нового жанра, ибо практически все в нем так или иначе как раз об этом, во всех без исключения аспектах бытия. Собственно, как мне представляется: Русский рок — это, прежде всего, борьба. Борьба с внешним воздействием, с противником, с явлением (пример: с одиночеством, с горем, с ленью), со страстями, да с самим собой, наконец! Все это как нельзя лучше может послужить тематикой нового жанра. Но и прочим темам — зарисовкам событий или настроений, безусловно, сыщется местечко. Никаких ограничений!

Музыкальной же основой я предлагаю взять изобретенный все теми же неграми так называемый «блюзовый квадрат». Вот что он из себя представляет. Неважно, в какой тональности мы работаем — тонику, доминанту, субдоминанту и все прочие ступени мы найдем в любой из существующих. Всё дело в их расположении. Принятая классическая блюзовая последовательность аккордов, иначе называемая «блюзовый квадрат», состоит всего из 12 тактов.

I	I	I	I
IV	IV	I	I
V	V	I	V

Или:

I	IV	I	I
IV	IV	I	I
V	IV	I	V

Но бывает и так:

| IV | IV | I | I |
| IV | IV | I | I |

Эти три варианта — не догма. Более того, 12 тактов — тоже не догма, но это всё есть основа, от которой я предлагаю отталкиваться в ваших музыкальных поисках. Насколько мне известно, сейчас замечательный композитор Сергей Васильевич Рахманинов много экспериментирует с блюзовыми последовательностями. Убежден, он непременно обогатит русскую культуру и, в частности, Русский рок собственными интереснейшими находками.

Теперь поговорим об инструментах. На чем же играть Русский рок? Дамы и господа, на всё. Да, гитара выглядит в этом свете очень интересно и перспективно, но зачем переучиваться на неё, если вы, к примеру, замечательно играете на фортепиано или аккордеоне? Совершенно незачем, право слово. Пусть в нашем русском роке содержание будет главенствовать над формой!

Как мне представляется, в такой музыке весьма немаловажно ритмическое начало. Одиночные исполнители, безусловно, хороши, но соединенные в ансамбль музыканты, думается мне, произведут гораздо лучший эффект. Позвольте пофантазировать о составе такого ансамбля. Важнейшую роль в нем станет играть барабанщик, играющий на ударной установке, прообраз которой можно увидеть в Новом Орлеане у оркестров, исполняющих джаз — ещё одно недавнее явление в мире музыки. Основу такой установки составит большой напольный барабан, поставленный на обечайку и снабженный пружинной педалью Людвиг, музыкант извлекает звуки посредством нажатия ног на эту педаль. Основная задача большого, или басового барабана — обозначать сильную долю такта. Малый барабан предназначен для обозначения слабой доли и ритмического заполнения в зависимости от темпа и настроения композиции. Установленная на стойку тарелка служит для отчисления акцентов, моментов смены ритма и украшения ритмического рисунка. Помимо этой основы, допустимо добавлять сколь угодно много количество барабанов — лишь бы музыкант был достаточно искушен в работе с ними всеми и понимал, что и для чего он играет.

Кроме барабанщика с ударной установкой, в ритм-секцию рок-ансамбля должен входить музыкант с контрабасом (играть строго *pizzicato*) или же бас-гитарой. Бас-гитара отличается от обычной увеличенной мензурой и наличием всего четырех струн — как у контрабаса, — настроенных соль-ре-ля-ми. Задача басиста — назовем его так — состоит в том, чтобы соединять ритм барабанов с мелодической частью композиции посредством ритмического исполнения басовых нот в соответствии с гармонией произведения. Третьим номером поместим гитариста, он при помощи своей шести- или семиструнной подруги отыгрывает всю гармонию нашей песни. Три эти музыканта — хороший минимум для рок-ансамбля. Далее можно добавить фортепиано — оно сгодится как для заполнения мощным звуковым фоном всей композиции, так и для исполнения сольных мелодических партий. Можно с той же целью добавлять упомянутый аккордеон, или же баян, гармонь и даже концертино — особенно, если репертуар подразумевает иронию или легкомысленность. Уместными кажутся также скрипки и иные струнные. Можно контрабас заменить тубой, гитару — тромбонами, а солировать на трубе ли саксофоне. Можно в ансамбль включить даже орган, он прекрасен, но тогда надо иметь в виду, что всех прочих участников ансамбля, скорее всего, услышать не получится. В общем, нет никаких запретов, нет пределов экспериментам! При этом не имеет значения, будет ли певец играть на чем-либо или же это будет отдельный человек — мы с вами договорились: никаких догм, никаких условностей — мы все придумываем на лету!

Тут самое место порассуждать еще вот о чем. На основе моего скромного концертного

опыта, могу уверенно заявить: русский рок — явление не только и не столько камерное, сколько, наоборот, массовое. На концерте в Царскосельском госпитале, например, я наблюдал настоящее единение публики — рок такая музыка, что редко когда дает спокойно на месте посидеть. Человек заряжается энергией песен, и ему хочется выплеснуть её или поделиться с ближним. И тут мы подходим вплотную к тому, что в таком случае нам нужны залы с особыми акустическими свойствами, чтобы весь придуманный нами ансамбль, включая голос певца, было уверенно слышно. Эта проблема кажется неразрешимой лишь на первый, поверхностный взгляд. Как мне представляется, возможности электричества вполне позволяют усилить звучание любого музыкального инструмента. Взять, к примеру, микрофоны: эти замечательные устройства прогрессируют семимильными шагами, год от года становясь все лучше и лучше. Я обращаюсь к инженерам, работающим с электричеством: господа! Как мне представляется, электромзыкальный звукозаписывающий, позволяющий передавать колебания струн в виде электроимпульсов, не должен быть особо сложным устройством. В основе его, как мне кажется, должна быть старая добрая электромагнитная катушка, а дальше вы и без моих дилетантских советов придумаете. Но представьте, господа: сцена, на ней — ансамбль в придуманной выше конфигурации. У всех инструменты снабжены звукозаписывателями, перед певцом на стойке помещается микрофон. По проводам вся их музыка попадает в электрический усилитель, а оттуда — в громкоговоритель. И при достаточной мощности и того и другого можно давать концерт хоть на площади для нескольких тысяч человек разом! Вы только вообразите себе пять, скажем, тысяч человек, в едином порыве танцующих в Москве на Триумфальной площади!

[3]

Теперь о текстовом наполнении наших песен. Позволю себе рекомендовать начинающим авторам, по возможности, использовать простые стихотворные размеры и, прежде всего, хорей. У него первый слог ударный, что позволяет сравнительно легко уложить практически любой текст, опираясь на сильную долю в музыке. Для опоры на слабую долю, соответственно, лучше подойдет ямба. Тут нужно отметить, что музыка с ярко выраженной слабой долей производит впечатление более воздушной, легковесной. С такими ритмами сейчас начинают экспериментировать на островах Карибского моря, в частности, на Ямайке[4]. Тогда как для чего-то более драматичного нам, конечно, понадобится сильная доля, кроме того, такая ритмика более универсальна. К более сложным размерам я бы советовал переходить после уверенного освоения того же хорея. Впрочем, опытные композиторы вольны поступать, как им вздумается.

Что до тематики — и здесь нет никаких ограничений, кроме тех, что диктует внутренняя мораль автора и законы Империи. Истории о несчастной или, напротив, счастливой любви, житейские зарисовки, рассказы о военных подвигах или же «дела давно минувших дней» — все, что вам интересно, всё, на что есть запрос у общества — всё это может и должно стать темами ваших песен. Обратите внимание на изобилие и многообразие стихов: у нас сейчас самый настоящий Серебряный век поэзии. И весь поэтический диапазон, включая даже самые смелые эксперименты, навряд ли верлибров господина Хлебникова, вполне достоин обрести жизнь в песнях русского рока.

Итак, дорогие друзья, как мне представляется, наш Русский рок — явление поистине всенародное, внеклассовое и внесловосное, объединяющее самых разных людей. Не может и не должно быть преград для дворянина, торгового человека, городского обывателя, мастерового, крестьянина, чтобы сделаться рок-музыкантом. Перефразируя незабвенного

Козьму Пруткову, подытожу: хочешь быть рок-музыкантом — будь им! Бери гитару, гармонию, балалайку или садись за пианино: блюзовый квадрат и вся русская поэзия в помощь!

Скажу честно: у меня много идей и довольно детализированное видение того, каким может стать наш новый жанр. И именно поэтому я на какое-то время отойду в сторону, скроюсь в тень. Просто для того, чтобы не мешать всем вам придумывать Русский рок дальше. А потом я вернусь и с радостью встроюсь в то, что вы наизобретаете. Успехов вам и удач на этом интереснейшем пути!

[1] Эта ставшая огнем сотен дискуссий программная статья была перепечатана множеством изданий Империи, но впервые вышла в двух частях в журнале «Музыкальный Современник», в ноябрьском и декабрьском номерах за 1916 год.

[2] Нижеследующий текст имеет смысл исключительно в контексте романа «Мы из блюза», приложением к которому и является.

[3] Некий достаточно успешный импресарио настолько живо представил себе эту картину, что публично объявил об учреждении весьма весомой премии разработчику аппаратуры концертного звукоусиления.

[4] Милейший Григорий Павлович выдаёт желаемое за действительное: до зарождения регги еще полвека.

Больше книг на сайте - Knigoed.net